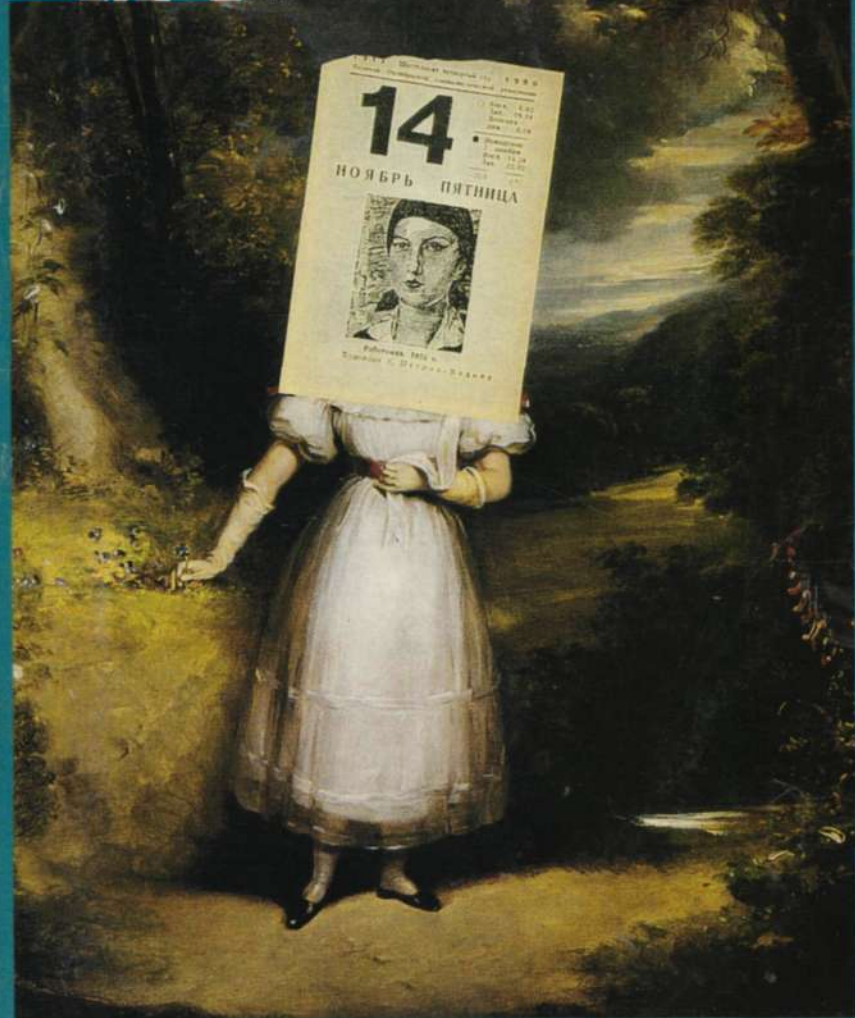


**ВРЕМЯ
И МЫ** 138
1997



**БОРИС ХАЗАНОВ
ДАЛЕКОЕ ЗРЕЛИЩЕ ЛЕСОВ**

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ

Выходит один раз
в три месяца

**138
1997**

НЬЮ-ЙОРК - МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» - 1997

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ЛЕВ АННИНСКИЙ	ГРИГОРИЙ ПОЛЯК
ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ЛЕВ НАВРОЗОВ
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ДЖОН ГЛЭД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ВЛАДИМИР ДОБИН	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ	ЭДУАРД ШТЕЙН
ЕФИМ ПИЩАНСКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)
ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ	

Главная редакция журнала "Время и мы"
409 Highwood Ave, Leonia,
New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592-61-55
Факс: (201) 592-69-58

Московский центр журнала "Время и мы"
Заведующий центром Лев Аннинский
Адрес центра: 117415 Москва,
ул. Удальцова, 16/19.
Тел.: 131-62-45

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Владимир Добин
Адрес отделения: Ha-avot Street 20-6,
Richon Le-Zion, 75323 ISRAEL
Tel.: 03-976-42

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: Rezidence Lorilleux
Esc.U. appt 929, 15 Allee Henri Sellier,
92800 PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА	
<i>Борис ХАЗАНОВ</i>	
Далекое зрелище лесов.....	5
<i>Виктория ПЛАТОВА</i>	
Обитатели.....	66
ПОЭЗИЯ	
<i>Сергей ШАБАЛИН</i>	
Московские сны.....	81
<i>Катя КАПОВИЧ</i>	
Жизнь в перевернутом пространстве.....	91
ПУБЛИЦИСТИКА	
<i>Владимир ШЛЯПЕНТОХ</i>	
Четыре России: какая победит?.....	96
<i>Илья СТАВИНСКИЙ</i>	
Будущее современного капитализма.....	115
ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА	
<i>Иосиф КОСИНСКИЙ</i>	
Вырождение фантома.....	128
<i>Дмитрий БЫКОВ</i>	
Морковка и крыска.....	141
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО	
<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i>	
Театр абсурда.....	158
<i>Борис НОСИК</i>	
Русские тайны Парижа.....	203
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ	
<i>Аркадий БЕЛИНКОВ</i>	
Россия и черт.....	248
ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР	
<i>Арон ЧЕРНЯК</i>	
Вокруг диспута.....	277
ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»	
<i>В. ПЕТРОВСКИЙ</i>	
Никифор Заяц обустроивает Россию.....	283
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	296



Борис ХАЗАНОВ

ДАЛЕКОЕ ЗРЕЛИЩЕ ЛЕСОВ

Роман

Часть вторая

XXII.

Любовь, словечко подвернулось само собой... Зачем она мне? Я удрал из города не для того, чтобы предаваться на лоне природы новым утехам, в конце концов для постельных надобностей у меня была женщина, — к чему искать других приключений? Как выразались в старину, я «похоронил себя» в деревне. Я сошел с поезда жизни на глухом полустанке; быть может, — кто знает? — это была конечная остановка.

Тут мне, конечно, возразят: выключиться из жизни, как это можно себе представить в нашей стране? Жизнь тащила всех, хочешь не хочешь, как вода несет щепки. Разобраться в себе, искать смысл и оправдание своей жизни? Смешно... Это крысиное существование, безостановочное перебирание лапками в толпе себе подоб-

Начало в предыдущем номере.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© "Время и мы"
ISSN 0737-7061

ных, сопение и попискивание, толкотня на улицах, теснота магазинов, теснота подземных переходов, вагонов метро, бюрократических коридоров, общественных сортиров, вечная спешка, вечная борьба за местечко, все это попросту перечеркивает всякое вопрошание о смысле жизни. Какой там смысл... Привычка к стадному существованию не располагает к рефлексии; все равно что танцевать, идя за плугом, как сказал, если не ошибаюсь, Лев Толстой. Я убежден, что патриархальное общество облегчило переход к крысиному обществу. К поднадзорному обществу, к обществу, над которым — над этими толпами, над крышами городов, над каждой супружеской кроватью и каждой колыбелью — стояло мертвое светило, огромный мутный глаз государства.

Но, слава Богу, я разделался со всем этим. Да, спасся от этой жизни, от паутины человеческих взаимоотношений, от чувства, что постоянно задеваешь кого-то и трешься об кого-то, — спасся от этой чудовищной тесноты! Я обрел счастье быть самим собой, другими словами — счастье быть никем. Так и надо было ответить Роне: я — никто. Моя третья жена, Ксения, закатила мне сцену, после которой мы больше уже не виделись. Замечательно, что это не была сцена ревности, для чего, честно говоря, нашлись бы основания; ничего подобного. Я отвлекаюсь, но раз уж вспомнил, надо договорить.

Ее упрёки сводились к тому, что я ничего не хочу делать, ни о чем не забочусь, одним словом, представляю собой, как она выразилась, законченный тип тунеядца. Замечу, что если бы я что-то «делал», например, продолжал свою литературную деятельность, я еще больше заслуживал бы этого определения. Но хотя главным пунктом обвинения было то, что я равнодушен к окружающим (то есть к ней), верно было и то, что все последние годы я жил, в сущности, на ее заработки. Было вполне логично требовать от меня компенсации, то есть любви во всех смыслах этого слова, включая физический. Но довольно об этом.

Когда следом за Роней, помедлив ради приличия, я

поднялся на берег, на лужайке была уже расстелена скатерть, Мавра Глебовна, в кружевной наколке и белом переднике, инспектировала корзину с провиантом. Я старался не встречаться с ней глазами, но она и не смотрела в мою сторону, опустив глаза, расставляла на скатерти все необходимое. Аркадий распряг лошадь; я заметил, что у него была припасена бутылка, тем не менее барон Петр Францевич дал знак Мавре Глебовне, она приблизилась с маленьким подносом и серебряной чаркой, Петр Францевич налил полную чарку из барского графинчика, и Мавра Глебовна поднесла ее Аркаше. Тот вскочил, утер губы и, держа чарку перед собой, истово перекрестился и поклонился господам; Петр Францевич благосклонно кивнул. Эта маленькая пантомима развлекала нас.

Мавре Глебовне было наказано следить за Аркадием, после чего прислуга расположилась в сторонке. Василий Степанович разлил мужчинам водку, вино дамам, молча поднял рюмку, мать и дочь усердно крестились, глядя на дальнюю церковку, некоторое подобие крестного знаменья сотворил и Петр Францевич; Василий Степанович вздохнул, насупился, поставил рюмку и в свою очередь решительно перекрестился. Петр Францевич несколько иронически, как мне показалось, покосился на него. Храня молчание, как положено, мы опрокинули свои рюмки, дамы пригубили из бокалов.

«Вот народ, — сказал Василий Степанович, жуя бутерброд с краковской колбасой, — нет, чтобы клуб устроить или какое-нибудь полезное помещение».

Петр Францевич солидно намазывал масло на ломтик белого хлеба, подцепил вилкой сыр. «Рогнеда, — промолвил он, — передай, милочка, маслины...»

Несколько времени помалкивали, ели.

«Вы имеете в виду церковь?» — осведомился Петр Францевич.

«Ну да; ободрали все что можно, набросали мусора, нагадили — и бросили».

«Причем же тут народ, — заметила мать Рони, — народ не виноват».

«А кто ж, по-вашему?» — спросил Василий Степанович и разлил по второй.

«Рогнеда, передай, пожалуйста, семгу...»

«Хороша наливочка, крепенькая! Небось наша, местная...»

«Смородинная», — сказала мать Рони.

Чтобы не показаться невежливым, я произнес какую-то глупость — что, дескать, разрушенная церковь тоже своего рода символ.

Петр Францевич моментально уцепился за это слово:

«Символ чего?»

«Символ исчезновения Бога».

«Вы хотите сказать, — прищурившись, с рюмкой в руке, молвил Петр Францевич, — вы хотите сказать: Бог умер?»

«Нет, — возразил я, — эти времена уже давно прошли. Когда жил Ницше, Бог был еще где-то рядом. Как покойник, который лежит в открытом гробу, в окружении близких. Бог умер — представляете себе, что это означало? Это означало, что и мы все умрем, и вся наша мораль ничего не стоит, и все напрасно, вся суета ни к чему».

«Но вы говорите, что это время прошло».

«Прошло... а следовательно, прошли и все сожаления. Смерть Бога была сенсацией, теперь она уже никого не интересует. На месте Бога осталась пустота, сперва она всех пугала, а потом привыкли, оградку вокруг построили и кланяются этой пустоте. Не умершему божееству молятся, а тому, что осталось на его месте: пустоте».

Петр Францевич молчал, все еще держа перед собой полную рюмку, ноздри его раздувались.

«Милостивый государь, — проговорил он, — мне кажется...»

«Вы просто клеветаете на наш народ», — сказала мать Рони.

«Ладно, умер, не умер, — сказал, держа в одной руке рюмку с темно-розовой наливкой, а в другой — золотистую глыбу пирога с капустой, Василий Степанович. —

Как говорится, не пора ли! Предлагаю выпить за здоровье нашей многоуважаемой...»

Все обрадовались этой реплике, а мать Рони промолвила, кисло улыбаясь:

«Наконец-то в этом обществе нашелся хотя бы один учтивый человек».

Пир продолжался; Марья Глебовна, последовав приглашению барыни, скромно сидела рядом с захмелевшим Василием Степановичем; разделенные сословной преградой, мы по-прежнему избегали смотреть друг на друга. Несколько времени спустя она отвела мужа в тень, он спал, накрыв лицо носовым платком. Аркадий храпел в кустах, а конь Артур, прыгая спутанными передними ногами, скучал на лугу.

Женщины удалились. Петр Францевич неподвижно сидел с надвинутой на глаза соломенной шляпой. Он поднял голову и спросил:

«Не хотите ли... э?»

XXIII.

«Не угодно ли вам пройтись?» — змеиным голосом сказал доктор искусствоведческих наук.

Я встал. Петр Францевич быстро шел, внимательно глядя себе под ноги. Миновали перелесок. Петр Францевич остановился.

«Милостивый государь, — начал он, — я полагаю, вы догадываетесь, с какой целью я пригласил вас, э... прогуляться».

«Догадываюсь, — сказал я. — Вы хотели изложить мне вашу концепцию монархического строя в нашей стране».

Мы стояли друг против друга.

«Вы однако ж юморист».

Он обвел взором верхушки деревьев и прибавил:

«Монархия погубила Россию. Но я не думаю, чтобы эта тема вас особенно занимала...»

«Нет, отчего же».

«Монархия погубила Россию, не удивляйтесь, что слышите это из уст дворянина... Могу вам даже назвать точную дату, исторический момент, начиная с которого все стало шататься и сыпаться. Революция, которой вы придаете такое большое значение, лишь завершила этот процесс».

«Значит, революция все-таки была?»

«Конечно, была. Почему вы спрашиваете?»

«Мне казалось, вы о ней забыли... Так какой же это момент?»

Петр Францевич посматривал на меня, почти не скрывая своего презрения.

«Знаете что, — промолвил он, — я все время задаю себе вопрос: кто вы такой?»

Я ответил:

«Представьте себе, и я задаю себе тот же вопрос. Но еще больше меня интересует, кто такой вы!»

«Вот как? И... какой же вы нашли ответ?»

«Но я хотел бы услышать сначала ваш ответ. Уверены ли вы, что можете сказать, кто вы?»

«Полагаю, что да», — сказал он твердо. По узкой тропинке мы двинулись дальше, он шел впереди.

«Если я не ошибаюсь...»

«Вы не ошиблись», — сказал он.

«Но вы же не знаете, что я хочу сказать».

«Это не важно. Я все ваши мысли прекрасно понимаю, а вы, как я догадываюсь, понимаете мои».

«Так как же насчет монархии?»

«Монархии? — спросил Петр Францевич. — Странно, что вас это интересует. Но я уже вам сказал. Я имею в виду не этого, не последнего Николая, которого теперь собираются объявить святым. На самом деле это был не государь, а фантом. Пустое место».

«Мне странно это слышать от вас, Петр Францевич».

«Разумеется... Впрочем, виноват не он, все равно уже ничего нельзя было изменить. Виноват, если хотите знать, первый Николай, который замыслил поставить во главе государства бюрократическую верхушку. Оттеснить родовую аристократию, заменить сословное об-

щество чиновным. Что ему и удалось. И вот результат: страна плебеев. Общество, где естественное деление на сословия заменено искусственными этажами: наверху полуграмотные чиновники, внизу быдло. И где, конечно, простой народ, за отсутствием внутренних регулирующих и сдерживающих начал, бессознательно тоскует по строгому укладу. В этом все дело, милостивый государь! Лошадь тоже скушает по оглоблям».

«Вы хотите сказать, что дворянство не оставило наследника?»

«Вот именно. Не оставило. На Западе был буржуа. А мы не Запад. Откуда же им взяться, этим сдерживающим началам? От религии ничего не осталось, церковь пресмыкается перед властью, превратилась в Ваньку-встаньку, в марионетку тайной полиции. Народ... Извольте сами видеть. Или люмпены, как наш Аркадий, или хамы, наподобие милейшего Василия Степаныча. Вот что значит остаться без аристократии».

«Простите, а вам не кажется, что...»

Он обернулся ко мне.

«Нет, не кажется. И вообще, я думаю, вы понимаете, что я вас позвал не ради удовольствия вести с вами ученый спор».

«Такая мысль приходила мне в голову».

«Тем лучше. Итак!» — сказал искусствовед, подняв брови.

«Если не ошибаюсь, вы хотите поговорить со мной о Роне...»

«Вы догадливы».

«Вы стояли в кустах. Я случайно вас заметил».

«Случайно; вот именно. Надеюсь, вы не думаете, что я имею привычку подглядывать и подслушивать!»

«Нет, не думаю».

«Но речь идет не обо мне».

«Я вас слушаю», — сказал я, грызя травинку.

«Нет, это я вас слушаю!»

Я пожал плечами.

«Милостивый государь, — сказал Петр Францевич. — Мы одни, позвольте мне быть откровенным. Я нахожу

ваше поведение невозможным! Или вы объяснитесь, или...»

«Или что?» — спросил я.

Глубокий вздох.

«Перестаньте притворяться. Вы, вероятно, знаете, а если не знаете, то я должен поставить вас в известность... Я имею в отношении Рогнеды Георгиевны самые серьезные намерения».

«Угу. И что же?»

«И я не потерплю, чтобы честь девушки, доброе имя семьи потерпели ущерб только из-за того, что какому-то заезжему авантюристу вздумалось... да, вздумалось!..»

Я был в восхищении от моего собеседника.

«Петр Францевич, — сказал я. — Вы оценили мое чувство юмора, я отдаю должное вашему остроумию. Предмет, мне кажется, не заслуживает того, чтобы...»

«Ага, — крикнул он, задыхаясь, — не заслуживает! По-вашему, предмет, как вы изволили выразиться, не заслуживает...»

«Того, чтобы портить себе нервы. Давайте лучше поговорим о...»

«Не спрашиваю вас, что вы подразумевали под этим словом «предмет». Комментировать ваше замечание насчет нервов тоже не намерен. К делу: вы не хотите объяснить мотивы вашего поведения?»

«Какого поведения, Петр Францевич, что я такого сделал?»

«Вы не хотели бы извиниться?»

«Не понимаю, за что и перед кем я должен извиняться».

«Прекрасно, — сказал он. — Вы обо мне еще услышите». Женский голос раздался в лесу: нас звали.

«Убедительная просьба, — пробормотал Петр Францевич, — этот разговор должен остаться между нами».

Я кивнул; мы разошлись в разные стороны.

Вопреки уверениям Василия Степановича, дорога, по которой он предложил возвращаться домой, оказалась много длинней; ехали уже целый час, а лесу все не было конца; солнце село, между черными деревьями разго-

ралось серебряное небо. Птицы понемногу умолкли, и наступила глубокая тишина; слышался мерный шаг лошади, поскрипывали колеса. Правил Аркадий. За коляской постукивал второй экипаж с Маврой и искусствоведом, пожелавшем ехать в телеге. Лес расступился, над черным полем раскрылось безлунное и беззвездное небо, лишь кое-где в темно-голубой бездне мерцали серебряные огоньки. Лошадь, кивая большой головой, равномерно работая крупом, шагала среди трав.

Молча, очарованные и подавленные огромным, как мир, пустым небом, влачили мы вдоль опушки, коляска остановилась. «Но!» — сказал возничий. Лошадь стояла. Аркадий щелкал языком, похлопывал вожжами по крупу лошади. Сзади подъехала и стала вторая повозка. Что-то как будто показалось вдалеке посреди поля. Лошадь заржала. И в ответ оттуда раздалось слабое, тонкое ржанье. Тут только разглядели, что все поле заросло густой и высокой, чуть ли не в пояс травой. Метрах в ста от нас, среди черных трав, не то приближаясь, не то стоя на одном месте, два коня танцевали, высоко поднимая тонкие ноги, два всадника в круглых шапках, в плащах и смутно мерцающих железных рубахах, с незрячими лицами, подняв копыя, плечом к плечу проплыли в высоких седлах, и на копыях колыхались флажки.

Понадобились бы, как я полагаю, специальные объяснения, чтобы ответить, почему братья, убитые, как считается, в южных землях весьма далеко отсюда, явились в наших местах; одно из них основано на известной гипотезе отраженного образа, другое исходит из того, что видения, как и редкие виды животных и птиц, ищут убежища в заброшенных уголках природы. Впрочем, к чему объяснять? Постепенно лесная заросль по левую руку от нас отступила, дорога шла все ниже, клубился туман.

Понурая лошадь брела по невидимой колее, седок опустил голову, равнина напоминала океан, в котором сгинули все голоса, исчезли ориентиры.

XXIV.

Несколько дней прошло в неопределенных мечтаниях, в утренней лени, задумчивом перелистывании заметок, планов, соображений. Замысел зажил понемногу своей жизнью и шевелился в ворохе бумаг, как рыба, которая запуталась в прибрежных зарослях, но теперь он представлялся мне средством, а не целью. Как никогда прежде, я чувствовал коварное очарование моего ремесла, которое притворяется чем угодно, на самом же деле существует ради самого себя; я капитулировал, я понимал, что поработен литературой и останусь ее рабом, даже если не напишу больше ни строчки.

Персонаж, рисовавшийся в моем воображении, — кто он был? Я узнавал в нем самого себя, но этот субъект хотел жить собственной жизнью, дышать и двигаться в особой среде; хуже того, он запрещал мне жить моей жизнью, в среде, которая называется действительностью. Он попросту отрицал за ней право считаться действительностью. Да, я удалился от мира, чтобы разобраться, наконец, в своей жизни. Между тем жизнь имела смысл лишь в той мере, в какой она могла служить навозом для литературы. «Жизнь» — в который раз приходится сознаться в этом, — жизнь сама по себе меня ничуть не интересовала. Словно окруженный воздушным пузырем, я бродил по ее дну, я разговаривал с односельчанами, с дачниками или кто они там были, чьи голоса глухо звучали в моих ушах, и у меня не было ни малейшей охоты описывать этих людей, превращать кого бы то ни было в марионеток моей литературы. Но из них, как из прошлогодней листвы, гниющих корней и упавших растений, должно было вырасти причудливое дерево моего воображения. Я размышлял на эти темы, рисовал завитушки, кое-что записывал, когда очередное происшествие вернуло меня к действительности. В избу постучались.

Явился Аркаша. Я замахал руками, и он исчез. Минуты через две стук повторился. Аркадий вторгся вопреки запрету тревожить меня во время работы. Он стоял на

пороге с видом совершенного идиота, между тем как хозяин, то есть я, отвечал ему тупым взглядом, ибо все еще находился в состоянии самогипноза; перо повисло в моей руке. «Пошел вон, — пробормотал я, — что это еще за новости...»

Подмигнув, он ответил:

«Спокуха».

Полез в подкладку, извлек помятый конверт и помахал им в воздухе, как бы желая сказать: попляши.

«Что такое», — проворчал я. Он махал письмом.

Я сунул ему рубль и вернулся к столу, разглядывая герб и адрес; впрочем, адреса не было, наклонным почерком, размашистой рукой было начертано три слова: мое имя. Вестник стоял под окном.

«В чем дело?»

«Велели без ответа не возвращаться», — отвечал он с улицы.

«Кто велел?»

Он многозначительно крикнул и побрел прочь.

Я вскрыл письмо кухонным ножом, там был сложенный вдвое листок, украшенный той же геральдической эмблемой.

Собственно, я уже более или менее понимал, в чем было дело, лишь дата в правом верхнем углу повергла меня в задумчивость. Возможно, я все еще не выбрался из наркотических грез. Времяисчисление не то чтобы застопорилось, но попросту выветрилось из моего мозга, во всяком случае я никак не представлял себе, что день и месяц, о котором меня уведомляла изящно-размашистая рука, есть именно тот день и месяц, который у нас на дворе сегодня, и что дата может вообще иметь какое-либо значение.

Наконец, там был проставлен год, а это уже совершенно меняет дело — я бы сказал, переводит на другой уровень смысл даты: ибо дни и месяцы периодически возвращаются — сколько их уже было с тех пор, как восемнадцатилетняя хозяйка впервые переступила этот порог, сколько раз вздучалась река, и луга покрывались травами, и к потолку подвешивали новую люльку, — если

дни повторяются, то годы приходят только один раз, годы выпрямляют круг времени в стрелу, летящую вперед, и событие, помеченное полной датой, становится историческим фактом, единственным и неповторимым.

«Милостивый государь...» — писал доктор искусствоведения Петр Францевич, называя меня по имени и отчеству.

«Полагая, что Вы догадываетесь, какого рода обстоятельства побудили меня писать к Вам, не смею отнимать Ваше время подробным изложением причин, вынудивших меня встать на защиту чести и достоинства известной Вам особы, слишком неопытной, чтобы своевременно распознать в Вас человека, злоупотребившего оказанным ему гостеприимством. До определенного времени я не вмешивался в происходящее, довольствуясь ролью стороннего наблюдателя и рассчитывая — как выяснилось, тщетно — на Ваше благоразумие, тем не менее всякая снисходительность имеет свои пределы. Тень, брошенная на репутацию молодой девушки Вашим, м.г., поведением, которое я предпочитаю назвать неосторожным, чтобы не квалифицировать его как злонамеренное, доброе имя семьи, наконец, приличия — все это действительно требует моего вмешательства. Я направляю к Вам моего человека, за невозможностью подыскать в здешней глуши более подходящего секунданта, и рассчитываю на Ваш незамедлительный ответ. Примите, и проч.»

XXV.

Путешественник рассмеялся. Это было все равно что после сложной и мучительно-тревожной музыки услышать оперетку. Это было приятное отвлечение от постылой необходимости напрягать мозг, выдавливая фразу за фразой, от каторжного писательства. С удивительной легкостью, схватив перо, он отписал барону Петру Францевичу о своей готовности выйти на поле чести. Выбрать место встречи, оружие и условия по-

единка он предоставил противнику как обиженной стороне. Что же касается секунданта, гм... Если уж сам Петр Францевич не погнушался Аркадием, то почему не воспользоваться и другой стороне его услугами? Путешественник растолкал Аркашу, спавшего на куче тряпья, и вручил ему письмо. Несколько времени спустя, зевая и содрогаясь, и почесывая укромные уголки тела, секундант выбрался из своей халупы. Ответ из усадьбы не заставил себя долго ждать.

Исключения, как известно, подтверждают правило; неизбежные в данных условиях отступления от обычаев были тщательно оговорены Петром Францевичем; на его компетентность рассчитывал приезжий, который имел о дуэлях литературное, то есть весьма поверхностное представление. Искусствовед уклонился от обсуждения скользкого вопроса, могут ли обе стороны довольствоваться одним секундантом, к тому же лицом низкого звания. Это значило, что Петр Францевич согласен. Он лишь уточнил, что ввиду вышеуказанных обстоятельств секундант освобождается от обязанности, возлагаемой на него дуэльным кодексом, попытаться в последний момент, не нанося урон интересам чести, помирить противников. Равным образом отпадали право и обязанность доверенного лица добиваться по возможности менее жестоких условий поединка. Что касается подробностей, то составление правил боя, за неграмотностью секунданта, взял на себя сам Петр Францевич.

Но прежде чем перейти к этой части дуэльного протокола, следовало договориться о враче. Петр Францевич полагал желательным и даже необходимым обойтись без медика. Он полагал, что установление факта смерти не требует специальных знаний. В случае же кончины обоих участников вопрос решается сам собой. Присутствие врача (которого пришлось бы для этой цели приглашать из райцентра) могло повлечь за собой неприятности для всех, кто имел отношение к делу. Со своей стороны Петр Францевич изъявил готовность сделать все от него зависящее, чтобы оказать помощь своему

оскорбителю в случае, если тот будет тяжело ранен и не сможет продолжать поединок.

И, наконец, условия. Тут Петр Францевич, пожелавший избрать в качестве оружия пистолеты, проявил особую неукоснительность и принципиальность; разница между правильной и неправильной дуэлью была для него никак не меньше, чем разница между дуэлью и убийством. Дуэль есть мероприятие по восстановлению поруганной чести и, как в настоящем случае, защите чести третьего лица. О том, что подразумевается под словом честь, каковы критерии ее поругания, Петр Францевич предпочел не распространяться, полагая эти вещи общеизвестными. Точно так же он обошел молчанием вопрос о сословной чести и ее отличиях от чести несословной. Было бы в высшей степени нетактично осведомиться впрямую, дворянин ли его оскорбитель, — не говоря уже о том, что плебейское происхождение противника, в случае, если бы таковое обнаружилось, лишило бы Петра Францевича возможности вести себя как подобает дворянину в сношениях с равными себе. Впрочем, так же как на пожарище бесполезно искать спичку, от которой загорелся дом, было бы нелепо ставить дуэльную процедуру в зависимость от причины и повода: дуэль сама по себе, независимо от повода, была испытание чести; дуэль подчинялась собственным законам; подобно сценарию, дуэль предписывала участникам их роли.

Итак, противники становятся на расстоянии двадцати шагов и по знаку, который подаст обиженный, идут, держа наготове оружие, навстречу друг другу до минимальной дистанции в десять шагов, обозначенной барьером, — например, брошенными на землю плащами. Разрешается стрелять в любое время после подачи сигнала, однако выстреливший первым должен тотчас же остановиться. Если он не попал в противника либо ранил его, этот последний вправе приблизиться к барьеру и, спокойно целясь, расстрелять своего врага. Дуэль возобновляется в случае безрезультатности и должна быть продолжена до тех пор, пока один из партне-

ров не будет убит или по крайней мере ранен столь тяжело, что не сможет сделать ответный выстрел.

XXVI.

Я велел Аркадию немедленно возвратиться и передать Петру Францевичу, что буду на месте в назначенный час. Стемнело; я расхаживал по скрипучим половицам, приятно возбужденный, думая о том, что следовало бы привести в порядок мои дела, — впрочем, какие у меня дела? — написать два-три письма на случай... на случай чего?

Несмотря на поздний час, спать мне не хотелось. А надо бы выспаться, как говорит Печорин: чтобы завтра рука не дрожала. Было ясно, что барон шутит. Было ясно, что он не шутит. Тут, я думаю, все соединилось: прошлое и настоящее, и желание утереть нос воображаемому сопернику, и желание отомстить гнусному времени. Дон Кихот не шутил, когда облачился в заржавленные доспехи; но каким оскорблением, еще одной обидой было бы для Петра Францевича это сравнение. Станным образом я испытывал к нему симпатию; в его амбиции было что-то почти трогательное.

Словом, что оставалось делать? Я ходил взад и вперед по комнате, от печки к столу и обратно, перо и бумага вновь призывали меня. Прощальное письмо есть литературный жанр и в качестве такового требует от автора найти необходимое равновесие между новизной и условностью; новизна заключалась уже в том, что на рассвете я буду по всей вероятности убит на дуэли, тогда как традиция презирала всякие новшества; традиция запрещала уделять этому весьма возможному факту слишком много внимания; традиция предписывала сдержанность, здравый смысл, сухую красоту слога. Услышав тихий стук в окошко, я вышел в сени. Роня, в легком платьице, закутанная в темный платок, озираясь, стояла на крыльце. Признаюсь, я был весьма удивлен. Я даже был ошарашен. Мы вошли в избу, она подбежала к столу, прикрутила фитиль керосиновой лампы.

Я успокоил ее, сказав, что никто нас не увидит: деревня почти необитаема.

«Да, да, знаю, — пробормотала она. — Сразу передадут маме, дяде... Послушайте, я ужасно испугалась».

Оказалось, что она встретила Аркашку возле своего дома и подлец показал ей мое письмо.

«Ну и что», — сказал я спокойно, стараясь припомнить, что же конкретно сообщалось в моем письме, кроме того, что я согласен и явлюсь вовремя.

Она возразила:

«Вы думаете, я не догадалась? Дядя устроил нам вчера сцену».

«Кому это — нам?»

«Мне и маме. Он говорил, что проучит вас. Послушайте, ведь он шутит, да? Скажите: он шутит?»

В полутьме блесст циферблат ходиков, блестели ее глаза, дом населили наши тени, кивавшие нам с потолка бесформенными головами, не мы, а тени жили своей независимой жизнью и заставляли нас подчиняться их воле, как огромные темные фигуры кукловодов управляют куклами, держа невидимые нити. Я охотно ответил бы Роне: разве тебе не ясно, что все это игра? Но что-то останавливало меня, игры, которым предавались они там, в усадьбе, грозили превратиться в действительность, Дон Кихот не шутил. И я чувствовал, что сюжет начинает разворачиваться сам собой. Я предложил ей сесть. Тень Рони заставила Роню опуститься на табуретку.

«Видишь ли, здесь это, может быть и шутка, — проговорил я, невольно переходя на ты. Она приняла это как должное. — Здесь это выглядит как шутка. Но там, за рекой... Ты говоришь, он устроил вам сцену. А, собственно, за что он собирается меня проучить?»

Она подняла на меня глаза. «Как за что... Неужели вам непонятно?»

И умолкла, но кукловод-тень потихоньку натягивал нитку.

«Умоляю вас, откажитесь, ведь вы, наверное, даже не умеете стрелять. Сознайтесь; наверное, ни разу не держали в руках оружие».

Отчего же, возразил я, держал.

«Вы?»

Мне пришлось ей ответить, что я стрелял когда-то на военных сборах; правда, ни разу не попал.

«Вот видите. А дядя Петя настоящий стрелок. Он ходит на охоту. Он вас убьет!»

Я объяснил, что правила чести не разрешают мне уклониться от боя; разумеется, я не стану целиться в Петра Францевича, но если бы я ответил на его вызов отказом, это было бы новой обидой. Да и сам я не простил бы себе трусости.

«Трусости? — вскричала она. — Какая же это трусость? Да ведь дуэль — это... Подумайте: в наше время!..»

«Ага, — я усмехнулся, — а как же правила игры?»

«Это уже не игра».

«Может быть. Но, знаешь ли — назвался груздем, полезай в кузов! В крайнем случае можно извиниться перед тем как... В конце концов, эта ссора — чистое недоразумение».

«Недоразумение? — проговорила она. — А я думала...»

«Что ты думала?»

«Вы правы. Конечно, недоразумение».

Мы молчали, я предложил проводить ее до дому.

Она рассеянно кивнула, но тут же поправилась:

«Нет, ни в коем случае. Нас не должны видеть. Лучше я одна... Тут все друг за другом следят, это только кажется, что никого нет... Тут живут старухи, которых никто не видит, они вылезают по ночам, когда нет луны, и бродят вокруг. Мертвые старухи, которых некому было похоронить, вот они и сидят в своих развалюхах. А ночью вылезают. Я уверена, что кто-нибудь стоит под окном... Ну и пусть стоит!» Она умолкла, смотрела на чахлый огонек в стекле, и тени над нами застыли в ожидании.

«Роня, о чем ты думаешь?»

«О чем я еще могу думать. Эта дуэль ни в коем случае не должна состояться. Если вы ничего не предпримете,

я сама приму меры. Вы меня не знаете. Я способна на решительные поступки».

Она нахмурилась, глядя в одну точку, как школьница, которая решает сложную арифметическую задачу.

«Вот что: я остаюсь у вас».

«У меня, здесь?»

«Я вас не стесню, я лягу на полу».

«Не в этом дело, Роня...»

«Могу даже вовсе не ложиться. Но когда он узнает, что я провела у вас ночь, он подумает, что я стала вашей женой, и уже ничего не поделаешь!»

Насвистывая, я прошелся по комнате и сел на порог. Она рассеянно поглядывала на мои бумаги. Очевидно, ждала ответа. Вдруг ни с того ни с сего на стене пошли часы, а может быть, я до этого не обращал внимания на их стук. Я взглянул на циферблат, минутная стрелка не спеша вращалась по кругу. Моя гостя в некотором ошолоблении взирала на сумасшедшие часы.

Я потер лоб.

«Роня. Ты в самом деле готова стать, как ты сейчас выразилась... моей женой?»

«Представьте себе, не готова. Вы разочарованы?»

Она смотрела на часы. Стрелка остановилась.

«Ты меня совершенно не знаешь, — сказал я. — Ты не знаешь моих обстоятельств...»

Она передернула своими узкими плечами, дескать, какое это имеет значение. Очевидно, сказала она иронически, я хочу ей сообщить, что я женат. Печально, но это не важно, Теперь уже ничего не важно.

«Я хочу вас спасти. Поймите вы. Он вас убьет! Подстрелит, как рябчика, и глазом не моргнет».

«А как же следствие и все такое?»

«А что ему следствие? Он живет в другом веке».

«Ну что ж, — сказал я смеясь, — в таком случае и я для него неуязвим. Ты думаешь, что наш век лучше?»

Чувствуя, что я по-прежнему подчиняюсь какому-то этикету, я заговорил о том, что, с одной стороны, польщен ее вниманием, но, с другой стороны, даже если бы между нами произошло что-нибудь такое...

«Вы хотите сказать, — перебила она, — если бы мы переспали!»

«Странно слышать этот язык из твоих уст, Роня», — заметил я.

«Что же тут странного, ведь мы не за рекой. Слушайте, мне все это надоело».

«Что надоело?»

«Да все это... А кондом вы приготовили?»

«Что?»

«Кондом».

«Зачем?»

«Чтобы не дать шансов СПИДу», — объявила она с торжеством.

«Но я здоров, уверяю тебя», — пролепетал я.

«По статистике три процента здоровых — носители вируса».

«Три процента. Угу. М-да. Так вот, я хотел сказать... — Я прочистил горло. — Я хотел сказать, что ты меня совершенно не знаешь. У меня нет никакого положения в обществе».

Какое общество? — подумал я. Между тем большая стрелка часов снова двинулась: чудеса с пружиной. Вскочив, я попытался ее унять, это удалось мне не сразу; я стал тянуть по очереди за обе гирьки, — словно доил аппарат, — но время иссякло; наконец, стрелка вздрогнула и двинулась снова, только в обратную сторону. «Дай-ка мне... — пробормотал я, — что за чертовщина...» Роня подала мне со стола лист бумаги, я скрутил его жгутом, подпихнул его под стрелку. Под обе стрелки. Часы реагировали на это громким возмущением: они стали куковать. Часы прокуковали неизвестно сколько раз.

«Начать с того, что у меня нет никакой профессии. Это во-первых. А кроме того, у меня, в сущности, нет пристанища. Не знаю, говорил ли я вам... тебе. Моя бывшая жена выгнала меня из комнаты. Я поселился временно у брата, перетащил туда свои книги. Но, сама понимаешь, сколько можно? Он ютится с семьей в двухкомнатной квартирке, приходится ночевать на кухне».

Она кивала, но, кажется, была погружена в свои мысли.

«До осени я пробуду здесь, а там надо будет что-то придумывать. Как-то решать. Но дело не в этом. Дело в том, что я... видишь ли. Я не только жилплощадь потерял. Жилплощадь — хрен с ней. Я себя потерял. Нет, это тоже не то. Уж очень литературно звучит, проклятье какое-то...»

Теперь она пристально смотрела на меня. Казалось, она силилась что-то прочесть на моем лице. Не знаю, слушала ли она меня.

«Я потерял самого себе. Ядро моей личности расстрескалось. Раньше я жил в городе, сейчас здесь, утром встаю, одеваюсь, что-то там перекусываю, хожу на речку. Что-то такое пытаюсь писать. Но во всем этом меня самого нет. Я как будто куда-то делся. Осталась моя оболочка, и остался некий воспринимающий механизм, который все это регистрирует».

«При моем положении все это может показаться просто блажью, ведь мне надо думать совсем о другом: где жить, как дальше существовать. Писатель, х-ха. Какой я писатель? Писатель — это тот, у кого нет никаких забот! А я... И вообще, не находишь ли ты, что наша жизнь, на этом берегу, так сказать... наша гнусная жизнь просто-напросто отменила все эти вопросы о смысле жизни и так далее, так же как она отменила страсть, гордость, романтику, таинственность женщины, отвагу мужчины. Какая там романтика, какая там страсть, когда здесь — заколоченные избы, развалившиеся сараи, поля, заросшие бурьяном, а там — одна только мысль о жилье и прописке, рысканье по магазинам, толкотня в очередях, в автобусах... Когда в каждом подъезде тебя встречают пьяные рожи...»

«Собственно, я не об этом, что об этом говорить; страну не переделаешь. — Я потер лоб. — Короче говоря, я сбежал. Я думал, что можно эмигрировать из жизни в литературу».

«Все мы эмигранты...» — проговорила она.

«Вот именно: лишь бы прочь, подальше от этой жизни. Твои родители эмигрировали в девятнадцатый век... Только ведь вот в чем смех: мы там кое-что забыли».

«Где — там?»

«В этой самой жизни. От которой мы сбежали. В этой мерзкой, гнусной, но, к сожалению, настоящей действительности... Мы оставили там самих себя! Ты сама говорила, что в нашем с тобой знакомстве есть что-то неестественное, тургеневское. Он ведь тоже сбежал из России... Ты говорила об игре... Может, я и вправду немного кокетничал, в лесу, когда мы с тобой гуляли, но уж тогда скорее перед самим собой. Перед тем, кого нет... В общем, что я хочу сказать? Я живу, я думаю, я мечусь взад-вперед по этой избе, вот, пробовал привести в порядок свое прошлое, вернее, не столько пробовал, сколько придумывал разные проекты... Успел даже, как видишь, исписать ворох бумаги. Моя мысль работает, мозг функционирует, выдает нечто хаотически-непрерывное, но в том-то и смех, и ужас, что в этой плазме сознания отсутствует полюс, к которому устремлялись бы все потоки; видишь ли, Роня, в человеческом сознании должен существовать некоторый абсолютный полюс, неважно, как он называется...»

Я потерял нить мысли. Только что я говорил с увлечением, мне казалось, что я не высказал и десятой части того, что должен был сказать, и вдруг умолк, и оба мы почувствовали глубокую тишину ночи, слабый огонек освещал наши лица, в полумраке едва были различимы стены избы и мое ложе, и темные, как сургуч, иконы, и стропила с крюками; я сидел напротив моей гостьи, она покосилась на мою руку, выбивавшую дробь по столу, я подумал, что это ее раздражает; наконец, она проговорила: «Поздно уже... сколько сейчас?.. Что же делать, Господи, надо же что-то делать!»

XXVII.

Она нехотя поднялась, обвела глазами мое жилье.

«Это все досталось вам от бывших хозяев? Кто тут жил?»

«По-видимому, семья была раскулачена. Всех вывез-

ли. Хотя все-таки жизнь продолжалась. Здесь висели люльки».

«Здесь кто-то повесился», — сказала она.

Помолчали; она спросила:

«У вас дети есть?»

Я пожал плечами.

«Вы не ответили».

«Мужчина никогда не может быть уверен, Роня».

«Не изображайте из себя пошляка, вам это не идет...»

Мы вышли на крыльцо, луна пряталась за домом. Мы шли по дымному полю, Роня впереди, я за ней.

«Хотите, — услышался ее голос, — я вам открою один секрет».

Мы вышли к реке, нужно было пройти еще довольно далеко до мостика.

Подул ветерок, она сошла, белея платьем, к воде.

Я предложил вернуться: собирается дождь.

Она не ответила.

«Роня», — сказал я.

«В чем дело?»

Я повторил, что нам лучше переждать дождь у меня дома, а потом уже...

Она перебила меня.

«Послушайте. Может, искупаемся?»

Что за идея.

«Ну, как хотите...» Последние слова она произнесла, уже входя в воду, вскрикивая вполголоса, балансируя руками, у нее были слабые плечи, резко обозначилась ложбинка между лопатками, круглый зад казался хрупким, она довольно неловко плюхнулась в черно-маслянистую воду, поплыла, течение сносило ее. Она что-то кричала, и мне показалось, что она захлебывается. Я бросился к ней, мы барахтались друг возле друга, Роней овладело необыкновенное веселье, стоя по грудь в воде, она окатывала меня брызгами, затем все смолкло, она вышла из воды и стояла, закинув голову и встряхивая волосами. Я приблизился и обнял ее. «Э, нет, — сказала она, — вот это уж нет...» — «Почему нет, Роня?» — «Не хочу». Эта игра продолжалась некоторое время.

«Ну, в чем дело, одевайтесь, — бормотала она, — это невозможно, здесь холодно... Сами говорите, сейчас пойдет дождь». Вдруг зашумел сильный ветер, я подстелил ей одежду, мы сидели друг против друга, тени ее глаз, тени ключичных впадин, глубокая тень, скрывавшая низ живота, — она вся состояла из теней.

Я набросил ей на плечи мою рубашку. «Спасибо... — пробормотала она, кутаясь, пряча грудь и стуча зубами, — другой бы меня на вашем месте...» — «Что на моем месте?» — «Изнасиловал». — «Я еще могу наверстать», — пошутил я. Она сидела, подогнув коленки, опустил голову, осматривала себя.

Она озиралась.

«Тс-с... слышите? Там кто-то есть. Говорю вам, там кто-то есть. За нами следят, я так и знала... Это та старуха. Она шла за нами».

Ветер пронесся над кустами, луны уже не было видно, и стало совсем темно. Вдали за рекой, над едва различимой лесной чащей брезжил серебристый край неба. Мы встали, я растирал Роню моей одеждой, она терла мою кожу, мы дрожали от холода. Не сговариваясь, мы поднялись вверх, выбрались из кустарника и побрели назад через огородное поле.

«Скажите...»

Мы говорили вполголоса; как и прежде, она называла меня по имени и отчеству.

«Оставим это, Роня. Зови меня просто...»

И будем на ты, хотел я добавить, но чувствовал, что это «ты» разрушило бы наши с таким трудом установившиеся отношения. Это «ты» воздвигло бы между нами новое препятствие вместо того, чтобы еще больше сблизить нас. Оно означало бы, что мы стали друзьями. А мне — теперь это было совершенно ясно — мне хотелось другого.

Она пробормотала:

«Мне надо привыкнуть».

Друг за другом мы пробирались по невидимой тропе. Я напомнил ей о том, что она хотела мне открыть секрет.

«Ты хотела мне сообщить секрет...»

«Какой секрет? А-а. Лучше после... когда придем. Скажите, — спросила она, — вы верите в привидения?»

«Нет».

«Но ведь их все видели. И вы тоже. Разве вы не видели? Я сначала подумала, что это снимают какой-нибудь фильм».

«Если видели все, значит, это не привидение».

«Почему?»

«Привидения — дело сугубо индивидуальное. Тень Банко является только одному Макбету».

«Кто это был?»

«Это были князя Борис и Глеб, сыновья Владимира. Святые братья, препоясанные милостью и венчанные смыслом».

Она чувствует себя виноватой передо мной, думал я, если бы я был виноват перед нею, она бы молчала. Она думает о том же самом, поэтому говорит о посторонних вещах и делает вид, что забыла о том, что было на берегу и что мои руки касались ее тела. Она делает вид, что не догадывается, зачем мы возвращаемся ко мне домой, но на самом деле думает об этом и говорит о постороннем.

«Что это значит, препоясанные милостью?»

«Так говорится в летописи».

«Откуда они взялись?»

Оттуда же, возразил я, откуда являются все привидения.

«Значит, это все-таки привидения?»

Помолчав, она спросила, откуда я знаю, что это они.

Я ответил, что есть известные иконы. Одна висит у меня, разве она не заметила?

«Но в жизни они, наверное, выглядели иначе».

«Нет, они выглядели именно так. Иконы сделали их такими; а как они до этого выглядели, не имеет значения».

«Не имеет значения. Что же тогда имеет значение?»

То, что мы идем ко мне домой, хотел я сказать. Потому что дома это произойдет так же неизбежно, как то, что сейчас пойдет дождь, потому что решение принято.

«А вдруг мы их снова встретим?»

«Они в деревню не заезжают, Роня».

«А если встретим. Что тогда?»

«Ничего; поздороваемся и пойдем дальше».

«А они потом разнесут по всей округе, — нервно хихикнула она, — что я была у вас ночью».

«Не разнесут, Роня. Святые молчат». Несколько минут спустя мы бежали сломя голову, вокруг падали свинцовые капли, мы едва успели нырнуть в сени — дождь обрушился на мертвую деревню. Во тьме, шумно дыша, нашарив дверь, мы ввалились в избу.

XXVIII.

Я топтался посреди комнаты, моя гостя полулежала на постели, свесив ногу на пол, короткое платье, успевшее только слегка намочнуть, обрисовало ее бедра.

«Ну что, — сказала она, отдышавшись, — будем чай пить?»

Я молчал и думал о том, что я сейчас подойду и переложу ее свесившуюся ногу на кровать. Подойду и сяду рядом.

«Будем чай пить», — сказал я.

«Эх, вы».

«Что — я?»

«Эх, вы! — повторила она почти со злобой. — И вы все еще не понимаете?»

«Не понимаю».

«Вам надо было взять меня. А вы трусили».

«Еще ничего не потеряно, — глупо усмехаясь, проговорил я. — Мы можем наверстать».

«Нет уж, поздно. Надо было тогда. Взять вот так, за руки... и прижать к земле. А если бы я заорала, все равно никто бы не услышал. Вы все ждали разрешения... Вы трус. Разве кто-нибудь спрашивает разрешения?»

«Но... это не трусость, Роня», — сказал я, вероятно, с каким-то жалким выражением на лице.

«Да, да. Вы не решились воспользоваться моей нео-

пытностью — вы это хотите сказать? Вы, наверное, думаете, что.. А вот, кстати, один вопрос, — сказала она, садясь. — Как вы смотрите на такую вещь, как девственность?»

«Представь себе, с уважением».

«Приятно слышать. Вы просто до ужаса вежливы. Так вот. Вы, наверное, думаете, что я не далась вам оттого, что я девица. Ошибаетесь. Оттого и не далась, что не девица».

Вот так здорово. Все мои мысли разлетелись по сторонам. Как-никак «вопрос» был для меня небезразличен — как и для всякого мужчины. Мне вдруг показалось, что она смеялась надо мной; что на самом деле она гораздо старше; что меня вообще непрерывно водят за нос. Молчание. Наконец, я произнес:

«Это и есть твой секрет?»

Ответа не последовало. Открыв рот, она уставилась на меня. «Дядя Петя... — проговорила она. — Господи, у меня совершенно вылетело из головы!»

Я вынужден был признаться, что и я совершенно позабыл о дуэли.

«Сколько сейчас времени?»

«Не знаю».

«Когда мы вышли, на этих часах было...»

«Не обращай внимания. Они испорчены. Ты хотела что-то сказать».

«Да, — сказала она, — хотела сказать. А может, не говорить? Вы бы не догадались, правда?.. Так вот, сударь, это он. Он меня — как это называется? — сделал женщиной».

«Гм. Вот как?»

«Вот вы говорили; игра...»

«Это не я, это ты говорила».

«Хорошо. По условиям игры я должна быть барышней. Белое платье, зонтик, все такое. Книжка в руке... И, понимаете, получается так, что эта история, то есть то, что между нами произошло, я имею в виду дядю Петю... это тоже традиционный сюжет!»

«Почему традиционный?»

«Ну как... Солидный господин с душистыми усами совратил гимназистку. Вы Бунина читали?»

«Читал. Так что же именно произошло?»

Она разгладила платье на коленях и приготовилась к рассказу. Дело было уже довольно давно. Они ходили по музеям, на выставки. Почти каждое воскресенье что-нибудь такое. Он даже водил Роню по запасникам; он там свой человек; одним словом, руководил ее образованием.

Дождь журчал под окнами, ночной ветер набросился на ветхий дом, хлопнуло в отдалении, ветер трепал крышу, лепесток огня дрожал в стекле керосиновой лампы.

Она понятия ни о чем не имела. То есть, конечно, знала, но что значит знала? У нее даже еще не началось; по ее словам, она считалась отстающей в развитии.

Однажды он устроил экскурсию в Архангельское, специально для их класса, водил всех по парку, объяснял, рассказывал; после все ели мороженое.

Он продолжал говорить, теперь уже о себе, они медленно шли следом за всеми, к воротам, отстали. Само собой это получилось или он все рассчитал, неизвестно, бывают такие обстоятельства, когда люди ведут себя, как лунатики: «Вам как писателю это, наверное, лучше знать». Роня утверждала, что она ни о чем не догадывалась, «вернее, догадывалась, но ждала, что будет дальше». Они оказались в другой стороне огромного парка.

Нас, наверное, ждут, сказала она Петру Францевичу. Он ответил, да, конечно, я думаю, нам надо повернуть влево, нет, лучше направо. И дал ей платок, вытереть липкие пальцы. И они сели на скамейку. Кругом ни души.

Я слушал Роню внимательно и спросил: сколько ей было лет?

Конечно, она уже не была такой дурочкой, сказала она, кое-что знала. Девочки всегда все знают. Но что значит — знала? Это было невероятно, это происходило с ней самой, это ей говорили о любви, и кто же? —

взрослый мужчина, друг семьи, красиво одетый, от него пахло духами «Осенний ландыш».

«Ландыши бывают весной».

«Да? — возразила она. — А вот это был осенний».

Так вот.

И этот человек, дядя Петя, шепотом и, очевидно, в сильном волнении говорил ей невозможные слова, она сидела, опустив голову, на коленях у взрослого человека и вытирала пальцы, липкие от мороженого. «И, знаете, — добавила она, — вам покажется странным, но меня это просто поразило, я увидела, что он плачет!»

Тут были разные подробности, которые она не может объяснить, как-то так получилось, что они оказались лицом к лицу, и она чуть было не рассмеялась, взрослый мужчина — и плачет, — и стала вытирать ему щеки платком, он потерял голову, она потеряла голову, и, в общем, это произошло.

«Угу. Ты сопротивлялась?»

Да, то есть нет. Она словно околела. Ее поразили факт.

«Факт?»

Да, факт. — А что же экскурсия, куда делись все остальные? — Остальные ждали у входа, Петр Францевич объяснил, что они заблудились, что-то придумал; она не помнит.

Дождь утих.

«Вот. Теперь вы знаете».

«Послушай, Роня, — сказал я после некоторой паузы. — Когда мы с тобой встретились в лесу, ты мне говорила...»

«Что же я говорила?»

«Что ты пробуешь себя в литературе».

«Правда? Не помню», — сказала она надменно.

«Да, ты именно употребила это выражение. Так вот, я должен сказать, что нахожу у тебя недюжинные литературные способности!»

«Причем тут способности?»

Я развел руками.

«Вы что, мне не верите? — вскричала она. — Не верите, что все так и было?»

«Одно нехорошо, ты оклеветала ни в чем неповинного Петра Францевича. Зачем?»

Насупясь, с обиженным видом она смотрела на меня, пока легкая судорога не пробежала по ее телу, и мы оба расхохотались.

XXIX.

Тут я должен заметить, что ее вопрос, как ни смешно, заставил меня задуматься. Как я отношусь к девственности? Термин, можно сказать, вышедший из употребления. С почтением, возразил я. Можно было бы ответить: с умилением. А может быть, и со страхом. Почему со страхом? Почему не только девственница со страхом оберегает себя, но и всякий, кто к ней приближается, испытывает страх? Меня не интересовало, зачем она это придумала, всю эту историю с поездкой в Архангельское; может быть, Петр Францевич действительно водил ее по музеям, вполне возможно, что и экскурсия была на самом деле; собственно, так и сочиняются истории; и, само собой, Роня знала, что «друг семьи» оттого и друг, что неравнодушен к ней; может быть, даже имело место объяснение, где-нибудь в пустынной аллее. Помнится, когда мы с бароном, в лесу, удалились для приватной беседы, он упомянул о серьезных намерениях; видимо, и родители знали, что он собирается жениться на Роне, и одобряли этот проект. А она? Меня и это не особенно занимало, мой летучий роман с девочкой из усадьбы был игрой, правда, чуть было не зашедшей слишком далеко.

Меня не интересовало, зачем она придумала историю с соблазнением, мало ли какая фантазия может придти в голову семнадцатилетней девице; меня занимал вопрос о девственности, о том, что оставалось вечно живым мифом, невзирая на все революции, перемены моды и так далее, да, живым, и не только здесь, в полумертвой деревне, но и в ко всему на свете равнодушном большом городе; и, как тысячу лет назад, миф

был окружен колючей проволокой двойного страха, миф рождал двойную ассоциацию с военной атакой и преступлением. Девственность была подобна башне, дворцу или крепости, которую брали штурмом, и победителя ждала слава; девственность была заветной шкатулкой, которую взламывали тайком и озираясь, и вор заслуживал наказания. Очевидно, что нападение могло быть успешным лишь при условии внезапности; фантазия Рони опровергала версию о внезапности. Насилие предполагало полную неподготовленность, искреннее неведение жертвы; но в фантазиях Рони оно уже было, так сказать, запрограммировано, и существовали кандидаты, их было два: один — Петр Францевич, другой, очевидно, я. Насилие справедливо рассматривалось как надругательство — и в то же время как нечто такое, без чего девственность была лишена смысла и со временем должна была превратиться в позор. Выходило, что девственность опровергала свой собственный миф; значит ли это, что миф девственности был от начала до конца изобретением мужчин?

Если это так, думал я, то девственность — в самом деле миф и ничего более; если это так, то она должна заключать и действительно заключает в себе для нашего брата всю тайну и таинственность женщины, предстает как уединенный скит, как сомкнутые врата, за которыми пребывает нечто не имеющее имени, некая священная пустота; девственность должна быть обещанием, которое никогда не будет выполнено, должна повергать в трепет, должна пугать и притягивать, — между тем как носительница тревоги и тайны, какая-нибудь круглолицая, толстозадая и глупая, как все они, дочь Евы либо вовсе не подозревает о них, либо соглашается признать их в качестве некоторой окруженной почетом условности, как носят нагрудный знак, который сам по себе не заслуга, а лишь символизирует заслугу, быть может, мнимую. Я не мог согласиться с таким ответом.

Я не мог представить себе девственность каким-то театром. Не то чтобы я так уж цеплялся за традиционную

мораль; и я, конечно, знал, как часто женщина только тогда и расцветает, когда сброшено это бремя, как если бы целомудрие было врагом женственности в прямом физиологическом смысле. Но то, что девственность, это спящее чудовище, в самом деле мстило всякому, который осмелился его потревожить, — с этим чувством, или, вернее, предчувствием, я ничего не мог поделать: оно не было ни изобретением мужчин, ни фантазией женщин, оно существовало само по себе и владело мною, и это, собственно, и был единственный ответ, который я мог дать Роне.

XXX.

Две тени шевелились на потолке, двойной человек сидел за столом на табуретке приезжего и делал бумажные кораблики. Две флотилии выстроились друг перед другом, потонувшие корабли падали со стола, отличившиеся в бою получали награды: красные звезды на бортах и синие полосы на трубах.

Интересно, подумал постоялец, у меня цветных карандашей нет, значит, их принесли с собой.

Вслух он сказал:

«Между прочим, мы тоже так играли в детстве. Но это мои рукописи, зачем вы портите мои рукописи?»

Человек повернул к нему одну голову, вторая была занята рисованием.

«Ах вот как, — сказал он небрежно, — а я и не обратил внимания».

Вторая голова возразила: «Тут темно».

«Вы умеете говорить раздельно?» — спросил путешественник. Тут только он заметил, что стекло снято, колпачок горелки отвинчен, на столе мерцал полуживой огонек.

«Мы тоже сидели с коптилками. Приходилось экономить керосин, — сказал он неуверенно. — Это было во время войны. Я делал уроки, писал дневник. Все при коптилке!»

«Мало ли что, — возразил двуглавый человек. — Керосин и сейчас дефицитен».

«Да у меня целая бутылка стоит в сенях».

«Ай-яй, какая неосторожность; вы игнорируете правила пожарной безопасности».

«Теперь я вижу, что вы можете говорить в унисон», — заметил приезжий.

«Долго не могу, — сказал человек, — не хватает дыхания. А что это за дневник? Вы упомянули о дневнике».

«Обыкновенный дневник подростка. Даже, я бы сказал, не без литературных амбиций».

«Он сохранился?»

«Нет, конечно; я его уничтожил. Это было позже».

«Послушайте, — сказал человек, орудуя ножницами, — тут у вас что-то не сходится. Даты не сходятся. Вы говорите, во время войны, делал уроки... Выходит, вы уже ходили в школу. Но ведь вы еще не старый человек. А война была давно».

«Да как вам сказать — не так уж давно. Я прекрасно помню это время. Сводки, песни; могу, если хотите, кое-что исполнить. Я все военные песни знаю наизусть».

Постоялец свесил голые ноги с кровати и затащил вполголоса: «На заре, девчата, проводите комсомольский боевой отряд. Вы о нас, девчата, не грустите, мы с победой придем назад. Мы разведем вражеские туши...»

«Любопытно. Впервые слышим. — Обе головы переглянулись. — Ты слышал? Я не слышал. Мы не слышали. Ладно, оставим эту тему. — Человек повернулся к приезжему и закинул ногу в сапоге за другую ногу. — Так что же это все-таки был за дневник? Вы уже тогда были, э, писателем?»

«И-и-и врагу от смерти неминуемой, от своей могилы не уйти», — пел, раскачиваясь на постели, приезжий.

«У вас прекрасная память, но, к сожалению, ни малейшего слуха!»

«А мне нравится, — сказала вторая голова, — давай еще».

«А ты, Семенов, не встревай».

«Что же мне свое мнение нельзя высказать?»

«Помолчи, говорю. Когда надо, тебя спросят».

Голова обиделась и стала смотреть в сторону. Человек спросил:

«Почему вы его уничтожили? Там было что-нибудь о нашем строе? Антисоветчина небось?»

«Да что вы, — испугался приезжий. — Не было там никакой антисоветчины».

«А что же там было?»

«Да ничего».

«Интимные дела? Порнография?»

«Я боялся, — сказал путешественник, — что его найдут родители. Я порвал его в уборной, все тетрадки одну за другой, их было десять или двенадцать. В мелкие клочки. В уборной».

«Тэ-экс, — медленно проговорил человек о двух головах, отшвырнул ножницы и вышел из-за стола, загорюдив свет коптилки. — Значит, говоришь, в клочки. Вот мы и добрались, наконец, до главного. Теперь поговорим серьезно. Что там было? Выкладывай все начистоту».

«Что выкладывать?» — спросил приезжий. Он сидел, съевшись, на своем ложе, двуглавый навис над ним.

«Я жду, — сказал человек. — Мы ждем».

«Там было... — пролепетал приезжий. — Я не помню».

«А ты постарайся. Напряги память».

«Но я забыл!»

«А мы не торопимся», — сказал человек ласково.

«Малоинтересные вещи. Всякая ерунда, чисто личного характера...»

«Вот видишь. Кое-что уже вспомнил. Рисунки?»

«Какие рисунки?»

«Рисунки, говорю, были?»

Приезжий кивнул.

«Ага, — сказали головы, потирая руки, — порнографические рисунки. Рассказывай, чего уж там. Играй, играй, рассказывай, — запела голова, — тальяночка сама, о том, как черноглазая с ума свела! Видишь, и мы кое-что помним».

Человек подсел к приезжему на кровать. Путешественник подвинулся, чтобы дать ему место. Путешественник обвел глазами избу, черные стропила и железные крюки.

«Значит, опять будем в молчанку играть. Не хотелось бы прибегать к крайним мерам. Не хотелось бы!»

«Что вам от меня надо, — забормотал приезжий, — я уже сказал: я не помню. Я даже не уверен, был ли этот дневник на самом деле».

«Отказываться от показаний не советую».

Приезжий молчал.

Человек сделал знак помощнику, другая голова отделилась и вышла, ступая сапогами по бумажным кораблям.

«Значит, говоришь, не было дневника, ай-яй. Вот мы сейчас посмотрим, был или не был. Семенов, ты где там?»

Семенов, с сержантскими лычками на погонах, наклонив голову, переступил порог, огонек коптилки вздрогнул, помощник положил на стол кипу школьных тетрадей, перевязанную бечевкой.

«Нет, — сказал приезжий, — это не я, это не мои...»

Сержант стал развязывать бечевку. Узел. Он схватил со стола ножницы.

«Не надо! Не режьте! — закричал постоялец. — Веревка пригодится! Я сам все расскажу! Я все подпишу, не надо! Боже, если бы я знал... Если бы я только знал... Но откуда вы взяли... Почему порнография? Причем тут порнография? Ведь вы даже не читали! И что вы все твердите: дневник, дневник... Какой это дневник, это литература... А у литературы свои законы... Своя специфика... Это не я! Нельзя смешивать автора с его персонажами... Одно дело автор, а другие действующие лица... И к тому же, — бормотал он, — это даже не мой почерк. Вы мне подсунули... Я не пишу в таких тетрадках...»

«А чей же это почерк? Ты что дурочку-то строишь, — сказал лейтенант. — Кому шарики крутишь. Сволочь хитрожопая, ты кого обмануть хочешь?!»

«Поди погляди, — отнесся он к другой голове, — что там за шум...»

Помощник вышел в сени и вернулся.

«Это делегация», — сказал он.

«Мешают работать! — зарычал лейтенант. — Кому еще я там понадобился? Скажи, я занят».

«Они не к вам. Они к нему», — сказал помощник. В сенях уже слышался топот. Ночной лейтенант поднял голову, приезжий тоже с любопытством взглянул на дверь. Заметался огонек коптилки, появилось несколько человек солидного вида, в седых усах, длинных черных сюртуках или, вернее, демисезонных пальто. Они вошли, наклоня головы, один за другим в низкую дверь, выстроились у печки и вдоль стены с ходиками, после чего первый, расстегнув пальто, из-под которого выглянул фрак, и сняв с коротко стриженной седой головы блестящий цилиндр, выступив вперед, отвесил присутствующим поклон и осведомился: здесь ли проживает писатель?

«Это я», — сказал растерянно путешественник.

«Нобелевский комитет уполномочил меня и моих коллег известить вас о том, что вам присуждена премия Альфреда Нобеля за этот год».

«Мне?» — спросил приезжий.

«Вам. Нобелевский комитет просил меня от имени своих членов, а также его величества короля передать вам поздравление с наградой, к которому я и мы все, не правда ли... — глава делегации обернулся к остальным, — охотно присоединяемся!»

«Вот видите, — сказал приезжий, отнесясь к ночному лейтенанту, — я же говорил, что это литература».

Лейтенант прокашлялся.

«Семенов, — сказал он помощнику, — ты лучше выйди, займись там... Нечего тебе тут торчать».

«Я, собственно... — продолжал он. — Тут, очевидно, произошло небольшое недоразумение».

«Недоразумение, — проворчал приезжий, — ничего себе недоразумение!»

«Мы проверим, виновные будут наказаны по всей строгости закона. Ошибки бывают, кто же спорит. На ошибках учимся».

Тем временем господин, возглавляющий делегацию, вполголоса переговаривался с коллегами. Из служебного портфеля была извлечена папка с тисненой эмблемой и грифом. Уполномоченный комитета почтительно протянул раскрытую папку писателю.

«Это предварительно. Диплом будет вам вручен во время церемонии...»

Лейтенант, вытянув шею, заглянул через плечо приежжего.

«Красиво, — проговорил он, — умеют, черти... Н-да. Мы присоединим этот документ к делу».

«Но я же вам сказал!» — захныкал писатель.

«Ничего не могу поделаться. Инструкция есть инструкция, и закон есть закон».

«Какой закон... Разве это закон?»

«Для кого как, — отвечал ночной лейтенант и сделал знак помощнику, который стоял по стойке смирно у порога. — Товарищи, — обратился лейтенант к делегатам, — господа... Попрошу освободить помещение».

XXXI.

Шлепая по дощатому полу босыми ногами, приежжий подбежал к окошку. За окном было густо-синее небо. Тень от избы тянулась через дорогу к пустырю. Тень накрыла коляску, лошадь и сидящую на козлах фигуру секунданта. Приежжий плюхнулся на сиденье. Он спросил: куда едем? «Куда велено», — был ответ. Возница посвистывал, подрагивал вожжами, экипаж летел вперед, и рессоры мягко подбрасывали сонного седока. Солнце начало припекать. Подъехали к мосту, лошадь поволокла коляску по шатким бревнышкам, вот и река осталась позади, дорога шла в гору. «Аркаша, как бы не опоздать», — сказал озабоченно путешественник. Аркаша не удостоил его ответом, привстал, испустил разбойничий возглас и хлестнул Артюра; повозка вылетела на равнину, позади столбом стояла пыль. Несколько времени спустя под колесами захрустели сухие ветки,

седок открыл глаза. Лошадь брела шагом по лесной дороге. Открылась поляна. Некто в цилиндре, погруженный в задумчивость, сидел на поваленном дереве.

Петр Францевич встал, и противники обменялись приветствиями; писатель объяснил, старательно подбирая слова, что хотя правило, по которому опоздание может рассматриваться как знак неуважения, ему хорошо известно, это произошло против его воли, так что он просит его извинить. Барон отвечал снисходительно-небрежным кивком, был брошен жребий, приежжий получил необходимые инструкции, в частности, его просили обратить внимание на шнеллер: так как это приспособление действует моментально при ничтожном движении пальца, предпочтительней целиться, не держа палец на спусковом крючке. В заключение, щелкнув курком, Петр Францевич оставил его на предохранительном взводе и показал, как переводить курок на боевой взвод. Приежжий занял указанное ему место. На другом краю поляны стоял, держа пистолет стволом вверх, в траурном сюртуке и цилиндре, доктор искусствования Петр Францевич.

«Начнем, пожалуй», — промолвил Петр Францевич, вытянул руку с пистолетом перед собой и бодро двинулся навстречу врагу. Путешественник последовал его примеру. Они подошли каждый со своей стороны, к барьеру. Путешественник поглядел на свое оружие, потом взглянул на небо, точно искал там цель, и поднял пистолет дулом вверх.

«Позвольте напомнить! — вскричал Петр Францевич. — Выстреливший в воздух рассматривается как уклонившийся от боя. Если вы посмеете заведомо стрелять мимо, я тоже буду вынужден выстрелить мимо, а я не позволю кому бы то ни было решать за меня, как мне следует себя вести. Извольте встать как полагается и прицелиться... Да цельтесь же вы, черт бы вас побрал!»

Писатель разглядывал свой пистолет с таким видом, словно старался понять принцип действия механизма и забыл все наставления. Искусствовед снял цилиндр и утирал пот.

«Пошел вон, — сказал он в сердцах подвернувшемуся Аркадию. — Садись в коляску... можешь не смотреть. И так, дуэль начинается снова — или вы навсегда заслуживаете репутацию труса».

«Если не ошибаюсь, вы послали меня к черту, — заметил приезжий, — так что мы квиты...»

«Что?! — возопил Петр Францевич. — Милостивый государь!»

Аркаша стегнул коня и скрылся в чаще.

Дуэлянты побрели каждый к своему месту, путешественник приосанился, подражая Петру Францевичу, стал боком, левую руку упер в бедро, в правой выставил пистолет и, не меняя позы, плечом вперед, с некоторым неудобством переставляя ноги и глядя искоса на противника, двинулся ему навстречу; тот медлил, несколько мгновений стоял, опустив пистолет, затем поднял руку с пистолетом и тоже пошел вперед. Путешественник старательно целился и думал только о том, чтобы не коснуться прежде времени спускового крючка. Пистолет был довольно тяжелый, и рука начала затекать, он подпер ее левой рукой, невольно повернувшись грудью к противнику; в этой не вполне эстетичной позе, держа в правой руке оружие, а другой рукой поддерживая ее ниже локтя, он продолжал движение неверным шагом, путаясь в густой траве, и ему казалось, что искусствовед находится все еще далеко. Между тем Петр Францевич уже стоял перед барьером, — очевидно, ждал, когда путешественник приблизится к своему барьеру. Прекрасно, подумал приезжий, и ускорил шаг; он рассчитывал в следующее мгновение сделать выстрел, но споткнулся; и в эту самую минуту, решив, как видно, воспользоваться тем, что противник подставил грудь, и не дожидаясь, когда писатель дойдет до пиджака на траве, обозначавшего барьер, — а может быть, сдали нервы, — в эту минуту Петр Францевич выстрелил.

Петр Францевич посмотрел на пиджак и с горечью подумал, что вынужден был снизойти до недостойного противника; эти люди никогда не поймут смысл и значение дуэли, не поймут, что в поединке нельзя пренебречь

ни одной, даже самой малой подробностью этикета, ибо в вопросах чести не может быть незначительных мелочей. Мещанский пиджак на траве принадлежал пошлому миру; надо было послать этому субъекту что-нибудь поприличней или хотя бы оговорить в условиях, что дуэлянт является к месту встречи одетым как подобает; что-нибудь вроде «форма одежды летняя, парадная», как пишут в военных приказах; а впрочем, ведь это само собой разумеется. Петр Францевич смотрел сквозь тающий дым на пиджак и распростертого на нем путешественника, который не подавал признаков жизни, хотя и успел, падая, сделать свой выстрел.

Два выстрела прогремели почти одновременно. Писатель, сбитый с ног коротким, сильным ударом, успел подумать о том, что следовало бы побережь пулю: ничего страшного, сейчас он встанет, — и уж тогда поглядим, кто кого; посмотрим, как этот хлыщ будет вести себя под прицелом. Он даже представил себе, как он посмеется над бароном, будет долго целиться, а потом отшвырнет пистолет и зашагает прочь. Вместо этого, сам того не заметив, он успел нажать на крючок, и шнеллер мгновенно сработал; пуля пролетела мимо, искусствовед некоторое время стоял на месте, как того требовали правила, и дожидаясь, когда рассеется дым. Путешественник воображал, как он отшвырнет пистолет и пойдет, насвистывая, прочь, а на самом деле пистолет, еще дымящийся, бросил в траву Петр Францевич. И вместе с подоспевшим Аркадием они склонились над неподвижным, лежавшим с открытыми глазами писателем.

«Ладно, — промолвил Аркаша, — поиграли, и будя...»

«Что? — рассеянно спросил Петр Францевич, несколько приходя в себя, нахлобучил цилиндр и приосанился. — Начнем с начала, — сказал он. — Достань-ка там, в саквояже... Или лучше я сам».

Приезжий, поддерживаемый Аркашей, поднялся с земли с каким-то почти разочарованием и недоуменно воззрелся на своего врага; оказалось, — чего он, само собой, не заметил, — что пистолеты в руках у дуэлянтов были с просверленными стволами, для учебных целей;

оказалось также, что в небольшом, но вместительном саквояже, с которым прибыл на поле боя доктор искусствоведения Петр Францевич, был припасен ящик с другой парюю пистолетов. Теперь они явились на свет, длинные, поблескивающие гранеными стволами, как будто только что вышедшие из мастерской Лепаж, с затейливыми собачками, с гравированным рисунком на металлических щеках. Петр Францевич взял в каждую руку по пистолету, спрятал руки за спиной.

«Правильно: поиграли — довольно, — пробормотал он. — Пьет, как свинья, а все-таки ум сохранил... Репетиция окончена! Благоволите назвать руку: правая или левая?»

XXXII.

«Не позволю! — закричал вдруг, подбегая, Аркадий. — Будя!»

«Что это значит?» — холодно спросил Петр Францевич.

«А то и значит. Ваше сиятельство, это не дело».

«Да ты что, спятил... как ты посмел? А ну, убирайся вон, чтоб я твоей физиономии больше не видел!»

«Физиономии... — ворчал Аркаша, — ишь начальник нашелся. Холопьев, ваше сиятельство, больше нет, вот так!» Он выхватил пистолет у растерявшегося писателя, обернулся к Петру Францевичу, тот держал свою пушку за спиной. Аркадий сунулся было к нему, — барон отступил на два шага и наставил на Аркадия дуло.

«Пристрелю, как собаку!» — заревел Петр Францевич. Приезжий счел своим долгом вмешаться.

«Может быть, я вел себя не по правилам, вдобавок, как вы знаете, я недворянин, — сказал он. — Но, клянусь, я не питаю к вам никаких враждебных чувств. Мне кажется, обе стороны показали свою готовность драться... Что касается известной особы, мне кажется, это недоразумение. Если вы думаете, что я вознамерился перебежать вам дорогу, уверяю вас...»

«Ничего я не думаю, — возразил мрачно Петр Францевич, — я только вижу, что это бунт. Это — бунт!» — строго сказал он, глядя на Аркашу.

«Да ладно уж там, какой такой бунт... Где уж нам... Мы темные. Мы мужики, вы господа. А только отвечать за вас я не желаю. Не желаю отвечать, ясно?»

«Отвечать? Ах ты, скотина. А ну, вон отсюда».

«Чего лаетесь-то? — сказал Аркадий. — Начнется следствие, кто да что. И света белого не увидишь. Вы-то всегда вывернетесь, у вас там, небось, все дружки да знакомые. А мне за вас отдуваться. Кто отвечать будет? Я. Кого за жопу возьмут? Аркашку... В общем, вы это, того: игрушку вашу спрячьте. А то еще кто увидит, народ-то сами знаете какой. В момент настучат. Похорохорились, покрасовались, и будя. А если чего не поладили, то и на кулачках можно решить».

«Ты так думаешь? — сказал Петр Францевич. — Может, в самом деле, а?»

Его противник пожал плечами.

«Дай-ка сюда». Барон отобрал у Аркадия пистолет, доставшийся писателю по жребию, взвесил оба пистолета на ладонях. Потом повернулся и прицелился в отдаленное дерево. Грохнули два выстрела, присутствующих объяло облако дыма.

«Хорошая марка, — пробормотал он, разглядывая пистолеты, — это вам не...» Вздыхнул, вложил дуло себе в рот.

«Ради Бога, осторожней!» — воскликнул писатель, забыв, что пистолеты разряжены. Искусствовед покосился на него, усмехнувшись, вынул пистолет изо рта, приставил к виску, к сердцу. Затем — знак Аркашке; тот подскочил с саквояжем. «Ладно, — сказал Петр Францевич, — поехали чай пить. Я, между прочим, еще не завтракал».

XXXIII.

«Слава те-Хосподи, живой!» — вскричала Мавра Глебовна.

Она сбежала со ступенек и обняла меня.

«Я уже все на свете передумала... Ишь затеяли! Спасибо тебе, милосердная, — приговаривала она, торопливо крестясь, — заступница, спасибо...»

Сели за стол, где по-прежнему сиротливо лежали мои бумаги. Моя несостоявшаяся биография, моя новая жизнь...

«И чего не поделили? А все вертихвостка эта — и тебе, и ему».

«Роня?»

«А кто ж еще-то».

Я заверил Машу, что ничего у нас с ней не было, ей всего-то семнадцать лет, или сколько там. Полуробенок.

«Не скажи. Знаю я их всех; молодая, да шустрая... И чего ты в ней нашел? Девка, что доска, ни сзади, ни спереди».

Я попытался ее разубедить, она резонно возразила:

«Кабы ничего не было, так он бы в тебя не пулял».

До этого, сказал я, тоже не дошло.

«Не дошло, и слава Богу; Аркашке скажи спасибо».

«Да откуда ты все это знаешь?»

«Знаю. И про вашу свиданку знаю, что она к тебе прибежала, бесстыдница, — все знаю».

Источник информации, разумеется, был все тот же — или следовало предположить, что известия распространились по каким-нибудь трансфизическим каналам. Таинственный вездесущий персонаж по имени Листратиха, о которой я постоянно слышал и которую никогда не видел, — кто она была? Я подозревал, что никакой Листратихи вообще не существует: это был дух, блуждавший вокруг, анонимная институция, мифический глаз — или глас — народа.

«Дело холостяцкое, я тебя не виню. Только ты к ним не лезь, это я тебе не из ревности говорю, — не ходи туда, ну их к лешему. У них там свои дела, пушай сами разбираются. У них своя жизнь. А у нас своя», — сказала она и положила мне руки на плечи.

Я коснулся ладонями ее бедер. Зачем же, спросил я, смеясь, она сама туда ходит.

«Я-то? А это не твоя забота. Да шут с ними со всеми!»

Все же мне хотелось знать: что она там делает?

«Ну чего привязался-то. Услужую. Молоко ношу».

«И все?»

«И все, а чего ж мне там делать. — Она помолчала. — Ну, к барину хожу, к Георгию Романычу. Ему, чай, тоже нужно: мужчина в соку, а она непригодная, рыхлая — сам видел. Ихнее дело господское, ых!.. — она вдруг сладко зевнула, — как захотится, так меня зовет».

Вот и пойми женщин, подумал я; а еще говорила, что отвыкла.

«Да ты не обижайся. Это ведь не любовь. — Она добавила: — Кабы не они...»

«Что — кабы не они?»

«А вот то самое; все тебе надо знать. Не было бы тут ничего, вот что; все бурьяном бы заросло. Их в городе уважают. Секретарь райкома, говорят, приезжал».

«Зачем?»

«Справлялся, не надо ли чего. Он ведь у старой барыни скотину пас».

«Как же это могло быть, Маша, ведь революция-то когда была?»

«Ну, не он, так отец; али дедушка, я почем знаю. Люди говорят, а я что?... Да и леший с ними со всеми... Милый. Соскучила я по тебе».

Как вдруг снаружи постучали.

Я поднял голову, мы оба посмотрели на дверь.

«Да ну их всех...»

Стук на крыльце повторился.

Я выглянул между занавесками и отпрянул, словно там стояло привидение.

Мавра Глебовна сидела на постели. В ответ на ее немой вопрос я растопырил руки и вытаращил глаза.

Наконец, я выговорил:

«Это она».

«Кто?»

Я молчал.

«Не пускай, — сказала сурово Глебовна. — Ишь вертихвостка! Постой, я сама пойду. Сиди. Это наше бабье дело».

Она вышла и столкнулась с Роней в полутемных сенях; но в том-то и дело, что это была не Роня.

Это была не Роня, и не мифическая Листратиха, и обе женщины вступили в избу.

Я пролепетал:

«Откуда ты... как ты здесь очутилась?»

Сидя на табуретке, гостя расстегивала пуговицы плаща, сдернула с головы шелковую косынку, поправила прическу.

«А это Мавра Глебовна, — сказал я, — моя соседка. Знакомьтесь»,

«Очень рады», — промолвила Мавра Глебовна, поджав губы.

«Что-то там испортилось в моторе, и, представь себе, перед самой деревней. Дошла пешком».

«А Миша?» (Мой двоюродный брат.)

«Там остался».

«Может, я схожу, трактор достану...»

«Не волнуйся. Там уже кого-то нашли. Ну, я тебе скажу: ты в такую дыру забрался! — Она обвела глазами избу, покосилась в сторону Мавры Глебовны, взглянула на стол с бумагами. — Работает?»

Мою жену — я привык считать ее бывшей женой... мою жену зовут Ксения, по отчеству Абрамовна. Это отчество ни о чем не говорит. До сих пор можно встретить стариков, бывших крестьян, с именами Моисей или Абрам. Моя жена — обладательница безупречной анкеты и занимает высокую должность заместителя директора по ученой части с труднопроизносимой аббревиатурой вместо названия — которое я никогда не мог запомнить. Моя жена держится прямо, ходит крупным шагом, постукивая высокими каблуками, носит сужающиеся юбки, светлые батистовые кофточки с бантом, курит дорогие папиросы и великолепно смотрится в начальственных коридорах. Мы с ней ровесники, но уже несколько лет, как она перестала стареть, возраст ее остается неизменным, ей 39 лет.

Моя жена была женщиной именно того физического типа, который мне когда-то нравился; подобно многим,

я связывал с телосложением определенное представление о характере, душе и умственных способностях и, сам того не сознавая, тянулся к женщинам, которые могли бы заслонить меня от жизни. Что-то мешало моей бывшей жене, даже в те времена, когда мы познакомились, быть красивой, вернее, хорошенькой, это слово к ней не подходило, из чего, однако, не следует, что она была непривлекательна. Нужно отдать ей должное, сложена она превосходно: просторные бедра, все еще не опавшая грудь, плечи королевы.

Мавра Глебовна поспешно подала ей старую выщербленную плошку (моя жена искала, куда стряхнуть пепел). Несколько времени спустя, выглянув в окошко, я увидел перед домом машину, поднятый капот, Аркадия, который инспектировал мотор. Мой двоюродный брат разговаривал с Маврой Глебовной, державшей за руку четырехлетнего малыша, невдалеке остановилась старуха, согбенная, как Баба-Яга, опираясь на помело, что-то клубилось вдаль, словно к нам ехало войско, темноло, и опять, как все последние дни, стал накрапывать дождь.

XXXIV.

Нужно было устраиваться на ночь, завтра, сказала моя жена, надо встать пораньше; я предложил, чтобы мы с братом устроились на полу, Ксению положим на кровать; мой брат, поколебавшись, объявил, что переночует в доме Мавры Глебовны, моя жена пожалала плечами, дескать, как вам угодно; будем надеяться, что погода не подведет, добавила она небрежно, — только бы не проспать. Ходики на стене бодро отстукивали время. Разговор продолжался недолго и понадобился для того, чтобы не говорить о главном, то есть о возвращении: теперь это уже как бы не требовало объяснений.

Как это, ехать «домой»? Волна протеста поднялась в моей душе, как застарелая изжога со дна желудка. Я проглотил ее — молча и мужественно. А что оставалось делать?

Подразумевалось, что прошлое похерено, что мы ни в чем не упрекаем друг друга, просто начинаем жить заново. Вернее, мы продолжаем нашу жизнь; да и о каком прошлом, собственно говоря, — если не считать некоторых недоразумений, — идет речь? Завтра мы уезжаем в город, она приехала, чтобы протянуть мне руку мира, если можно было говорить о войне между нами, и я, естественно, отвечаю ей тем же. Но никакой войны, собственно, и не было. Бегства не было. Я отдохнул на свежем воздухе, я провел творческий отпуск на даче, пора домой. Все это, ужасавшее меня именно тем, что вдруг предстало как нечто не требующее объяснений, нечто решенное и даже само собой разумеющееся, устраняло необходимость обсуждать и некоторые вытекающие отсюда следствия, некоторые житейские подробности, например, то, что нам предстояло, как и положено супругам, провести ночь вдвоем под одной крышей.

Именно об этом, о том, что мы остаемся наедине после того, как брат уйдет ночевать в дом к соседке, об этом, как о само собой разумеющемся, ни слова не было произнесено, и было ясно, что наутро тем более уже не о чем будет говорить: какая необходимость ворошить старое, коли мы провели ночь вместе, как и положено супругам. Как уже сказано, меня ужасал этот *fait accompli*, то, что все выглядело как *fait accompli*; но сознаться ли? Я почувствовал и определенное облегчение. Больше, чем «факт», меня приводила в ужас необходимость выяснять отношения; и вдруг оказалось, что не надо ничего говорить, объяснять, доказывать, не надо оправдываться; а главное, ничего не надо было решать.

Мы поужинали, на столе горела керосиновая лампа. Моя жена вышла и вернулась; когда я, в свою очередь, вошел в избу, она стелила себе на кровати. Для меня была приготовлена постель на полу.

«Здесь довольно тесно, — проговорила она. — Это что, простыня?»

Она сказала, что устала после мучительной дороги и

уснет как мертвая. Было произнесено еще несколько фраз об ее работе, об институте. О нашем ребенке — ни слова, это был болезненный пункт, которого она разумно не касалась; я предполагал, что девочка в пионерском лагере.

«Все кости болят, — пробормотала она, — после этих ухабов».

Это означало: раз уж все решено, обойдемся без телесного примирения. Это также означало: не в плотском влечении дело. Кроме того, это был намек на то, что я не должен думать, будто мне все так просто сошло с рук, прощено и забыто. И в то же время это был некоторым образом шаг навстречу: отказывая мне в близости (на которую я, как предполагалось, рассчитывал независимо от всего, в силу мужского самолюбия и мужского сластолюбия, моей неизменной мужской природы), отказывая мне, она давала понять, что я ей небезразличен: меня наказывали, но наказывали и себя. В темноте мы покоились каждый на своем ложе, и я принялся обдумывать, как бы мне завтра увильнуть. Да, я употребил мысленно это пошлое выражение; я чувствовал, что у меня не хватит решимости объявить прямую и без лишнего слов, что я не намерен возвращаться. Я думал о том, что у моей жены начальственный вид, крупная решительная походка, просторные бедра.

Можно было бы развить эту тему, рассмотрев ее с разных точек зрения. Я представил себе научный институт, занятый составлением всеобъемлющей Энциклопедии Женского Тела. Широкие бедра означают многое. Но прежде всего — власть.

Я тоже был утомлен до крайности, предыдущую ночь почти не сомкнул глаз, не говоря уже о дуэли, на которой я был убит, потом воскрес и чуть было не подставил грудь для вторичного выстрела. Мне казалось, что моя жена спит, но в темноте раздался ее голос. Она назвала меня по имени. Я спросил: в чем дело?

«О чем ты думаешь?»

Я отвечал, что думаю о своей работе.

«Ты пишешь что-то крупное?»

«Пытаюсь».

«Давно пора. Я считаю тебя — при всех оговорках — очень способным человеком».

«Я тоже считаю».

«Ты не имеешь права пренебрегать своим талантом».

«Не имею».

Ситуация менялась: теперь я оказывался обиженным, о чем свидетельствовали мои короткие ответы, она же, напротив, выглядела виноватой. Наступило молчание.

«Ты неплохо выглядишь, посвежел. Между прочим, тебе несколько раз звонили».

«Кто звонил?»

«Из издательства. Интересовались, где ты. — Пауза. — Ну что, будем спать?»

«Будем спать», — сказал я и внезапно решил, что завтра же или даже сейчас, не откладывая, объявлю моей жене, что никуда не поеду; если она хочет остаться здесь дня на два, пожалуйста. Но на меня пусть не рассчитывает. Необъяснимым чутьем она угадала мое намерение и сказала:

«Ладно».

«Что ладно?»

«Ладно, говорю, пора спать; иди ко мне».

И так как я ничего не ответил, ибо находился в некотором ошеломлении, она добавила:

«Ну в чем дело. На полу неудобно; только измучаешься».

Я молчал.

«Мне просто жалко, что ты проваляешься всю ночь без сна, да и пол холодный. Не ломайся. Ложись рядом со мной, будем просто спать. Я устала».

Выходила какая-то нелепая история, я лежал на самом краю, рискуя упасть с кровати, но невольно касался моей жены лопатками, пятками ног. Она пробормотала:

«Я же говорила... холодные, как лед».

Несколько мгновений спустя мы приняли позы, более естественные в нашем положении, а что же еще оставалось делать?

XXXV.

Черные воды сомкнулись над нами, сон обхватил меня мягкими щупальцами, схоронил мое бездыханное тело на илистом дне; но это беспамятство продолжалось недолго, смутное, сумеречное сознание вернулось ко мне, как будто лунный луч заглянул в окно; я спал и не спал и во сне думал о сне. Несколько времени погода я очнулся, я лежал в темной избе, которую уже привык считать своим домом, но оказалось, что и она была сном; несколько времени, сказал я, но должен себя поправить: сновидение, каким бы запутанным оно ни казалось, длится считанные мгновения; но и это выражение надо понимать условно, ведь время с его минутами и секундами существует только в дневном мире, где датчики регистрируют электрическую активность мозга, между тем как по ту сторону дня, в пространстве сна, времени нет или оно по крайней мере иной природы.

Итак, я все еще находился там, вернее, наполовину там, как бредут через топкую заводь по колено в воде, — я все еще пребывал отчасти в стихии сна. Можно было бы сказать, что я оказался в двух временах, если время сна вообще можно считать временем. Можно было сказать, что я по-прежнему владел грамматикой сна — или она владела мною, — странные сочетания слов, невысказанные глагольные формы, небывалые части речи, для которых не существует названий, удивляли меня самого, несмотря на то что принадлежали мне и родились вместе со мной; ведь язык — ровесник души. Я вернулся к началу моей жизни, в первые, ранние дни; на моих глазах, если можно так выразиться, происходило то, что когда-то произошло со всеми нами: рождение души из ночного первобытного хаоса; моя душа просыпалась и лепетала на языке, который уже в следующие мгновения станет невнятным ей самой. В следующие мгновения он покажется абракадаброй. Я застал этот миг двуязычия. Я все еще брел по топкому дну, я владел праязыком ночи, но думал о нем на языке дня; что же

удивительного в том, что я прикоснулся к загадке литературы.

Я догадался что если мы видим сны, то сон в свою очередь и на свой лад видит нас, и литература способна — только она и способна — вернуть равноправие младенческому праязыку грез. Только она может продемонстрировать, что сон и явь — два равносильных способа нашего существования в двоякой действительности. Что здесь иллюзия, что правда? Глядя оттуда, наше бодрствование представляется загадочным сном, совершенно так же, как проснувшегося человеку кажется абсурдом то, что происходило во сне. Что правда, а что обман? Я понял, что для литературы такого вопроса не существует.

Утро настало, каких, быть может, еще не бывало от сотворения мира, тихое, нежное, переливчато-перламутровое; неяркое солнце неподвижно стояло в желтоватой дымке, как стареющая невеста в фате. Шелестя травой, гуськом мы прошли влажное огородное поле, пробрались сквозь кустарник и спустились к реке. На графитовой воде плясали искры, ближе к другому берегу вода казалась серо-молочной, серебристо-голубой; отплыв на середину реки, я обернулся, моя бывшая жена, в купальнике, широкобедрая, белокурая, с полуоткрытой грудью, все еще не решалась ступить в воду; брат стоял на том берегу, усердно приседал и размахивал руками.

Завтрак на воле, в огороде за домом. Мои бумаги, как некий почетный мусор, были сложены на печном приступке, стол вынесен в огород. Они привезли продукты из города. Мой брат позвал соседа.

Как-то само собою решилось, что мы не будем сейчас обсуждать мой отъезд. Пожалуй, заметила Ксения, поглядывая на небо, обещавшее замечательную погоду, пожалуй, сегодня не поедем. Эта глагольная форма — поедем, побудем — была удобна тем, что могла относиться только к ним, к жене с братом, а могла иметь в виду всех троих; она подразумевала, что, конечно, мы поедем все вместе, и в то же время оставляла для меня

лазейку. Мы как будто условились, что не будем говорить о том, о чем надо было поговорить. Так ли уж надо? И о чем? Зачем портить себе настроение в этот мирный, туманно-солнечный и постепенно становившийся приглушенно-жгучим день дряхлеющего лета.

Аркаша явился, как всегда, в телогрейке, в ушанке, которую он снял, прежде чем сесть; жена раскладывала еду, разливала чай из медного чайника, она сидела с закрытыми глазами, подняв лицо к солнцу, а брат мой разговаривал с Аркашей.

Я посматривал на мою жену, как мне представлялось, равнодушно-оценивающим взглядом человека, который провел ненароком ночь с незнакомой женщиной и спрашивает себя, красива ли она и сколько ей может быть лет.

Ксения спросила, чувствуя на себе мой взгляд, не поднимая век:

«А как же зимой?»

«Чего зимой?» — спросил Аркадий.

Она спросила, как они тут живут зимой.

«Так и живем, чего ж. Дров эвон, сколько хочешь».

Он посмотрел на небо, на купы деревьев и промолвил: «Хорошо тут. Воля».

«Куда же народ подевался?»

«Какой народ?»

«Односельчане. Колхозники».

«Куда... Которые померли, а кто и деру дал».

«А ты, значит, решил остаться».

«Я-то? А куды мне бежать. Мне и здесь хорошо».

«Сколько тебе лет, Аркаша?»

Аркаша почесал в затылке и отвечал: может, сорок, а может, пятьдесят.

«Какого ты года, — переспросила моя жена, с закрытыми глазами подставив лицо солнцу, — по паспорту?»

«Чего? — сказал Аркадий и поглядел в сторону. — Нет у меня никакого паспорта, на кой он мне...»

Мой брат заметил, что теперь и у колхозников есть паспорта.

«Мало ли что есть», — был ответ.

«А если милиция спросит, что тогда?»

«Нет у нас милиции».

«А если приедет?»

«Пушай приезжает».

На дороге перед нашим огородом стояла, опираясь на палку, темная старушечья фигура. Солнце освещало ее так, что нельзя было разобрать лица. Невозможно было сказать, смотрит ли она на дорогу или на нас. Что ей надо, спросила моя жена, приставив ладонь к глазам; мы тоже обернулись. Аркадий степенно пил чай.

«Листратиха, — сказал он презрительно. — Таскается тут».

Он добавил:

«И не зовите, все одно не услышит. Глухая».

Мой двоюродный брат поднялся из-за стола. Солнце высоко стояло в бездонном, звенящем небе. С другого конца деревни доносились голоса, стихающий рокот механизма. Там возвышался, перегородив дорогу, заляпанный грязью подъемный кран на платформе с восемью колесами, снова прибывший неизвестно для чего, неизвестно откуда. Мой брат вышел, держа в обеих руках канистры, надеясь разжиться бензином у водителя; мы с Аркашей стояли у плетня.

«Живите, куда торопиться-то».

«Пора».

«Куда спешить-то».

Я вздохнул. «Дела, Аркаша».

«Подождут дела. Что, скучно тебе тут, что ль? Али бабы одолели?»

Я развел руками.

«Женщины, они, конечно, того, — заметил глубоко-мысленно Аркадий и сдвинул шапку на глаза. — Женщины, они...»

Я согласился, что женщины — дело такое.

«А ты плюнь, — посоветовал Аркадий, — ну их всех в ж...!»

Зычный голос донесся с другого конца деревни:

«Аркашка!»

«Зовут, слышь, — сказал он. — А вы уезжать собра-

лись. Чего заспешил-то?» Этот вопрос относился к брату.

«Да я не знаю, — проговорил мой брат с сомнением, — ты как?»

Я пожал плечами, мы оба взглянули на мою жену, которая по-прежнему сидела у стола, подняв к солнцу незрячее лицо, на носу у нее был наклеен лист подорожника.

«Отгуляем, и поедете».

«Аркашка! Мать твою!»

«А то совсем оставайтесь», — сказал Аркадий.

«Погода, — сказал мой брат, — лучше не надо».

«У нас всегда погода в самый раз».

«Урожай, наверно, будет хороший», — заметил мой брат.

«Ладно, разорались, — сказал Аркаша, махнув рукой. — А чего. Оставайтесь. Никуда Москва не денется.. Отгуляем, а там уж...»

Он направился вразвалку к подъемному крану, служившему, как выяснилось, для разных нужд. Егор снимал с платформы ящики с напитками и харчами. Василий Степанович, в сапогах и расшитой по вороту белой рубахе навыпуск, препоясанный ремешком, руководил разгрузкой.

XXXVI.

Как некогда языческие капища становились подножием христианских базилик, как древняя вера отцов не умирает, а переселяется, словно душа в новое тело, в новый государственный культ, так престольные праздники тайно продолжают существовать под видом революционных годовщин, международного Женского дня, Дня космонавтов или работников железнодорожного транспорта. Не то чтобы верность обычаю предков была так уж сильна, но и похерить их невозможно: они лежат в этой земле; другое дело, что если бы, скажем, они воскресли, то чего доброго, оказалось бы, что и они все

позабыли. Но что значит забвение? Позабыли, да не совсем; сказать, что хранят благоговейную память, тоже нельзя. Вот почему нет ничего несуразного в предположении, что, восстав из гроба, предки наши преспокойно уселись бы рядом с немногочисленными потомками пировать во славу железнодорожного транспорта. Ибо в конце концов всякий Париж стоит обедни и всякий праздник важнее, чем повод для него, — разве вам не случалось пировать на именинах, не зная в точности, кто такой именинник, не приходилось бывать на поминках, когда уже через полчаса все забыли, кого поминают? Праздник — это и есть доказательство забвения, доказательство того, что жизнь одолела смерть и настоящее торжествует над прошлым; если бы мы спросили, по какому случаю, собственно, здесь «гуляют», вопрос потонул бы в звоне стаканов и остался бы без ответа.

Погода была превосходной. Погода была, по справедливому замечанию Аркаши, в самый раз. С утра раздавались крики, уханье, бабы взвизги. Доносились обрывки песен и скрежет гармошки. Группы более или менее празднично одетых поселян двигались по улице; несли флаги и обрамленные полотенцами иконы; с изумлением каждый спрашивал себя, откуда вдруг набралось столько народу. За околицей, куда укатил подъемный кран, по другую сторону деревни, на широком лугу были расставлены столы или то, что их заменяло, хлопотали женщины, носились дети. Стоял грузовик с откинутыми бортами, блестели жидким латунным блеском раструбы геликонов, и над сидящими в кузове музыкантами покачивался и вздувался под легким ветром на шатких жердях кумачовый лозунг.

Грохнула музыка, бум, бум, бум — бухал барабан, народ бросился на лужайку, стали поспешно рассаживаться. Музыка заглушала голоса. Сидящие на скамьях теснились, пропуская опоздавших. «Подвинься чуток... Да куда ж, вот я сейчас свалюсь... В тесноте да не в обиде!» Сдержанный гул прорывался в промежутках между гроыханьем оркестра, бабы озирались по сторонам, озабоченно подтягивали уголки платков. Вдруг

все стихло. Василий Степанович, с бокалом в руке, стоя за столом почетных гостей, — рядом старик-представитель с тусклым взором, с орденом на музейной гимнастерке, в сивых усах, рядом, выглядывая из-за мужниной могучей фигуры, круглолицая, в белоснежном платочке Мавра Глебовна, рядом Ксения Абрамовна в светлой шелковой кофточке с бантом и само собой, супруг-путешественник, — Василий Степанович поднял руку, призывая к вниманию. В грузовике, однако, неправильно истолковали его жест, грянул туш. Публика гневно обернулась к музыкантам. Кое-кто, не выдержав, уже выпивал и закусывал. Музыка стыдливо замолкла.

«Товарищи!» — сказал Василий Степанович и гордо, мужественно обозрел односельчан.

«Товарищи колхозники и колхозницы, механизаторы, доярки, труженики полей... Дорогие земляки! Разрешите мне, как говорится, — Василий Степанович крикнул, — от имени и по поручению! Мы собрались здесь в этот торжественный день, чтобы все как один... В ответ на неустанную заботу партии и правительства ответим новыми успехами, небывалым урожаем!»

Раздались жидкие аплодисменты. Оратор продолжал:

«Наше слово крепкое. Наш колхозный, трудовой закон — перво-наперво делом рассчитаться с государством. А то ведь у нас как получается? Как работать, так голова болит. А как пить да жрать, так мы все как один, небось никто не болен! (Одобрительный смех.) Верно я говорю, мужики?»

Снова раздался смех. Возгласы: «Молодец, Степаныч, режь, ети ее, правду-матку!»

Кто-то попробовал возразить: «Да ладно тебе... слышали мы...»

«А чего, правду говорит мужик».

«Какой он тебе мужик. Языком чесать. Это они умеют».

«Давай, Степаныч! Режь, ети ее...»

«Ура!» — воскликнул Аркаша.

Василий Степанович постукал вилкой о рюмку, оглядел собрание.

«Разрешите считать ваши аплодисменты за единодушное одобрение...»

«Ура, ура!» Все засвистели и затопали.

«Слово предоставляется нашему дорогому гостю! Представителю райкома, персональному пенсионеру».

«Дорогие товарищи, граждане нашей великой...» — начал бодрым фальцетом старик, украшенный орденом, но потерял нить мыслей и некоторое время беспомощно озирает столы, за которыми уже, не дожидаясь, всюю пили и ели, смеялись, подливали друг другу, целовались и тискали женщин.

«Поприветствуем товарища пенсионера, героя гражданской войны!» — вскричал председатель.

«Помню, в двадцатом году», — лепетал старик в гимнастерке.

Кто-то спросил:

«В котором?»

«В двадцатом, — сказал старик. — Мы не так жили. Мы воевали. Жрать было нечего. Не то что теперь».

«Ладно заливать-то...»

Другой голос сказал удивленно:

«Етить твою — никак Петрович!»

«А ты его знаешь?»

«Как не знать. Я думал, он давно помер».

За столами пели:

«Ехали казаки от дому до дому, подманули Галю, увезли с собой».

Бабий хор дружно грянул: «Ой ты, Галя, Галя молодая!»

«Разрешите мне! — надрывался, стуча вилкой, Василий Степанович. — Предоставить слово!..»

«Мы кровь проливали. А теперь? — продолжал старик. — Кабы знали, мы бы... Эх, да чего там... — Он взмахнул сухой ладошкой и возгласил: — За здравие царя, уря-а!»

Свист, хлопки и крики восторга.

«Слово предоставляется, — сипел Василий Степанович. — Товарищу писателю!»

Шум стих, потом чей-то голос спросил, словно спросонья:

«Чего? Кому?..»

Путешественник нехотя поднялся, и все головы повернулись к нему. Некоторое время он молчал, как бы собиравшись с мыслями. Затем взглянул на Василия Степановича, на жену, на Мавру Глебовну, и обвел грустным взором пирующих.

«Дорогие друзья...» — проговорил он.

«Писатель, — сказал кто-то. — А чего он пишет-то?»

«Хер его знает».

«Известно, бумажки пишет».

«Чего резину тянешь? Давай, рожай!»

«Товарищи, попрошу соблюдать тишину, — вмешался председатель. — Кто не желает слушать, тех не задерживаем».

«Дорогие друзья, — сказал приезжий. Голос его окреп. — Работники сельского хозяйства! Новыми успехами ознаменуем! Все как один...»

Раздались слабые хлопки, приезжий провел рукой по лбу и продолжал:

«Я, собственно, что хочу сказать... Вот черт. Понимаете, хотел сказать и забыл. Забыл, что хотел сказать!»

«Ну и хер с тобой!» — крикнул кто-то радостно.

Председательствующий постучал вилкой о стакан.

«Да, так вот... Для меня большая честь присутствовать на вашем празднике. Вот тут товарищ очень правильно сказал, что мы пишем бумажки. Так сказать, отображаем... Но, товарищи! Парадокс литературы заключается в том, что чем больше мы стараемся приблизиться к жизни, тем глубже вязнем в тенетах письма. В этом состоит коварство повествовательного процесса».

«У меня вопрос», — сказал с места, подняв корявую ладонь, мужик в никелевых очках, перевязанных ниткой, лысый, с жидкой бородой, по всему судя — тот самый, кто навестил приезжего в одну из первых ночей.

«Пожалуйста», — сказал председатель.

«Я вот тебя спросить хочу: ты зачем чужую избу занял? Ты разрешения спросил? Нет такого закона, чтоб чужую квартиру занимать».

«Мой брат купил эту избу. Вот тут он сидит, может подтвердить. Я же вам объяснял...»

«Нечего мне объяснять. Ты вот ответь».

Кто-то сказал:

«Да гони ты его в шею, чего с ним толковать».

«Кого?» — спросил другой.

«Да энтого, как его».

Еще кто-то вынес решение:

«Живет, и пущай живет».

Писатель продолжал:

«Что я хочу сказать. Литература служит народу. Так нас учили. Но, товарищи. Чем мы ближе к народу, тем мы от него дальше. Таков парадокс... А! — и он махнул рукой. — Ребятки. Может, станцуем, а?»

«Вот это будет лучше», — заметил кто-то.

Бух! Ух! — ударил барабан. Тра-та-та, ру-ру-ру, — запела труба. И все повскакали из-за столов.

Путешественник перешагнул через скамейку и пригласил даму. Оркестр играл нечто одновременно напоминавшее плясовую, Марш энтузиастов и танго «В бананово-лимонном Сингапуре».

Путешественник танцевал с тяжело дышавшей, зардевшейся Маврой Глебовной, чувствуя ее ноги, ее мягкий живот и грудь. Желудок путешественника вел, описывая сложные па, Василий Степанович. Его сменил, галантно раскланявшись перед таинственно улыбавшейся Ксенией Абрамовной, ночной лейтенант в новеньких золотых погонах. Помощник лейтенанта сидел среди стаканов и тарелок с недоеденной едой, подливал кому-то, с кем-то чокался и объяснял значение органов: «Мы, брат, ни дня ни ночи не знаем... Такая работа... Вот это видал? — и он скосил глаза на свою нашивку, меч на рукаве. — Это тебе не польку-бабочку плясать... Я вот тебе так скажу. Мы на любого можем дело завести. Вон на энтого...» — Он указал пальцем на танцующего писателя. «Которого?» — спросил собеседник. «На энтого. Знаешь, какое дело? Во!» Двумя руками он показал, какой толщины дело. «Да ну!» — удивился собеседник. «Только чтоб ни слова об этом, — сказал помощник. — А то, бля... Ладно, не боись. Давай...»

Между столами и на лугу откалывали коленца поселя-

не, бабы, согнув руку кренделем, трясли платочками, пожилой мужик в железных очках, позабыв о своем вопросе, хлопал себя по животу, выделявал кругалю. Оркестр гремел, дудел: «В бананово-лимонном Сингапуре, в бурю! Когда ревет и плачет океан». Труба пела: «Нам нет преград — На море и на суше». Кто-то лежал, раскинув руки, созерцая бледно-голубое далекое небо.

XXXVII.

В это время вдали клубилась легкая пыль, солнце играло в подслеповатых оконцах, через всю деревню, мимо покосившихся изб, мимо печных остовов, мимо повисших плетней пронеслись один за другим в развевающихся одеждах верховые.

«Эва кто пожаловал», — сказал чей-то голос.

Дружка стреножил коней. Витязи с темными глазницами, в круглых княжеских шапках, в плащах поверх кольчуг, в дорогих портах и сапожках из юфти, молча приблизились к почетному столу. Мавра Глебовна поднесла хлеб-соль. Мальчик, умытый и причесанный, нес два кубка.

Витязи приняли кубки, степенно поклонившись председателю и народу, сели на краю стола.

Две цыганки сорвались было с места, заорали: «К нам приехал наш любимый Борис Борисович дорогой. К нам приехал наш родимый Глеб Глебович дорогой. Пей до дна, пей до дна...» На них зашикали.

Председательствующий Василий Степанович приветствовал гостей. Братья наклонили головы.

Все снова сидели на своих местах, бабы шушукались, музыканты дремали в кузове грузовика.

После чего слово было предоставлено барону Петру Францевичу, который уже стоял наготове, с бокалом в руке.

«Уважаемый председатель, святые князья. Братья и сестры, друзья, русский народ!» — изящно поклонившись направо и налево, растроганным голосом сказал Петр Францевич.

Он отпил из чаши, пригладил на висках седеющие напомаженные волосы и кончиками пальцев коснулся благовонных усов.

«Человеческая душа есть величайшая загадка. Буйный зверь и скорбящий ангел в ней живут, одной плотью укрываются, одним хлебом питаются. Сегодня пируем и лобызаемся, а завтра проснется демон, обернется ангел зверем, и — пошел грабить и жечь, так уж, видно, повелось на Руси, други мои любезные, мужички...»

Все затаили дыхание, Петр Францевич оглядел собрание и после короткой паузы продолжал:

«И есть у этого зверя верный союзник. Только и ждет он, когда разгуляется, распояшется русский человек. Ждет, чтобы придти и помочь ему жечь, грабить, насилловать. Две силы объединились, чтобы погубить землю, два недруга, тот, что сидит в нас самих, и тот, кто ждет своего часа на дальних подступах нашего необъятного государства...»

«Во дает», — сказал чей-то голос.

«Монголы, поляки, французы... Тевтонская рать с головы до ног в железе... Только было встанет на ноги государство, отстроятся города, бабы нарожают детей, — новая напасть, опять нашествие, опять все гибнет в огне... Уж совсем было сгинула Русь. Ан нет, — сказал Петр Францевич. — Откуда-то поднимается новая поросль, ангел подымлет крыло. Стучат молотки плотников, рубятся избы, засеваются поля, князья собирают удрученный народ, попы молиться учат одичавшее стадо. До нового избиения, до следующего раза.... И были гонимы, как прах по горам и пыль от вихря, говорит псалмопевец. Доколе же, спрашивается, все это будет продолжаться? У вас хочу спросить, мужички! Не чудо ли, что мы все еще существуем, второе тысячелетие тянем...»

«Эва куда загнул», — сказал голос.

«Но вот, наконец, нам объявляют, что русский человек исчез, нет его больше, истребился и стерт с лица земли, как некогда были стерты древние народы. Так-таки и пропал, черт ли его унес, терпение ли Господне

истощилось, неизвестно! Нет больше русского народа, так, лишайник какой-то остался. Но я спрашиваю вас, земляки-сельчане, друзья мои дорогие! А вы-то кто? Я спрашиваю: вы-то живы? Или это видение какое, фата-моргана, дивный сон мне снится, — а на самом деле вас и нет вовсе? А?.. Вот то-то и оно!» — усмехнулся Петр Францевич и провел пальцами по шелковистым усам.

Он скосил глаза и слегка нахмурился, Мавра Глебовна поспешно подлила витязям и оратору. Доктор искусствоведения Петр Францевич вознес чашу.

«Славным пращурам нашим — ура!» — крикнул он, и мужики и бабы отчаянно завопили «ура» и захлопали. Оркестр заиграл гимн. Перед столами появился, слегка пошатываясь, с огромной гармонью Аркадий. Началось братание, раскрасневшиеся женщины переходили из рук в руки, лобызали мужиков, мужики обнимали друг друга, Петр Францевич нежно расцеловался с путешественником, Ксения прильнула устами к Василию Степановичу. Братья-витязи уже сидели в седлах. Начал накрапывать дождь.

Несколько времени спустя дождь стучал по столам, залил рюмки, тарелки, миски со студнем и винегретом, дождь исколол острыми иглами серую поверхность реки. Люди бежали опрометью к деревне, те, кто не мог подняться, почивали в лужах. Пошел град, повалил снег.

Снег закрыл до половины низкие окна и завалил крыльцо. С трудом приоткрылась дверь, путешественник, обмотанный шарфом, в валенках и рукавицах, с деревянной лопатой выбрался из темных сеней. С полчаса он работал метлой и лопатой, откопал ступеньки, разбросал снег перед окнами и прорыл дорожку к хибаре соседа. Усы и борода путешественника покрылись сосульками, ресницы побелели от инея. Проваливаясь в сугробы, он добрался до двери. «Эй, Аркаша!» — позвал он. Дорога и огородное поле скрылись под волнистыми наметами снега, река сравнялась с полями, и призрачные леса с трудом угадывались в дымчато-белом маре-не бездыханного дня.



Виктория ПЛАТОВА

ОБИТАТЕЛИ

В одном из сараев живет Эда со своим мужем Тамазом и детьми: двухгодовалым Сашкой и трехгодовалой Ленкой, а также нажитой еще до замужества тринадцатилетней Верой. Верка за детьми и смотрит. Дети то и дело лежат в больнице с желудком и в сад не ходят, а Эда злится на врачей и уверяет всех, что у них от рождения желудок жидкий, никаких болезней нет. Тринадцатилетняя Верка ругает сестру и брата матерными словами и глядит за ними с неохотой — все больше норовит взбить свои невытые патлы, а то неумело вымажет рот огрызком помады и сиганет на вокзал. Эту страсть к перрону она унаследовала от матери, которая страшно скандалит со своим мужем Тамазом.

Худой, измочаленный неудачами грузин, про которо-

го Эда говорит: «У моего мужа мускулы, как у воробья на коленках», вывез из Грузии огромный нос, огромную кепку, да плаксивые воспоминания о том, как он поссорился с папой, богатым деревенским плантатором. Папа за какую-то провинность изгнал сына-недотепу из своих владений и с тех пор никогда, видно, не пожалел об этом. Тамаз делал в России тяжелую работу, мыкался-мыкался, черт знает как прибился к Эде и опять мыкается. Эда была когда-то красивая баба. Цыганистая, худющая, остроплечая, она была красива непонятной простому глазу красотой, но время и дети иссушили ее, а главное, неумный ее темперамент. Она хотела радостей жизни и не понимала, где их еще взять, как не в вине и не в любви. Поссорившись с Тамазом крикливо и матерно, она мстит ему и уходит на перрон. Тамаз выскакивает следом и сквозь стиснутые от душевной боли зубы кричит: «Зарежу!», но она его не боится, уходит на перрон и там цепляет первого встречного неразборчивого мужика. Тому и дела нет до того, что передние зубы у Эды сгнили, на шее сухожилия обтянуты пустой кожей, и вся она похожа на заезженную, худую цыганскую лошадь, а вовсе не на ту Эду, что радовалась жизни лет двадцать назад. Мужчины, что идут с ней куда-нибудь тут же неподалеку в сумеречные поля, хотят вовсе не любить ее, а только употребить для собственного облегчения.

Тамаз знает про это, но не бросается следом, а по-бабьи плачет, изредка нелепо всхлипывая свое: «Зарежу!» Его презирают и дочка Эды и даже собственные малолетние Ленка с Сашкой. Только Нинка, родная сестра Эды, живущая в соседнем сарайчике, иногда жалеет его и приносит пол-литра, чтобы вместе распить. Тамаз скоро пьянеет и засыпает, как наплаканный ребенок, а поутру просыпается, чувствует рядом с собой теплый Эдин бок и никакой обиды на нее не помнит.

А Нинка, как выпьет, тоже часто плачет, потому что у нее своя жалкая судьба. Рыжая, с глупым беззлобным лицом, она ничем не похожа на свою сестру. Эда часто

говорит, что Нинку, младшую, их мать прижила все на том же перроне. Но кто был отцом ее и брата — тоже не знает. Нинка работает официанткой в военном санатории и там подластился к ней престарелый майор, маленький, плешивый и толстый. Она родила от него сына Витьку, но майор женат, да и не думал он, что Нинка — подавальщица-раздавальщица — ему пара. Он просто баловался. Однако, со временем привык к ней, к ее добrote и необидчивости, и все ходит и ходит. Специально из Ленинграда ездит. Приедет, бывало, пол-литра привезет, кара-кума двести граммов сынишке или там еще чего — но только из продовольствия. Промтоваров — чулок Нинке, духов или игрушек сыну — не покупает. Боится, что жена его с покупкой застукает и все поймет. Вообще, он часто жалуется Нинке, что жена все деньги отбирает, а то бы он помогал ей — как только выпьет, так на словах и раздобрится. Нинка живет с ним потому, что ничего лучшего для себя вокруг не видит, и ей льстит, что к ним во двор ходит солидный военный. Из всей любви ей больше всего нравится тот момент, когда майор при всей форме и с пакетиками в руках открывает калитку и идет прямо к ее сарайчику — и все вокруг это видят. В остальном она мало что понимает, но иногда задумывается и сильно удивляется. Удивляют ее всякие причуды любовного дела. Так, например, с ней недолго жил один — тоже офицер и тоже пожилой — так он требовал, чтобы она была голая, а на голове у нее была бы официантская ее наколочка, а на животе маленький фартучек. Он ходил к ней пару раз, пока отдыхал в санатории, майор ведь не так часто приезжает, а когда приехал, Нинка решила, может и ему понравится, если она нацепит наколку и фартучек, но ему не понравилось — он почему-то сразу догадался об измене, надавал ей прямо по морде и много раз обозвал дурой и еще хуже. Нинка плакала и удивлялась. Вообще ей часто достается и она часто плачет. Майор бьет ее за измены. А предает ее обычно Эда. И всегда очень хитроумно, каким-нибудь намеком. Встретит майора на пути к Нинкиному сарайчику, прищурится и ахнет: «Ой,

господи, я вас не признала, думала опять лейтенант пришел...» Или вопрется к Нинке и что-нибудь такое ввернет: «Да чтой-то вы, Нинка, все водку пьете? А вот полковник-то, помнишь, такое вкусное вино приносил и мне еще дал попробовать...» Майор ее за это ненавидит — он бы не хотел знать про Нинкины измены, но они его сильно обижают, он бьет Нинку, грозитя порвать с ней, слово дает. С тем и уезжает. Нинка ревет ему вслед белугой, а тут обязательно подвернется Эдка и поддразнит: «Ну, чего, дура, опять по мужику ревешь?» Нинка шмыг носом и огрызнется: «Чего мне реветь, и не реву вовсе, это ты за своим реви...» «А морда-то вся распухшая, — не унимается Эдка, — тьфу, смотреть противно!» Нинка не выдержит, взвизгнет и вцепится в лохматую Эдкину голову. Крик, визг, клочья то рыжие, то черные так и летят! Дети плачут, тянут мамок за юбки. Но растащить и мужику не под силу. И все из-за того, что Нинка не может терпеть Эдкиного ехидства — больше в ней доброты. Она и за Витькой лучше смотрит: он у нее как-никак помоев не жрет. А Сашка с голодухи придет на кухню к жильцам, покрутится между ног, да кружечкой своей игрушечной из помойного ведра и зачерпнет — пьет и причмокивает. Тут жиличка, вдова скрипача, вся из себя выходит: «Это как же у ребенка жидкому стулу не быть? Ах, боже мой!» Эда поддаст Сашке, заругается на него, но это она перед жиличкой только, самой ей наплевать, чем ее дети сыты. Заодно она и жиличку еще подденет: «Как ваш муженек, — безобидно так спросит, — себя чувствует?» — это про старика, бывшего завмага, которого вдова с собой возит. Та тут же всплеснется вся: «Вы что?! Какой он мне муженек!? Не смейте оскорблять память моего мужа! Мой муж был человеком особого склада!» Вот Эдке смеху: старуха, развалина, а выходит, бывший завмаг ей любовник — а кто же еще, если не муж?! А уж любовник тоже хорош! Трясется весь, еле ноги таскает. Но целые дни шаркает от магазина к магазину — это у него прямо страсть: что там дают узнавать и первому встречному докладывать: «В гастрономе цыплят по рубль семьдесят выбросили...» или: « В

железнодорожном дают колбасу...» — он как бы хочет бескорыстно полезным быть, но это не так — он скажет и не уходит, а стоит и смотрит — ждет, чтобы с ним заговорили. Если заговорят, он тут же всю свою жизнь расскажет: как он во время войны в Челябинске самым большим продуктовым магазином заведовал.

— Вы знаете, — говорит он, — был только один человек, которому я подчинялся — это был директор эвакуированного Кировского завода еврей Зальцман. А он подчинялся только Сталину! И он — этот Зальцман был человек неограниченной власти! Однажды, он вызывает меня и говорит: «Ефим, почему у моих рабочих нет сахара?» А я говорю: «Бог мой, это ж война! У других и хлеба нет, а у меня люди получают...»

— Нет, Ефим, мои люди делают танки — у них должен быть чай с сахаром! Или пеняй на себя...

Ладно. Я взял два чемодана — один маленький со своими вещичками, а другой большой — с мануфактурой: драп, шивьет, каверкот — сел на поезд и поехал прямо на сахарный завод. А там у директора уже сидят трое и все с бумагами. У меня никаких бумаг. Директор говорит: у меня на всех нет, я не могу Москву удовлетворить. Я вижу: это не разговор. А он все время смотрит на мой чемодан. Я молчу. Тогда он кое-как заканчивает с товарищами, а меня спрашивает: «Вы где остановились?» Я говорю: «Пока нигде». Хорошо: через полчаса мы были у него дома. Кроме отрезов у меня еще кое-что было: ну коньячок, ну икорка... А вы знаете женщин? Что стало с его женой, когда я открыл чемодан: крепсатенчик-крепдешинчик, боже ты мой!? Одним словом, чтоб вас не задерживать: пятьсот тонн сахара я получил и Зальцман меня благодарил. Да, это была война... Что вы говорите? А? Да, у меня была броня. Всю войну. Причем, когда война началась, все мои были в Кишиневе и немцы их всех расстреляли. Тогда я хотел пойти и отомстить. Я подал заявление, а тут все стало разворачиваться и в гастрономе тоже. И тут как раз меня вызывают в военкомат. Я положил в портфель колбаски, хорошей рыбки — так на всякий случай и пошел. Уже прохожу комиссию,

вдруг открывается дверь и входит полковник — фамилия его была Сашко — я как сейчас помню:

— Ты что здесь делаешь?! Хочешь, чтоб мне Зальцман за тебя голову оторвал? Давай кончай и заходи ко мне.

Ну, я зашел, мы с ним хорошо посидели и я пошел домой. Вот так получилось несправедливо...

Что-то перепуталось в мозгу старика и ему действительно кажется, что с ним приключилась какая-то несправедливость и кто-то в ней виноват: он ждет сочувствия и понимания...

Серафиму, вдову скрипача, он узнал еще в Челябинске, куда она была эвакуирована с мужем. Тогда она была не то, что теперь: волосы — это были волосы, а не перекрашенные патлы; фигура — это была фигура, а не то, что теперь — теперь это ваза горлышком вниз: ноги тонкие, зада нет, зато живот и толстая круглая спина. А когда-то в этой вазе стояли цветы! А сколько он передал ей бриллиантов? Теперь даже не узнаешь, где они. Но что ему было делать? Когда кончилась война и Симочка с мужем вернулись в Ленинград, он поехал за ней — у него никого не было в целом свете — только она. В крупные фигуры в ленинградском торговом мире он не вышел — другие времена пошли — но кое-что у него еще водилось и Симочка была ему рада. А теперь возит его с собой на дачу только потому, что на двоих получается дешевле комната — теперь они деньги считают врозь. Теперь, когда у него только и осталось, что пенсия. И она каждый раз устраивает скандал из-за сдачи: «Я тебе дала рубль: масло — тридцать шесть копеек, сыр сто грамм — тридцать копеек, батон — тринадцать — это семьдесят девять копеек, а где еще двадцать одна?» А он не знает, ему кажется, что он отдал — у него их нет. Стыдно перед соседями, у него делается от этого сердечный приступ. А она кричит: «Ты бы еще больше жрал! Если бы я съела столько оладий, у меня тоже сделался бы сердечный приступ!» Черта с два, она здоровая, как лошадь.

И даже Эда удивляется, зачем эти старые люди живут вместе, если они и чайку вечером не могут попить

ладом. Серафима по-старушечьи копит всякую ерунду: пакетики из-под молока, коробочки от плавленых сырков, баночки и бутылочки от лекарств. «Ты когда-нибудь выбросишь это дерьмо? — спрашивает он ее. — Или ты повезешь это с собой в Ленинград?» И она немедленно бойко откликается: «Если я такое дерьмо, как ты, повезу с собой в Ленинград, так уж это наверное...» — и начинается длинная перебранка на весь вечер, хорошо слышная мне через фанерную стену.

Я живу в Нинкиной комнате и, по правде сказать, если бы моя жизнь, также, как жизнь других обитателей этого дома, была на виду — они так же не поняли бы ее смысла, как я силюсь и не понимаю смысла их бедных жизней; а если бы вдруг поняли — вот уж посмеялись бы надо мной вдоволь, а может быть, ужаснулись бы и пожалели меня не меньше, чем я их. С трудом превозмогая себя, я невнимательно, зато с чувством постоянной вины, слежу за ростом моей дочери, позволяя ей болтаться во дворе с сопливыми и желудочными Сашкой и Ленкой, только чтобы высвободить время и склониться над стопкой бумаги. Я пишу, выколупывая из сердца слова, как из плохо расколотого грецкого ореха выколупывают полезные и вкусные кусочки мякоти — с трудом и наслаждением. Но сколько бы я не писала, рассказы мои никому не нужны — редакции их не берут и ничего, кроме муки, они мне не приносят, заражая меня тоской и болью моих героев — но мука эта нестерпима только потом, когда рассказ уже закончен, когда отхлынет волна горячей радости труда. А в преддверии нового рассказа я сильно напоминаю себе алкоголика — от того, наверное, мне так легко понять входящего к нам на кухню по вечерам Игорька. Правда, ему хуже, чем алкоголику, он чифирщик, хотя и от водки не откажется, но его организм никогда не знает ни пресыщения, ни покоя. Чифиря, чем больше пьешь, тем больше нужно. Он дергается, корчит рожи, обнажая при этом желтые распухшие десны с торчащими огрызками зубов. Один глаз у него беспрестанно подмигивает, а другой побешенному круглится. Чифирь он себе варит сам в пол-

литровой алюминиевой кружке, в которую сыпает полторы-две пачки чая, и долго кипятит на газе. Но иногда он доходит до того, что руки прыгают и кружку до газа не донести — тогда он зовет меня, садится прямо у порога на пол и ждет. Едва пригубив из кружки, начинает хмыкать, хихикать по-дурацки, шумно глотать слюну, и над расхлобыстанным воротником грязной навывпуск рубахи начинает туда-сюда ходить его острый голодный кадык. Кожа на лице у него не красная, как у алкоголиков, а желтая, испитая и весь он, как начифирится, становится крученный-верченый. Ни Эдка, ни Нинка брату никогда в пачке чая не отказывают, даже специально припасают и причин для того не одна. Во-первых, бесполезно, да и опасно отказывать, а во-вторых, обе они люто ненавидят его жену Валюшу и накачивают его ей назло. Есть еще и третья причина, но она потайная, совсем бессознательная и связана с последствиями. А эти сами по себе, и тут все дело заключается в том, что и Эда и Нинка еще больше, чем ненавидят, боятся Валюшу, и единственно, в чем решаются проявить свое отношение к ней — так это в том, что всегда потрафляют брату. Она с ним не живет, хотя зимой он перебирается из своего сарайчика в комнату — она по этому поводу без конца пишет заявления и ходит по инстанциям, но ей отдельной жилплощади не предоставляют — летом же она на порог его не пускает. И, надо сказать, он не лезет, хотя вряд ли боится ее по той же причине, что сестры. А те уверены, что она наводит порчу. Для меня же Валюша — отрада души и глаз. Маленькая, складная необыкновенно: тонкая в талии, ножки точеные, с лицом сказочной русской прелести — рассыпчатые русые волосы — как не прихватит их сзади в узел, а на темени полукруглым гребнем все выбьется легкая, как дымок, прядка; над большими серыми, словно только что умытыми глазами правильные — не гуще, не тоньше, не темней, не светлей, чем надо, русые брови, и чудной уточкой всегда блестящий от чистоты носик — только губы узковаты, но зато, как улыбнется — все лицо озарят некрупные, все на подбор зубки — и всегда от нее так и

вееет нестерпимой чистотой: до сияния, до прозрачности... И угораздило же ее выйти за Игорьька! Эта печальная история всем известна до малейших подробностей: Валюша полюбила Игорьька по письмам, когда он служил в армии. Он служил на Колыме, в охране — там и пристрастился к чифирю — но в письмах оказывался пограничником, так и подписывался: «Солдат Игорь Кравчук, охраняющий на границе ваш спокойный девичий сон», — он сам придумал эту фразу и очень гордился ею. И фото свое он послал ей еще допризывное, с которого спокойно смотрел, на косой пробор причесанный, не улыбающимся строгим лицом.

А она была детдомовская, общежитская. Она говорит: «Знаете, много было парней, да все как? Ходят, душу мотают, а до церкви до венца — дорога без конца... А он замуж позвал». Она приехала, когда он демобилизовался, увидела, конечно, не слепая, за кого идет, но как бы поворачивать было некуда: уж больно, своей неземной любовью нахвастала подругам, да и забеременела раньше, чем последние иллюзии потеряла. Но как родила сынка, так спохватилась — не только, что с Игорььком уже не жила, но стала от него всячески прятать сына — вернее, не хотела, чтоб сын своего такого отца знал и при его безобразиях рос: то в круглосуточные ясли отдавала, и сама там нянечкой устраивалась, потом в садик круглосуточный — опять уборщицей нанялась, а уж потом добилась, чтоб его в интернат взяли — тут она пообивала порогов, да во все инстанции обратилась. А надо сказать, инстанций у нее три — к каждой из них она обращалась с одинаковой надеждой на помощь: писала в райком, шла в церковь к попу и бежала, зажав в кулаке скопленные деньжата, встречать электричку, которой прибывала с городского промысла цыганка Маша — «Манюня моя» называет ее Валюша. Так вот, кто ей помог, трудно сказать, но нежданно-негаданно в сыне ее обнаружился талант и его, широкогрудого, крепкого паренька взяли в школу-интернат при консерватории в класс духовых инструментов. Тут уж она не понадеялась ни на одну из инстанций, а только на самую себя и

переспала с директором этого интерната прямо в кабинете на столе — только чтоб ее Володичку-сынка часом не выперли. С тех пор всякий разговор о себе она начинает прямо с этого: «Уж я такая блядь, такая бесстыжая, на все способная...» А меж тем, она к мужчинам никакого расположения не имеет. Помахивая неожиданно крупной, красной, растрескавшейся от щелочей ладонью вдоль всего своего складненького туловища, она говорит: «Ну, знаете, елозят тут, елозят чего-то, аж надоест. Не понимаю я этого...» Но все ее неприятности начались именно из-за ее привлекательности. С тех пор, как сынок оказался прочно пристроен, она домой его уже не забирала, но чтобы ездить к нему почаще, стала работать на местном заводике в охране: сутки отработает — двое дома. В эти дни ходит убирать парикмахерскую и клуб, но все равно остается время к Володичке съездить. А денег ей много надо, потому что не хочет, чтобы сынок хуже других был: и джинсы ему покупает с рук, и сапоги импортные на меху, и куртку японскую, а, главное, копит ему на валторну. Словом наломается и опять на дежурство. А ночью на проходной, когда спецтранспорта нет, можно бы и вздремнуть часок, но стал ее как раз в минуту затишья донимать начальник смены — приставал к ней. Она ему говорит: «Что ж, если я одна парня рашу, значит у меня коленки не всегда вместе? Нет, ошибаешься!» — и шуганула его. Он обозлился и написал на нее докладную, что она спит на посту. Ее премии лишили. Вот тогда она и сказала ему: «Ты мне так сделал, а я тебе так сделаю, что тебя с завода вперед ногами понесут!» И сбегала на свидание со своей Манюней — не пожалела деньжат — но уж как могла Манюня сотворить такое, чтобы буква от лозунга с крыши завода упала как раз Валюшину недругу на голову — это, конечно, неизвестно, и самой Валюше очень странно. Однако, смена начальства полного благополучия ей не принесла. Для начала она написала в партком, чтобы ей доплатили премию, потому что она хоть и такая-сякая, но это она ради сына могла пойти на все, а покарал же Бог ее начальника —

значит он поступил с ней несправедливо, написав докладную только потому, что... А в парткоме одни мужики — они вместо того, чтобы вникнуть, подняли ее на смех. От обиды она возьми и скажи одному: «Вот я ему сделала, погоди и тебе будет!» И ни до какой Манюни дойти не успела, даже не собиралась на этот раз — и так кругом в накладе оказалась — а у того через пару дней возьми и случись инфаркт. Тут на нее все буквально стали косо поглядывать и первым делом ее стали сильно не любить женщины, стали сторониться ее и всякие гадости ей подстраивать. А Володичкиному классу как раз на день ее дежурства назначили отчетный концерт — ей просто необходимо было сменами поменяться: она стала одну просить — и ничего в этом не было прежде затруднительного, менялись сменами, если нужно, а тут ни в какую — не хочет баба навстречу пойти, так и говорит: «Могу — не могу, не твоя печаль, не хочу и все. Кончен разговор». Валюша ей на это и брякнула: «А пропади ты пропадом! Чтоб у тебя дача сгорела!» У той в тот же день дача и сгорела. Вот тут уж терпение у людей лопнуло. Потребовали открытого партийного собрания, стали ее обсуждать. Пришла Валюша на собрание, слушает, удивляется: «Как же вы так можете? — говорит. — Вы же тут все люди партийные, как же вы можете в такое верить? Вам же это не положено!» А ей говорят: да, нам не положено, но и тебе, ведьма, на охране стоять не положено. И постановили дело ее передать в районный психдиспансер. Врач пришел ее на дому проверять и первым делом спросил: «Вы порчу наводите?» Валюша даже жаль его стало: такой молодой врач, должно быть еще любознательный. Она ему тогда так ответила: «Вот вы закончили институт, работаете, вас тому-сему учили — зачем вам знать больше того, чему вас учили? Будете знать больше — все бросите и диплом свой на стол положите, без куска хлеба останетесь...» Но особенно дома она с ним разговаривать не хотела: «Пойдемте — говорит — я вас до вашего заведения провожу, дорогой поговорим». Вышли они, идут. Она ему все про свою жизнь рассказывает

и про то, конечно, как она сына своего ради с директором интерната переспала, и про то, как живет-мучается, на себя никогда копейки не потратит, до получки рубля нигде не займет, а другой раз прямо взмолится: «Господи, да пошли ты мне хоть трешницу!» — сказала, прошла шагов пять, нагнулась и свернутую рулончиком трешку с земли подняла. Молоденький врач аж ахнул: «Что же это вы три рубля просили? Уж просили бы пятьдесят!» Она посмотрела на него чистыми своими умытыми глазами и говорит: «Ну как же вы так можете? Ведь это, чтоб я нашла — кто-то потерять должен. Три-то рубля — что ж? Это поделится со мной кто-то, у кого, может, они даже лишние, а пятьдесят человеку обидно было бы, может, он и сам до получки не дожил бы. Разве можно пятьдесят просить?» Не иначе, как за эту отповедь в благодарность врач и отписал на завод: практически здорова, работать может, но с ограничением. Значит на вахте при оружии ей не стоять. По-ихнему вышло. Стала она и на заводе уборщицей работать. Но, главное, по всему поселку слух пополз. Боятся ее, конечно, не все, но большей частью сторонятся и не любят. А жизнь ее протекает в непрерывной грязи и в непрерывной борьбе с этой грязью. С одной стороны, бабы, такие же уборщицы, как она, запрут ее в подсобке и говорят: «Ты чего порошков, мыла да прочего домой не берешь? Лучше нас хочешь быть? Начальницу удивляешь? Чего это ей хватает, а вам все мало?! Смотри: не будешь брать — прибьем!» С другой стороны, они с начальницей водку пьют, ей ставят, а Валюша и сама не пьет, и на бутылку никогда не разорится — вот начальница ее и не любит, справку на совместительство не дает. И снова Валюша не знает, к кому ей вперед за помощью обратиться: то ли к Манюне, то ли в партком. На всякий случай обегает всех. А в парткоме удивляются: «Опять склоку затеваешь? Объяснись ты со своей начальницей!» «Да как же я с ней объяснюсь? — недоумевает Валюша. — У нее ж здесь три слоя жира — показывает она красной, расстрескавшейся от воды и щелочей рукой на подмышки до

тонюсенькой талии. — Разве она может меня понять, если у нее тут жир, а у меня его нет?!» Справку ей все-таки дали и она бегаёт бегом с работы на работу, копит Володичке на валторну, мотается к нему — мало у нее времени на то, чтобы вступать в лишние и ненужные ей отношения с обитателями этого дома, пусть себе боятся, ей так даже удобнее.

А Эдка другой раз говорит: «И чего тягается? Сыночек-то подрастет — в нем папаша сейчас и скажется, покажет он ей кузькину мать — от тогда моя жопа-то посмеется...» — она говорит неопрятными злыми словами, ими прикрывая свою зависть к тому светлому, что все-таки есть в Валюшиной жизни.

Ну, а третья причина, по которой никто дома не отказывает Игорьку в пачке чая, та самая — потайная, с последствиями: стоит Игорьку накачаться до одури и начинается представление, которое дает полную развязку всем обитателям дома, всей их застойной жизни. И все — и зрители, и соучастники на какой-то момент принимают активное участие в действии, чувствуют свою, пусть фальшивую, ненужную, но все-таки нужность. С оглушительной, даже сестер поражающей бранью, размахивая руками, ударяя себя в грудь, раздирая рубаху, выбегает Игорек во двор, где за сараями всегда стоит грузовик, на бортах которого белыми буквами написано: «Огнеопасно», лезет в кабину — и с этого момента начинается всеобщее действие. Женщины истошно кричат, визжат дети, мотаются по двору, матери гоняются за ними, ловят за рубашки, за волосы, хватают за руки, пытаются удержать подле себя, но ребячню — и моя дочь в том числе — чувствуя возбуждение взрослых, то и дело вывертывается и снова выныривает и кружит с визгом в пяти секундах от смертельной опасности. Мужчины, какие есть дома, вплоть до Нинкиного майора, бросаются к машине, пытаются выволочь обезумевшего Игорька, но он отбивается, дико крича: «Задавлю!» и чаще всего умудряется дать газ и рвануть через двор, вопя: «Задавлю, гады!». При этом и в самом деле, норовит наехать и задавить. Хорошо, если он попадает в ворота, но чаще

всего сшибает забор где-нибудь посередине, и дает ходу — тут уж без помощи соседей не обходится. В соседнем доме у двоих парней есть мотоциклы. Они живо откликаются на наши крики, стремглав влетают в седла, вырываются вперед газовоза, крича проходим: «Раз-бегайсь! Пьяный за рулем! А ну с дороги, мать вашу, раздавит! Берегись!» и так до тех пор, пока с опозданием, не слишком спеша, не прибывает ГАИ. Обычно к тому времени, когда бешеная игра уже стихает в Игорьке сама собой, и он, склонившись на баранку, то ли засыпает, то ли впадает в беспамятство. Черт его знает, почему, но никто не помнит случая, чтобы после этого у него отобрали права или чтобы его прогнали с работы. Штрафовали, высчитывали из зарплаты, даже на стенд «Они мешают нам жить» — вешали, но права не отбирали и с работы не гнали. Должно быть, из-за того, что он соглашается держать газовоз, на котором развозит баллоны по домам, у себя за сарайчиком, а в конторе гаража нет.

Произведенного эффекта, впечатлений, возбужденных воспоминаний кто как себя вел во время происшествия, куда бежал, что предпринимал, что при этом испытывал, хватает на несколько дней, да и сам Игорек на некоторое время стихает — чифирится, но не бузит, однако, наступившее затишье скоро начинает томить душу и снова скапливается в воздухе нервное ожидание чего-то...

И снова все разряжается женскими криками, воплями, этим бешеным: «Задавлю! Разбегайсь! Задавлю, гады!»

Насилу поймав дочь и закрыв ее в комнате, я стою у пролома в заборе, смотрю вслед одуревшему газовозу с надписью «Огнеопасно» на бортах, и вдруг странное чувство охватывает меня: мне кажется, жизнь моя замкнулась каким-то заколдованным порочным кругом; обойденная признанием и успехом, я обречена видеть вокруг себя только ущербное, безысходно убогое; где-то вне этого круга благополучие, достижения и победы, трезвые работающие передовики, зарубежные впечатле-

ния с последующими «заметами» в журналах — вот, где сгодился бы критический склад моего ума! — жизнь, красивая и нарядная. А я, если и перееду из этого дома, то, верно, попаду под такую же ветхую крышу и с жизнью столкнусь такой же бедной и неустроенной. И хочется мне, подобно Игорьку, рвануться вперед с яростным криком: «Задавлю, гады!» — и что-то смести со своего пути, неясное, лишенное очертаний...

Но я стою у провала в заборе, смотрю вслед Игорьку и думаю: а кто знает, может быть, мне повезло — должен же кто-нибудь жить здесь, в этом доме — кто-то, кто сумел бы рассказать о его несчастливых и тоскующих обитателях.

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ «ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА»

По следам неизвестного Пушкина

Настойчивое желание великого поэта добиться разрешения отправиться в Европу из ссылки в Михайловском и из Москвы (1824-1829). После отказов Николая I и Бенкендорфа - подготовка к побегу под видом слуги своего приятеля и для лечения болезни, которую он выдумал, подкрепив справкой ветеринара. История вербовки Пушкина в осведомители с обещанием выпустить в Европу. Путешествие поэта в Арзрум с целью нелегально перейти турецкую границу.

**Hermitage Publishers, 1993, 271 с, \$ 15
P.O.Box 410 Tenafly, NJ 07670**

На основе критического изучения огромной литературы, писем современников и архивов тайной полиции известный писатель и профессор русской литературной истории Калифорнийского университета впервые в пушкинистике исследует страстное желание поэта покинуть Россию, в которой, как Пушкин сам выразился, черт догадал его родиться с душой и талантом.



Сергей ШАБАЛИН

МОСКОВСКИЕ СНЫ

День рождения

Расползлись домотканых затей заплаты.
Обветшал надежды ремень.
А места в которых бывал когда-то
Стер хвостатый джин перемен.
Смыл названья знакомых улиц.
Телефоны друзей украл...
Я все больше душой сутулюсь
Как ненужный подъемный кран,
Что уже не везет сквозь известку звездную
Сколки утренних слов и чувств.
Мне сегодня не по плечу
Труд подобный. Тяжелый воздух
Разорвал водосточный рупор
Выдувая ржавую жесть
Приземлившихся листьев трупы
Отчеканили тридцать шесть

Оглушительно. Но не каюсь,
 Что не слыша шагов осенних,
 Я, забыв о делах, болтаюсь
 По Покровке и Маросейке.

В этом мире совсем не просто
 Быть бродячим подъемным краном
 И писать мемуары подростка
 Поседевшего слишком рано,
 Привиденьем двух континентов
 Над мембранами труб продрогнуть,
 Не узнав былых абонентов
 На Мак-дугал и Малой Бронной...

Картинки с выставки

М. Шемякину

В Нью-Йорке — «Карнавал Санкт-Петербурга»
 Динамика смещений.

Голограмность.

Тусовки масок.

Залпы цвето-звука.

Сеченья молний

и волокна радуг.

Ухмылки солнца

и луны гримасы.

Знаменье доброты —

жар птицы локон.

Гремящий топот

лошадей гривастых.

В чьих седлах — косяки

жандармов Лорки,

Что почему-то

говорят по-русски.

У всех народов

есть свои жандармы,

Которые

заламывают руки

Тому,

что не тождественно казарме.

На сцене ночи — тени исполины.

Померкший зал затих.

А это значит,

Что Арлекин, Пьеро и Коломбина

На время закрывают

«Балаганчик».

И Арлекин летит в реторту утра,

Повенчанный со звездным коромыслом...

Но побеждает не сиюминутность,

Не мимикрия.

А бескомпромиссность.

Наития. Догадки. Аксиомы.

Порывистость. Раздвоенность. Двужильность.

Капризы века и судьбы изломы.

Фактура неба

и фактура жизни...

Прощание

Открытый гроб — последняя сума

Отождествленья с непрозревшим миром.

Л за окном выл Вилледж

и зима —

Англоязычна, но переводима,

Штампованные шарики толпы

Катила в лузы

метрополитена.

И снега свежеброшенная пыль

С балтийским ветром

ночью прилетела

Сказать: «Прощай». Январь был на краю,

Рассыпав дней ненужных междометья.

И тусовались возле NYU

На совесть запанкованные дети.
И обсигналенный в мундире жлоб
Автомобильным промышлял судейством.
День увядал...

И не вязался гроб
С невозмутимым
предвечерним
действом.

И было в этот безвоздушный миг
За плоскость законную неловко.
За ветошь слова.

За глухие дни.
И за пустыни.
И за остановки.

1 февраля, 1996 года.

Гитарист на Арбате

В шумном сне на излете лета
отключили теплую воду...
Вызрел вечер. Причин и следствий
мне искать не хотелось. Вотум
недоверия всем доктринам
был бесстрастной, почти рутинной
аллергией усталых улиц...

В этот день я попал случайно
на Арбат, что навек утратил
окуджавность. Чадя у чайных
ресторанов, лотков, раскладок
городских печенегов рати
шли под джазовые рулады
в направленьи Кольца... Я краем
глаза выхватил гитариста.
Он был сгорбленным, броским, ранним,
торжествующе-нетарифным!
Чахли громкие имена
рядом с песней, что нервом колет.

Гитарист на Арбате — звонарь.
А гитара его — колокольня!
Уберечься б от были быдла
и осколков разбитых высей,
от рекламы, попсы и быта
и «Московской» за двадцать тысяч,
от дешевых сенсаций на
дорогой бумаге, от черных
дел и сотен. Не сгинь звонарь
в толчее мирового порно!

В шумном сне середины жизни
не изменишь пристрастий вектор.
Он протянут пунктиром жирным
по булыжной ладони века —
от троллейбусных лет Булата
до сиреновой пустоты.
Стрелки — оползни циферблата,
стеариновых дней черты
не обретшие ритм в секундах...
Разве можно измерить время,
проглотившее даже кремень
мостовой, гитариста?.. Скудный
ужин с палаткой-клеткой
и землисто-зеленый вечер.
Все конечно и бесконечно
в шумном сне на излете лета...

Москва, 1997

Я потерял тебя...

Я потерял тебя в убогом каждодневье.
В стране сытых желудков и некормленных чувств.
В стране, в которой общаются по инерции
И никто никому по сути не интересен
Ты была спасительным несоответствием
В кожанке а ля «Секс пистолет»
И оранжевыми зайчиками в солнечных волосах...

Я бросился искать тебя в бары восточного Вилледжа,
 Но ты жила в них весной 89-го, а сегодня зима 97-го —
 Много империй, дружб и смертей уткло с тех пор.
 Как разжалованный дирижер, я вслушивался в звуки

уличного оркестра,

Но он безнадежно фальшивил без твоей первой скрипки.
 Смотреть было не на что:

Береты ямайских эмигрантов все также безразмерны,
 А польские лесбиянки Беата и Виолета
 По-прежнему рассказывают пастве невзрачного бара
 О своих профессиональных достижениях.
 Куда бежать? В Россию?

Но там сегодня постсоветское пространство.

В банановые республики?

Слишком начитан и мрачен.

Осталось только заказать дешевого пива

И рассказывать подрастающим поколениям, о том,
 как не нужно жить.

Если они пожелают слушать.

Я потерял тебя...

* * *

Серые таганские дворы.
 Отчуждивших лет щемящий рокот.
 Складки трещин над бровями окон
 И подъездов камеры-миры.

Штабеля невымощенных дел.
 Сгорбленных прохожих обслюнявив,
 Псина-дождь о жизни прохрипел
 И сказал, что Родина линяет.

Я покинул станцию Нью-Йорк,
 Что, конечно, редко, но не ново
 И под ливнем прошлого промок
 В сумерках Большого Дровяного.

О жестянки вымаранных крыш
 Я тушил безвременья окурков.

И ворон изверившихся крик
 Собирал по раковинам арок...

Оставайтесь живы до поры!
 Не спешите в чад заморских кухонь.
 Серые таганские дворы,
 Где гуляет осень-потаскуха.

Где изрытый оспой истопник
 Разливал горячее портвейна.
 Я смотрел почти благоговейно
 На его кирзовые ступни...

Я тогда на многое смотрел
 Празднично, по детски, без озноба.
 ...Но последний гонг уже отпел
 Сумерки Большого Дровяного.

Москва, 1997

* * *

Что только не придумал этот вечер!
 Бульвары в коме. Загулявший снег
 Под фонарями
 желтой молью мечется.
 А ты идешь навстречу в полусне.

Дамоклов меч часов вращался влево.
 Шампанское вселенной откупорено —
 Буран кромсает розовое небо —
 Фантазмагория!

Мы снова встретились.
 Наверно, не случайно.
 Хоть происшедшее — невероятно.
 Титаник нашей близости
 отчалил
 По предначертанному курсу
 в невозвратность.

И вот опять знакомые черты —
Пути Господни неисповедимы.
Что за нелепость, неужели ты?
Четыре века пролетело мимо.

Как хорошо, что ты сказала: «Мне пора»,
Без лишних слов взломав замки заминнок.
И я ушел от прошлого в буран,
Глотая пыль взбесившихся снежинок...

Ностальгия по ноябрю

*«У каждой тучи — серебряная подкладка»
(Английская пословица)*

Воскресенье. В ущельях улиц
Бродит лета ленивый маг.
Глупый город погряз в июле.
Подобрел. Погрузнел. Размяк.

Полдень стружки лучей валом
Отправляет в артели дня.
А на днище бетонной ванны
Замирает автовозня.

Только я не июлем создан
И щедрот его не просил.
Вечер вздыбил
 позднего солнца
Развалившийся апельсин.

Он испачкал асфальта мили
Терракотовой кожурой.
В ночи логово
 за жарой
Поволок караваны пыли...

Солнце! Я не гоюсь в пророки,
Но и брэнностью не кичусь.

Вызывающе-одинокий
Собиратель нездешних чувств,

Я, с обыденностью воюя,
Туч вместилища серебрю.
И вынашиваю в июле
Ностальгию по ноябрю.

* * *

Толпы из пазов домовых прут.
Тротуар на растерзанье отдан.
Мир логичен: идиотский труд
Прерывает идентичный отдых.

Мне скучно в будничном вращеньи толп.
Жизнь истлевает, как дурной мираж.
Томлюсь в пивных и в поездах метро.
Мне скучно жить и страшно умирать.

Да, скучно общество и срез его любой:
И грубый плебс и затхлая богема.
Скучно все: и грязная любовь,
И разводья серы в колбе неба.

Зачем ты, Господи, позволил этот мир?!
Воинствующим скучищем гонимый,
Я, дотлевая, ухожу.
 Аминь.

В Заоблачье.
 Роняя нимбы дыма...

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ГРЕХОПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного, и вечно униженного из-за неустойчивости жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который окрашивает в темные краски всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу «проклятых вопросов» жизни, но вряд ли оставит его равнодушным,

В книге 320 страниц. Цена - \$ 16. Заказы и чеки высылать по адресу

„Time and We“
409 Highwood Avenue
Leonia, New Jersey 0760S, USA



Катя КАПОВИЧ

ЖИЗНЬ В ПЕРЕВЕРНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Нашедшему калошу

Вопреки амбивалентной связи,
снег с дождем стекает только вниз,
с прошлогодней смешиваясь грязью.
Вместе образуют они жизнь.

Время утекает всепогодно
с двух сторон в отверстие нуля,
знать, затычка пригнана неплотно
в голой раковине января.

На бесснежье — след одной калоши.
Вечный ученик, идешь на звук
вечного хлопка одной ладоши,
но какой, какой из многих рук?

Здесь вот отступил январь, и глухо
взвыл февраль в воронке ветровой —
это напоследок оплеуху
высыпала зима себе самой.

* * *

Взгляд приковали к фонарю,
вписав в свое же полукружье,
и кругозор по октябрю
стал сразу правильной и уже.

Фонарный столб вокруг себя
ночами чертит круг из света.
Итак, начну от фонаря,
от собственного силуэта.

Начну описывать свой круг
на светлой плоскости бумажной,
и жизнь соприкоснется вдруг
со мною без меня однажды.

Октябрьской ночью в звездный час
в апофатическом изъяне
я буду то, что циркуль спас,
изгнавши вместе с тьмой из яви.

Стекланный, оловянный, деревянный

Палисадник в окне превратив в бурелом,
холод так опечатает стекла снаружи,
что луна ковыряться в них будет крючком,
как во вретнице выцветших кружев.

А наутро я из дому выйду. Мороз
прихватит лицо, наждаком обдирая.
В такую погоду не нужен наркоз!
Струится дыхания кровь голубая.

Вот снег кислородной подушкой почти...
И все приблизительно, все так туманно.
По острому краю пройди, повторив,
слова-исключенья, как лейтмотив,
в котором тот звон оловянный, стеклянный...

В котором для русского уха слилось
от пьяных разборов до злого сиротства
все то, что до смерти бормочем под нос,
оспаривая у нее первородство.

19 октября 1997 года

Кто жил, как я, в круговороте,
Того влечет круговорот
Осенней пустоты в природе,
Когда светлеет небосвод.

Жизнь в перевернутом пространстве
Несет зеркальные черты.
Листай же, ветер, книгу странствий
Из нежелтеющей листвы!

Закон для смежных двух сосудов,
Учи, учи меня уму!
Перетекай, пустой рассудок
За край сознания, во тьму!

А чтобы уровень в двух сферах,
В двух полушариях ума,
Налитых веществом лишь серым,
Сравнился в мире навсегда, —

Сливайся с пустотой снаружи
И постепенно слейся так,
Как на сыром асфальте лужи,
Чьи зеркала в октябрьской стуже
Ночами отражают мрак.

Начало

Январский иней трескает стекло,
от снега стало в городе светло,
а то, что здесь сияло светом ржавым,
теперь лежит цветным промерзшим сплавом
туда, куда само, само легло.

Остатки копоти и мрака прячет дом.
Я выжимаю тряпку над ведром
и выдыхаю углерод сомненья.
Жизнь пишет свой зеркальный палиндром
на стеклах, стенах, надо всем, на всем
и движется в обратном направленья.

Так, между двух исчадий рождества
болит, болит у дятла голова
стучать по древу, чтоб, тьфу-тьфу не сглазить, —
наполненные снегом закрома
и простыней застеленную пажить.

Но дятла монотонного синдром
не вырубить ледовым топором,
и потому я открываю клетку
и сызнава впускаю птицу внутрь
в одно из абсолютно белых утр,
чей белый свет неразложим на спектры.

Продолжение

Один из летних вечеров
тянулся в минус бесконечность
поверх двух вскинутых голов,
которые сближала млечность
вдруг налетевшей мошкары,
голубоватой, вездесущей.
Висели странные миры,
гудя под ивою плакучей.

Жилец второго этажа
в окне, проклеенном газетой,
здесь не составит типажа
твой острый профиль с сигаретой.
Ты одинок здесь, как и я,
в своем стремленье слиться с местным
пейзажем — вроде журавля
с крылом своим, уже облезлым.

Вот так и станем мы вертеть
веретено густого дыма,
покуда зеленеет медь
настойной лампы Алладина
от сырости и от дождей.
В тот вечер про себя отметишь
в прямоугольниках дверей
карандаша простого ретушь.

Пока художничает дождь,
рисует на заборе, крыше
и заштриховывает дрожь
при взгляде на себя и выше,
пустую голову закинь,
ловя лицом большие капли,
которые из сини в синь
текут сквозь швы в небесной пакле.

Поверх деревьев, крыш поверх,
поверх разросшегося сада,
расставив ноги, человек
глядит на ночь из-за ограды.
Он постояв, стрельнет во мрак
давно потухшей сигаретой,
и возвратится на чердак —
и дальше будет жить в то лето.



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

ЧЕТЫРЕ РОССИИ: КАКАЯ ПОБЕДИТ?

Заметки социолога

Очень трудно обозначить нынешнее российское общество каким-то одним термином. Многие западные политики и эксперты, оперирующие дихотомическими понятиями (что заставляет их относить общества либо к авторитарным, либо демократическим), склоняются к тому, чтобы считать Россию демократией. Например, в июне 1997 года американское правительство и другие ведущие страны Запада признали Россию демократическим обществом и пригласили Бориса Ельцина присоединиться к Большой семерке в качестве полноправного члена. Вместе с тем огромное большинство россиян находится в резком несогласии с западной версией и не называют свое общество ни демократическим, ни либеральным, ни капиталистическим.

Летом 1997 года, когда я был в России, мне пришлось говорить со многими политиками, учеными, рядовыми людьми,

и ни один из них не употребил слов «демократическая», «капиталистическая» или «либеральная», когда я спрашивал о том, какой они считают свою страну. Чаще других звучало слово «олигархия». В российских средствах массовой информации только этот термин или эквивалентные ему типа «семибанкирщина», «номенклатурный капитализм» или «криминальный капитализм» используются для характеристики современного российского общества.

Трактуя свое общество как олигархическое, т.е. «правление немногих», россияне следуют за классическим аристотелевым определением олигархии, сделанным более двух тысячелетий назад.

Эволюция либеральных взглядов

Весьма типична та эволюция видения российского общества, которую можно обнаружить у Егора Гайдара. В 1992 году этот лидер российских либералов и архитектор реформ убеждал людей, что впереди, чуть ли не «за углом», находится «нормальное» и «цивилизованное» правовое государство. Он просил их потерпеть лишь один короткий период времени. Однако к 1994 году Гайдар уже именовал русский капитализм «бюрократическим», «плохим государственным капитализмом», «коррупцированным бюрократическим капитализмом» и давал ему негативные характеристики («предельно несимпатичный»).

В опубликованной в 1997 году книге «Аномалия экономического роста» Гайдар говорит о фактическом образовании «олигархического» общества в России и предполагает, что «сочетание имперской риторики, экономического авантюризма и крупномасштабного воровства имеют шансы стать определяющим долгосрочным фактором российской действительности».

Летом того же года Борис Немцов, уже будучи первым заместителем премьер-министра, назвал российское общество «бандитским капитализмом».

Олигархический слой или «рентоискатели»

Отрицать существование олигархии в России действительно невозможно. Ядро олигархического слоя

состоит из богатых людей, которые способны покупать услуги как правительственных чиновников всех уровней (от президента до местных политических деятелей), так и криминальных структур. Важнейшее условие, необходимое для существования олигархического слоя, — возможность «найти ренту». Термин «поиск ренты» может быть определен как стремление больших и богатых фирм получить дополнительную прибыль, создавая монополию с помощью государства и его чиновников. «Поиск ренты» резко противостоит условиям справедливой экономической и политической конкуренции. Учреждения (частные и не частные фирмы и компании) борются за получение привилегий от государства, которые будут помогать им сохранять власть и контроль над монополией. Методы и политические инструменты, используемые в «рентоискательстве», многочисленны, начиная от прямого взяточничества, до продажи субсидий, налоговых привилегий, ценовых субсидий, тарифов, импортных квот или лицензий.

Многие авторы, пишущие о России, внутри ее и за ее пределами, описывая олигархию, говорят об «обмене власти на деньги». Это неверное определение сути взаимоотношений между властью и большими деньгами. Обмен предполагает, что участники сделки лишаются одного и приобретают другое. Здесь же оба партнера выигрывают: богатые благодаря полученной ренте становятся еще богаче, а чиновник, получив деньги, получает возможность помимо всего прочего, сохранить и расширить власть.

Как считают многие в России, масштабы «рентоискательской» деятельности в России сопоставимы разве что с уровнем колумбийской коррупции.

Как правило, «искатели ренты» в одиночку или в коалициях находятся в состоянии постоянной конкуренции и конфликта из-за ограниченности ресурсов, доступных для перераспределения.

Одна из наиболее захватывающих войн имела место в июле 1997 года. Битва шла между олигархами за находящуюся в собственности государства гигантскую коммуникационную компанию «Связьинвест». Даже по российским стандартам эта война велась чересчур цинично. Каждая из сторон попыталась

тайно убедить правительство передать ренту в ее пользу. При этом никто в России не полагал, что этот аукцион, вне зависимости от его результатов, принесет пользу российской экономике. Он просто рассматривался как очередное перераспределение государственных доходов — ренты.

Четыре России

Конечно, невозможно оспаривать ведущую роль олигархии в российском обществе. Однако, когда россияне говорят о своем обществе просто как об «олигархическом», они воспроизводят ту же самую «системную» ошибку западных политиков, которые определяют посткоммунистическую Россию как демократию. Для того чтобы понять российское общество, нужно видеть в нем не только один срез (олигархический), но по меньшей мере четыре: авторитарный, олигархический, либеральный и криминальный.

Каждый из этих «укладов» имеет свою собственную политическую и экономическую базы, позволяющие ей более или менее эффективно применять принуждение, экономическое или внеэкономическое для реализации решений своей элиты. Два из этих слоев — либеральный и авторитарный — издают законы или постановления, реализацию которых они в какой-то степени могут обеспечивать с помощью правоохранительных органов. Олигархический уклад обеспечивает достижение своих политических целей с помощью денег, делающих возможным контроль полный или частичный над средствами массовой информации и выборами, или даже с помощью своих частных армий или нанятых преступников. Криминальный сектор, естественно, основывается на применении грубого насилия и шантажа. Каждый из слоев имеет собственные социальные институты, свою партикуляристскую идеологию со своим отношением к социальной дифференциации и социальной справедливости, к публичным благам (культура, образование, здравоохранение, армия и другие). Каждый из них имеет свою мораль, свою систему рекрутирования кадров и свои критерии для оценки эффективности деятельности в своем укладе.

Авторитарный слой или «рентодаватели»

Авторитарный уклад существует в двух разновидностях — «сильном» и «слабом». В первом случае страна управляется лидером, который способен контролировать бюрократию, особенно региональную, и силы правопорядка, во втором — лидер находится в существенной зависимости от своей бюрократии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Слабый авторитаризм, в частности, ведет, как мы это видим в современной России, к сильному, даже почти деспотическому авторитаризму в провинции. Однако в обоих случаях авторитарный слой обнаруживает себя через тенденцию ее лидера и бюрократии управлять страной, минимизируя влияние демократических институтов.

После 1993 года слабый авторитарный российский режим бросал вызов закону в неисчислимом количестве случаев. Он избежал юридических процедур, начав войну в Чечне. Он щедро расточал государственные деньги на президентскую избирательную кампанию в 1996 году и эксплуатировал свое положение, требуя деньги от частных учреждений. Кремль принудил СМИ, особенно телевидение, служить его целям в этой кампании. Ельцин даже открыто объявил, что губернаторы и президенты национальных республик непосредственно ответственны за результаты выборов.

Но главное состоит в том, что посткоммунистическая бюрократия при слабом авторитаризме превратилась в гигантскую сеть «рентодавателей», которые распределяют привилегии между экономическими олигархами («рентоискателями»). В то время как при сильном авторитаризме только лидер и небольшая группа его друзей и родственников могут выступать в роли «рентодавателей».

Криминальный слой: контроль над экономикой

Ядро криминального слоя, или преступная Россия состоит из различных нелегальных структур (в отличие от легальных организаций, управляемых олигархами),

начиная от незарегистрированных фирм до криминальных мафий и неорганизованных банд.

Мафии функционируют в любой части страны и имеют сети в каждом городе и деревне. Криминальные организации полностью или частично контролируют мелкое среднее предпринимательство, а также оказывают существенное влияние на крупный капитал. Теневая экономика — другая очень важная часть криминальной России, поскольку она производит от 30 до 40 процентов валового национального продукта.

Фактически, каждый малый и средний бизнес, а также некоторые большие компании, имеют то, что получило название «крыша». «Крыша» — криминальная организация, которая получает от десяти до двадцати процентов прибыли от каждого бизнеса в обмен на «защиту» или «крышу» от других мафий. Более того, «крыша» оказывается единственным эффективным помощником в разрешении споров с клиентами, отказывающимися платить за поставленные товары, или с задолжавшими компаниями.

Другой хороший индикатор размеров преступного слоя — число лиц, задействованных в охране. По некоторым данным, в этот род занятий вовлечено не менее миллиона людей.

Либеральный слой: слабый, но обещающий

Самое большое достижение посткоммунистической эпохи — появление либерального слоя, или либеральной России.

Демократические институты, — парламент, суды и свободные средства массовой информации, наряду с рыночными институтами, такими как частная собственность, конкуренция, коммерческие банки, совместные фонды и биржи, составляют ядро либерального слоя.

Опрос фонда «Общественное мнение», проведенный в 1997 году, показал, что 91% опрошенных высоко оценивают свободу печати; 82% поддерживают свободу перемещений и путешествий за рубеж; 81% — за свободные выборы президента, парламента и губернаторов. Преобладающее большинство также согласны с правом иметь частную собственность и законами, защищающими частную жизнь личности от государствен-

ного вмешательства. Даже коммунисты уверяют в своей поддержке этих и других демократических ценностей.

В то же самое время либеральная Россия — самая слабая из четырех. Демократические институты — хилые и нестабильные, особенно в провинции.

Российская экономика все еще далека от того, чтобы быть регулируемой рыночными законами. Экономическая конкуренция ограничена из-за преобладания национальных и региональных монополий, и больших и маленьких. Бартерные сделки составляют до 40% от общего числа всех сделок, заключаемых в стране. Свобода российских предпринимателей весьма ограничена и число мелких бизнесов снижается. Европейский Союз был прав, когда недавно отказался считать Россию страной с нормальной рыночной экономикой (что было воспринято как оскорбление российским правительством).

Атаки со всех сторон

Несмотря на скромное влияние на общество, российский либеральный сегмент общества систематически атакуется другими тремя слоями. Кремль все время держит парламент в подвешенном состоянии, угрожая его роспуском. Должностные лица регулярно демонстрируют свое неуважение к Государственной Думе и не испытывают никакого уважения к результатам выборов, если они не в их пользу.

Требования масс о регулярной выплате зарплаты и пенсии воспринимается их элитским сознанием как прежде всего помеха их деятельности. Они не видят ничего ужасного и в глубокой социальной дифференции, так как, как выразился один из Кремлевских лидеров, «не бывает, чтобы всем было сытно и тепло».

Олигархи цинично осуществляют прямой контроль над ведущими телевизионными каналами и газетами. В представлении большого числа россиян нынешние средства информации предстают не более свободными, чем старые коммунистические. Активность олигархов делает трудным делом проведение справедливой избирательной кампании. Среди россиян популярно мнение, что почти любой деятель может победить на выборах, даже президентских, обладая достаточной финансовой поддержкой.

С другой стороны, подобно олигархам, криминальные струк-

туры мешают справедливым выборам, иногда очень активно участвуя в избирательной кампании, как это было в Екатеринбурге в 1995 во время выборов губернатора. Зафиксированы случаи прямой связи депутатов Государственной и региональных дум с криминальными организациями.

Организованная преступность открыто вмешивается в рыночный процесс, что делает фактически невозможной свободную конкуренцию среди мелких и средних предпринимателей.

Особенно, однако, опасно для либерального сектора наступление, которое ведется против его принципов изнутри самого сектора. В российском парламенте чуть ли не большинство тяготеет к авторитаризму, и в целом парламент больше всего озабочен тем, чтобы его не распустили и его депутаты не лишились той ренты, которая им положена, пока они числятся народными избранниками.

Более того, многие российские интеллектуалы, которые совсем недавно были менестрелями демократических принципов, теперь потеряли веру в способность своего народа к демократическому образу правления, утверждая, что массы некомпетентны, полны идеологических предубеждений и неспособны принимать верные решения на выборах. Неудивительно, что некоторые из них активно выступали за отсрочку или отмену президентских выборов летом 1996, когда им казалось, что коммунисты победят.

Общая культура и криминализация общественного сознания

Хотя российское общество и разделено на конфликтующие сегменты с их специфической идеологией, тем не менее, существует общая национальная культура с общим языком, общими ценностями и традициями. Однако число ценностей, по которым существует реальный консенсус, невелико и, главное, значительная часть из них мало влияет на реальное поведение людей.

Некоторые из этих ценностей являются парадными ценностями (например, оказание бескорыстной помо-

щи ближним или готовность приносить жертву для общего блага). Но главное однако другое — давление специфической идеологии отдельных укладов на общую культуру, на ментальность всего населения.

Те ценности, которые внедряются в общую идеологию из олигархического и криминального слоев, влияют весьма эффективно на реальное поведение населения. Они создают новые стандарты и моральные нормы, становящиеся частью повседневной ментальности, в отличие от парадных ценностей общенациональной культуры.

Например, практика и мышление российских богачей, создавших свои состояния почти мгновенно, с широким использованием нелегальных методов, нанесли огромный урон этике труда молодого поколения. Известный русский термин «халява» означает получение чего-либо даром: не работая, не платя денег, не совершая каких-либо усилий. «Халява» стала ключевым термином для миллионов россиян.

Нужно, конечно, заметить, что «халява» была элементом массового сознания также и в советское время. Однако в прошлом он был компенсирован официальным прославлением и поддержкой социально полезного труда.

Нынешняя официальная идеология, сформированная под очевидным влиянием олигархии с ее откровенным культом богатства, показной роскоши и ее явным игнорированием ценности труда, лишь способствовала распространению идеи «халявы» во всех слоях общества. В 1997 году на вопрос ВЦИОМ, что требуется для того, чтобы стать богатым в России, только 5% опрошенных ответили «талант и упорная работа»; 44% сказали — «финансовые спекуляции», 20% — «отмывание мафиозных денег».

Успехи преступного слоя и его идеологии размыли границы между законной и незаконной деятельностью в сознании населения, включая высших руководителей власти, которые, оправдывая свои незаконные доходы или действия, сами того не осознавая, прибегают к уголовной логике. Более того, часто уголовники в общественном сознании, если следить за россий-

скими медиа, выглядят «хорошими парнями» или более эффективными менеджерами, чем законные бюрократы. В мае 1997 года один видный политический деятель и кандидат в президенты страстно защищал печально известного преступника Япончика, объявляя его современным Робин Гудом.

Другой хороший индикатор влияния криминальной идеологии — массивное вторжение уголовного жаргона в повседневный лексикон «нормальных» людей, включая политиков самого высокого ранга, начиная с премьер-министра. Ведущие каналы российского телевидения и радио буквально засорены подобного рода лексикой. Криминальная идеология особенно пагубно воздействует на молодежь, которая рассматривает преступную профессию как «нормальную» и даже желательную.

Многоукладная Россия: перспективы для анализа

Предлагаемое видение России прежде всего предлагает иначе понимать роль олигархического сектора, этого сплава коррумпированной бюрократии, богачей, и криминального слоя в обществе. Эти структуры, демонстрирующие удивительную живучесть во все времена и у всех народов, также «нормальны» как и другие социальные структуры. Рассматривать их только как «девиацию» или «социальную патологию» столь же мало продуктивно, как и считать «девиантами» людей малообразованных или чрезмерно жадных. Олигархи, коррумпированные чиновники и преступники со своей стороны считают «ненормальными» и «придурковатыми» тех, кто не пользуется легкими нелегальными возможностями для обогащения, карьеры и не избегают тяжелого труда. Олигархический и криминальный уклады являются «нормальными» социальными «животными», находящимися в смертельной борьбе с единственно нормальными для многих (и для автора этого текста) укладом как либеральный или, в крайнем случае, просвещенный авторитаризм.

Предлагаемый подход позволяет понять, что уникальность посткоммунистической России, как и любой другой страны, определяется специфической комби-

нацией четырех слоев, который в каждом обществе имеет разный вес, а также тем, какой уклад (или союз двух или даже трех) является доминирующим в данный период.

Главная проблема России, как и ряда других стран, состоит в огромном удельном весе двух «отрицательных слоев», в то время как в западных странах господствует либеральный фактор при существенной роли олигархии. Действительно, сравнение сил между четырьмя слоями российского общества показывает, что наибольший контроль над обществом находится в руках группы «рентодавателей» и «рентоискателей», то есть у олигархов с некоторыми высшими чиновниками государства.

Анклавы

Каждый уклад имеет свое ядро, в котором «трудятся» люди «на полной ставке». В то же время миллионы граждан «работают» на «полставки» или только «четверть ставки» в других слоях, образуя там «анклавы».

Криминальный сектор, например, имеет анклавы во всех трех других секторах. Как отметил московский политолог Владимир Михайленко, миллионы российских граждан имеют двойное гражданство — одно в Российской Федерации, другое — в «теневом государстве». Криминальный анклав в государственном аппарате, в частности, в правоохранительных органах, и даже в высшем эшелоне власти, хорошо документированы. Весьма сильны криминальные анклавы в олигархическом и либеральных секторах, как в политических, так и в его экономических институтах (в частности, в мелком и среднем бизнесе, где его участники регулярно нарушают законы и поддерживают регулярное общение с преступным миром). Не представляет особого труда и документировать существование олигархических анклавов в авторитарном секторе (появление богачей в правительстве), равно как и в либеральном секторе, в частности, в средствах массовой информации.

Как будут развиваться межукладные отношения

Дальнейшая динамика российского общества будет по преимуществу определяться конфликтами между четырьмя слоями и прежде всего четырьмя элитами, их представляющими.

В настоящее время основной конфликт разыгрывается между «чистым» авторитаризмом, сторонниками сильного государства, независимого от богачей, и олигархией, стремящейся сделать государство, если использовать классиков марксизма, их «исполнительным комитетом». Неудивительно, что в 1997 году наметилась явная тенденция высших лиц в государстве (особенно тех, кто метит на высший пост в государстве) к усилению контроля над экономикой, в противоречии с исходными посылами реформаторов 1991 года — бескомпромиссных врагов государственного вмешательства в любую сферу общественной жизни, тем более в экономическую.

Ныне здравствующие олигархи с их финансами, контролем над СМИ и своими людьми в высшей власти далеко не беззащитны, но весьма уязвимы в случае изменения политического климата в стране и прихода к власти сторонников «чистого» авторитаризма или, по крайней мере, тех, кто захочет «давать ренту» другим, а не «этим». Национальный фактор, в частности, противопоставление русских олигархов нерусским (евреям в первую очередь) может сыграть в перераспределении богатства и ренты не последнюю роль. Серьезный конфликт наблюдается между либеральным укладом, с одной стороны, и авторитаризмом и олигархией, с другой. Криминальный сектор также ведет активную борьбу за свое расширение с авторитарным государством, находясь в сложных отношениях с олигархией.

Внутриукладные конфликты

Немалое значение для судеб общества имеют внутренние конфликты, стремление к сговору внутри каждого слоя, опять прежде всего внутри каждой элиты. Естественно, чем острее внутригрупповые конфликты, тем

слабее позиции уклада в его борьбе за расширение своих позиций в стране.

Для тех, кто стремится к господству либерального уклада и законности с ним связанной, внутренние конфликты среди олигархов и преступников являются скорее положительным явлением. Во всяком случае россиянам очевидно, что дела в средствах массовой информации были бы совсем не важны, если бы олигархи не конфликтовали время от времени друг с другом. Солидарность олигархов весной и летом 1996 была прямой угрозой демократии в стране. Вести о криминальных разборках тоже вряд ли огорчают граждан.

Динамика межукладных и внутриукладных конфликтов будет детерминировать в значительной степени судьбу российского общества и, конечно, его экономики. Однако, поскольку множество других факторов влияет на экономический процесс, нельзя исключить (хотя это не очень вероятно) экономический рост в ближайшие десятилетия, как это было в странах Латинской Америки или в Италии с их сильной олигархией и преступным миром.

Почему россияне пессимистичны?

Как это ни парадоксально звучит, рядовые россияне также смотрят на свое общество как состоящее из четырех автономных сегментов. Они регулярно рассматривают и оценивают дела Кремля, хозяев банков, Государственной Думы и, конечно, преступного мира. И это в значительной степени объясняет их глубинный пессимизм, несмотря на то, что многие из них (по данным ВЦИОМА — до двух третей) хотя бы частично приспособились как-то к новой жизни.

Прежде всего россияне почти демонизируют силу олигархов и чрезвычайно пессимистичны относительно роли олигархов в обществе. Они считают, что последние мало что (если вообще что-нибудь) делают для экономического процветания страны и его населения. Они считают, что олигархи и коррумпированные ими

чиновники всех уровней вывозят свои огромные капиталы за границу, предпочитая не инвестировать их в отечественное производство. Население исходит из того, что олигархия (равно как и российский слабый авторитаризм) не беспокоены престижем страны, состоянием армии, науки, образования и культуры, также как и здоровьем населения.

Вместе с тем, большинство населения уверено, что господство союза олигархов и чиновников — надолго. Опрос фонда «Общественное мнение», проведенный в 1997 году, показал, что 77% населения убеждено, что «коррупция будет продолжаться в обозримом будущем».

Между 1989 и 1993 годами наиболее молодые и образованные российские либералы рассматривали господство либерального уклада, т.е. либерального капитализма как наилучшую альтернативу для страны. Сегодня большинство из них уже так не думает. Нельзя сказать, что все они разочаровались непосредственно в западной модели. Скорее, они считают, что эта модель не работает в России.

В политическом климате, где олигархи, коррумпированные чиновники и преступники правят бал, мало кто из россиян может поверить в идею «второй либеральной революции», которая уже началась, как пытались представить некоторые сторонники ельцинского режима с появлением Бориса Немцова в правительстве.

В августе 1997 года, согласно опросу фонда «Общественное мнение», 67% россиян не верили, что новое правительство сможет преодолеть экономический кризис.

Из-за многочисленных почти непреодолимых трудностей, возникших в процессе осуществления либерального проекта, многие жители страны вновь готовы обратить свои взоры к авторитарной альтернативе. Это не означает, что они согласны на любой авторитарный режим взамен ельцинского. Россияне хотят эффективное государство, играющее конструктивную, регулирующую роль во всех сферах социальной жизни. Согласно опросам ВЦИОМ 1996 и 1997 годов, 80% опрошенных были готовы отказаться от некоторых из своих политических свобод ради сильного, эффективно действующего государ-

ства. Не должно вызывать удивления, что эта тенденция регресса к идеалам социализма усилилась в течение прошлого года. Число тех, кто предпочитает социализм капитализму — около 50%. Только одна треть предпочитает западную модель.

Конечно, многие россияне знают, что даже «эффективный» авторитаризм в социалистических или агрессивно националистических формах еще хуже, чем демократия. Они также понимают, что регулируемая экономика не может конкурировать с рыночной, но, подобно Гоббсу, предполагают, что даже деспотический порядок лучше для экономики и всех других сфер социальной жизни, чем анархия и преступность.

Однако многие сомневаются, что сильное и эффективное авторитарное государство сейчас возможно в России. Даже те, кто регулярно голосует за коммунистов, не думают, что последние способны его построить. Они также весьма скептически по отношению к умеренным националистам вроде генерала Лебеда, и считают, что тот вряд ли сможет претворить свои обещания в жизнь.

Экзистенциальный пессимизм наряду с ежедневным оптимизмом

Для российского сознания сегодня характерен глубокий экзистенциальный пессимизм, не имеющий частой прямой связи с ежедневной бытовой жизнью.

В конце концов, большинство российских граждан на удивление мира сумели приспособиться жить, даже не получая регулярно зарплаты и пенсии. И не удивительно, что свое положение, как показали исследования Юрия Левады, они оценивают существенно лучше, чем положение страны. 45 процентов россиян оценили в мае 1997 года материальное положение своей семьи как «среднее или хорошее», а вот экономическое положение страны как среднее или хорошее оценило только 16 процентов.

Последний пессимистический сдвиг наступил после выборов в июле 1996 года, когда произошел сильный всплеск оптимизма и веры, что Кремль объявит реальную, а не показную войну олигархии и преступности.

Тогда 37% опрошенных фондом «Общественное мнение» полагали, что жизнь в России станет лучше, и только 16% подозревали, что она ухудшится.

В феврале 1997 об относительном улучшении жизни говорили уже только 7%, тогда как 59% сообщили противоположное. В мае того же года та же самая социологическая служба обнаружила, что только 17% россиян можно отнести к «оптимистам». «Пессимистов» же почти две трети (64%).

Хотя большая часть населения видит будущее в мрачных тонах, все же в нем есть и оптимисты, и пессимисты. Между 1992 и 1993 годами пессимисты предсказывали, что либеральный капитализм в России победит не ранее, чем через пять-десять лет. Оптимисты настаивали, что переход к либеральному капитализму мог бы совершиться минимум за 500 дней и максимум за два-три года.

Сегодня оптимистами можно назвать тех, кто верит, что нынешняя ситуация, к которой они уже приспособились, сохранится неопределенно долго, вплоть до начала ощутимого экономического роста, который может начаться чуть ли не завтра. Но и они считают, что «нормальное» общество сумеет сложиться за два-три десятилетия.

Сегодняшние же пессимисты убеждены в неминимости различного рода катастроф. И опять-таки эта вера в катастрофы не должна быть интерпретирована буквально: вряд ли большинство респондентов ждут буквально завтра те или иные ужасы, на которые они ссылаются в опросах. Скорее это опять-таки отражения глубинной тоски и уныния от жизни в обществе, которое лишено радостной перспективы.

По данным проведенного нами в 1996 году всероссийского исследования (объединенный проект Университета штата Мичиган в Ист-Лансинге и Института социологии РАН в Москве) 70% россиян боялись обнищания; 67% — безработицы, 66% — криминализации общества; 55% — коррумпированной бюрократии.

Русские интеллектуалы даже более пессимистичны, чем массы. Наш анализ тысячи российских статей (либеральных и консервативных), опубликованных между октябрём 1996 и июнем 1997 года, привел нас к убеждению, что 80% авторов могут быть классифицированы как «пессимисты».

Заключение

Сегодня россияне определились в своем убеждении, что нынешний баланс сил будет с теми или иными отклонениями сохраняться много лет. Однако они не исключают потенциальных возможностей коммунистов и националистов захватить власть и восстановить деспотическое государство, используя среди прочего и глубокий конфликт между армией и Кремлем. Другие предсказывают, что власть в стране будет у преступных банд уже через несколько лет. Эти три альтернативы деморализующе действуют на население и рождают у него чувства глубокого упадка духа.

Возможно, что пессимисты в отношении возможностей общества приблизиться к тому состоянию, когда будет господствовать либеральный сектор и не правы. Возможно, не правы те, кто уверен, что либеральная, западная модель для России пока не годится, что лучшее, на что она должна рассчитывать, это просвещенный и патриотический авторитаризм (который при минимальной роли либеральных институтов будет в состоянии постоянной войны с олигархическим и криминальным укладами). Но, может быть, шансы либеральной России взять верх над тремя другими «плохими» слоями не так уж малы, особенно если экономическое положение радикально улучшится. Многое, очень многое зависит от способности россиян, в том числе тех, кто занят на «рядовой» работе в авторитарном и олигархических слоях, способствовать усилению российской демократии и поддержать на выборах, вопреки давлению СМИ, честных политиков, преданных демократии.

В то же время Запад должен внести серьезные изменения в свою стратегию помощи России.

В настоящее время все усилия развитых демократий сконцентрированы на поддержке ельцинского режима, который рассматривается как наилучшая альтернатива. До некоторой степени это, может быть, и верно, но Запад должен гораздо энергичнее помочь россиянам бороться с силами, враждебными российской демократии, которые отнюдь не сводятся только к коммунистам и радикальным националистам, олигархам и преступникам.

ТАМАРА МАЙСКАЯ «КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и выстрадала» (А. Андреев «Новое русское слово»).

«Она приподнимает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы» (Майкл Эндрюз, д-р наук, проф. русского языка и литературы).

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

Tamara Mayskaya
11501 Mayfield Rd., No. 306
Cleveland, OH 44106, USA

Вместо предисловия

Два года назад увидела свет книга американского экономиста Ильи Ставинского «Капитализм сегодня, капитализм завтра». Заглядывая не в такое уж далекое будущее, автор рассматривает проблему общественного капитала, в который неизбежно преобразуется современный частный капитал.

Первый отклик пришел, откуда автор совсем не ожидал. Из Белого дома от Президента США: «Ваша поддержка, — писал президент, — очень много значит для меня в тот момент, когда я работаю над тем, чтоб двинуть нашу страну вперед».

Появились отклики на книгу во многих экономических изданиях Европы, Азии и даже Австралии. Особенно заинтересовались работой Ставинского в России, где она вышла в свет летом 1997 года, и пригласили самого автора прочесть лекции на эту тему, тем более, что он воспитанник экономического факультета Московского университета. В течение полутора месяцев его слушали студенты, ученые, практикующие экономисты.

Мнения российских ученых сформулировал доктор экономических наук профессор К. Хубиев в «Экономической газете» №24 за 1997 год. Ценность книги многие ученые экономисты, считает профессор Хубиев, видят не только в том, что И. Ставинский убедительно доказал неизбежность прихода современного капитализма к общественному капиталу и что «будущее, где предполагается образование общественного капитала, возникает и прорастает уже сегодня», а и в том, что «если признать логику анализа и выводы И. Ставинского, то той ветви экономической теории, которую сегодня называют собирательно неоклассической, не остается места. В самом деле, чем ей заниматься, если рост производительных сил и роботизация, стремительно повышающие производительность труда, опровергают закон убывающей отдачи ресурсов, а общественный капитал в своих рамках ликвидирует конкуренцию...»



Илья СТАВИНСКИЙ

БУДУЩЕЕ СОВРЕМЕННОГО КАПИТАЛИЗМА

Роботы сделают другой жизнь общества и человека

Не скрою, что меня задела статья миллиардера Джорджа Сороса, опубликованная в журнале «Атлантик Мантфли», хотя она отнюдь не явилась для меня сенсацией. Просто в его позиции увидел подтверждение своим выводам, к которым пришел давно и которые привели к разработке теории Общественного капитала и написанию книги «Капитализм сегодня, капитализм завтра».

Безусловно, Джордж Сорос прав, утверждая, что приходит время вмешательства государства в экономическую политику современного капитализма и особенно в механизм распределения богатства, которое все более и более концентрируется в руках немногих.

Утверждение Сороса, что распределение богатства в обществе развитого капитализма должно быть справедливым, свидетельствует, что он не только удачливый бизнесмен и талантливый финансист, но и дальновид-

ный политик, который понимает необходимость держать экономический баланс классовых интересов на более стабильном уровне, нежели он находится сейчас. От такой прогрессивной экономической политики государства выиграют все слои общества, включая богатых. Во всяком случае, они не проиграют.

Тут важно отказаться от стереотипов экономического мышления, сломать устоявшиеся консервативные традиции так называемой «классической экономической науки», сбросить шоры и всмотреться в неизбежное будущее капитализма.

Капиталистическое общество — живой организм. Оно не стоит на месте и не может стоять, как это считает «классическая экономическая наука», капитализм растет, развивается, движется вперед. Это поступательное движение можно искусственно задержать, но уже нельзя остановить, а поэтому ему необходимо придать ускорение.

До середины 50-х годов уходящего века богатство общества создавалось при непосредственном участии человека в производстве. С изобретением компьютера и роботов картина полностью меняется. Весь процесс производства может контролировать компьютер, а физический труд человека могут выполнять и уже выполняют роботы. Поэтому с ростом роботизации капиталистического производства рабочие теряют хорошо оплачиваемую работу, и армия безработных на Западе растет даже при нормальном ходе производства.

Министр труда США Роберт Рейх, анализируя экономическое положение страны, сказал, что сегодня экономика, при тесно связанном мировом рынке, может процветать, а компании давиться доходами, цены акций на биржах расти, однако многие люди лишены работы или заняты частично.

Заместитель директора французского института международных отношений Доменик Жаиси считает, что из всего происходящего сейчас в Европе безработица наиболее серьезная социальная проблема, и если в ближайшее время не будет найдено ее эффективное и

отвечающее времени решение, вся система может разрушиться. Безработица, считает он, доказательство того, что правительства не эффективны в проведении экономической политики.

В США за последние годы потеряли хорошо оплачиваемую работу более 4 миллионов человек, а на Западе, в условиях процветающей экономики, безработица достигает более десяти процентов.

Согласно выводам международной организации труда в высокоразвитых индустриальных странах 35 миллионов человек лишены работы. Это самое острое проявление кризиса безработицы со времен великой депрессии.

Известный специалист по роботам Джозеф Энгельбергер пишет, что отстранение рабочего от механической деятельности произойдет постепенно. Например, с момента начала механизации сельского хозяйства прошло около ста лет, пока число работников этой сферы человеческой деятельности сократилось с 47 % до 4 % от общего числа работающих. Другой ученый и писатель-фантаст Исаак Азимов говорит, что промышленная революция XVIII века, внедрив машинный способ изготовления массовой продукции, полностью вытеснила из производства труд ремесленника.

Теперь же, с внедрением в производство роботов, автоматических линий, мы движемся к автоматическим предприятиям — к заводам и фабрикам без рабочих.

Как же роботизация и автоматизация производства повлияют на безработицу? Какие меры необходимо предпринять, чтоб заблаговременно решить эту проблему, предотвратить сокрушительный удар кризиса?

Когда эти вопросы в начале 80 годов задали лауреату Нобелевской премии в области экономики Василию Леонтьеву, он ушел от прямого ответа.

Нет прямого ответа на эти вопросы и в книге известного американского историка Пола Кеннеди «Подготовка к XXI столетию». Однако он признает, что роботизация и автоматизация по своим последствиям сходны с промышленным переворотом, начавшимся в Англии в шестидесятых годах XVIII столетия.

А вопросы эти на самом деле труднейшие. Повлияет ли роботизация и автоматизация производства и как повлияет на отношения между трудом и капиталом? Ухудшит или улучшит жизненные условия работающего населения? Изменится ли и как изменится организационная структура капиталистической экономики?

Ответить на эти вопросы можно лишь, проследив логику развития явлений, вызываемых роботизацией и автоматизацией современного производства.

Ни одно технологическое достижение не оказало и не окажет в дальнейшем такого всеобъемлющего влияния на рынок труда, на социальные изменения и уровень жизни работающей части населения, как вторжение роботов в производство товаров потребления. Их несомненная экономическая выгода рано или поздно приведет к полной роботизации капиталистического производства. Как только цены на производство роботов значительно упадут, никакой даже самый дешевый труд рабочих не сможет конкурировать с высокой производительностью одного робота и по количеству и по качеству производимого товара. Использование дешевого труда потеряет всякий смысл. Роботы, выкидывая человека из производства, станут выполнять его функции в десятки раз быстрее и качественно выше.

По этой причине прекратится миграция капиталов из развитых капиталистических стран в страны с дешевой рабочей силой, что наблюдается сегодня. Это станет экономически невыгодным.

Можно искусственно задержать развитие индустрии роботов, но не надолго. Очень скоро обнаружится, что это экономически невыгодно. А в капиталистическом производстве все решает именно экономическая выгода, прибыль. Технический и технологический прогресс не остановить, как не остановить работу творческой мысли. Участие человека в непосредственном производстве становится тормозом не только в его развитии, но и в развитии производительных сил общества.

Интенсивность труда человека на конвейере не беспредельна. Даже сегодня максимальные возможности

человека значительно ниже минимальных возможностей робота. А технологическое совершенствование практически приведет к неограниченным производительным возможностям роботов. В то же время потенциал живого человека, ограниченный его физическими возможностями, иссякнет, угрожая его здоровью. И разрыв в количественных и качественных показателях производительности труда между человеком и роботом будет постоянно расти.

Средняя цена современного робота — 50 тысяч долларов. Когда же они будут стоить 10 тысяч, а то и меньше, то станут доступны средним и мелким компаниям. А именно там сегодня сосредоточена дешевая рабочая сила. Массовое производство роботов (а такое неизбежно, к этому идем) приведет к тому, что они войдут в нашу жизнь как телевизоры, автомобили, компьютеры, бытовая техника. Сегодня, например, только уходящее поколение помнит о тяжелом и дешевом труде прачек в прачечных. На глазах только одного поколения возникли и исчезли самые совершенные пищевые машинки, их заменил компьютер. На наших глазах исчезает телеграф с сотнями тысяч обученных работников.

Итак, роботы неизбежно вытеснят из производства десятки миллионов рабочих, безработица станет расти не по дням, а по часам. И вот тут массовое производство товаров потребления столкнется с низкой покупательной способностью безработного населения. Рынок окажется затоваренным, невостребованным. Возникнет кризисная ситуация. Выйти из нее старыми экономическими методами — снижение налогов на прибыль, сокращение процентных ставок, создание дешевых работ — уже будет нельзя, они не сработают: нет прибыли, никому не нужна малопроизводительная рабочая сила.

Прогрессирующая роботизация принудит общество принять новые правила капиталистической игры. Чтобы сократить безработицу, сохранить классовый баланс между предпринимателями и работниками, государству придется пойти на сокращение рабочего дня и пенсионного возраста. Таким образом часть безработных ста-

нет пенсионерами, а часть — займет высвободившиеся часы.

Изобразим это на конкретном примере. В 1991 году США содержали более сорока с половиной миллионов пенсионеров по старости и инвалидности, при среднем размере пенсии — 688 долларов в месяц. Общий пенсионный фонд был 306 миллиардов долларов, что составляло 10,5% от всей заработной платы работающего населения страны.

Сокращение пенсионного возраста с 65 до 55 лет привело бы к увеличению пенсионного фонда на 3,3%, но сократило бы безработицу на 9,38%. А сокращение рабочего дня с 8 часов до 6 и равномерное распределение труда привело бы к сокращению безработицы еще на 6,8%. Кто выиграл и кто проиграл бы от этого? Разве сокращение рабочего дня и пенсионного возраста подрывают экономические основы капиталистического общества и делают богатых менее богатыми? Отнюдь нет.

Заглянем в историю. При переходе от рабского труда к феодальному рабочий день крестьянина сократился, но феодал стал при этом значительно богаче рабовладельца, а жизненный уровень работника повысился. Замена феодальной экономической системы капиталистической привела к дальнейшему сокращению рабочего дня с 12 часов до 8, однако капиталисты стали еще богаче, а жизненные условия наемного рабочего несоизмеримо выросли.

В конечном счете роботизация и автоматизация производства приведут к сокращению рабочего дня до 2-4 часов, а пенсионного возраста — до 35-40 лет.

Ликвидация безработицы, сокращение рабочего дня, снижение пенсионного возраста — это социальные изменения, вызванные роботизацией, но не менее значительные экономические последствия. Поговорим о них.

На заре капитализма кризисы наступали каждые 12 лет, потом — каждые 10 лет, 8, 6... Сокращение разрывов между кризисами связано с ростом производительности труда, в результате чего происходит более быстрое насыщение платежеспособного рынка. Если допус-

тить, что в результате полной роботизации и автоматизации производства в капиталистическом обществе выросла в сотни раз производительность труда, в сравнении с нынешней, то кризисы будут наступать через год, а то и через несколько месяцев. В этом случае производство прибыли теряет экономический смысл, потому что капиталистическое производство в таких условиях никогда не выйдет из кризисного состояния.

Рассмотрим это гипотетическое положение на примере трех автомобильных компаний. Каждая из них сможет производить до 100 миллионов машин в год. Но годовая потребность рынка — всего 60 миллионов машин. Она может быть удовлетворена за 2 месяца, и все три компании вынуждены будут остановить производство на 10 месяцев. Между тем такая же ситуация сложится и в других отраслях роботизированных производств, выпускающих на рынок предметы долгосрочного потребления — телевизоры, холодильники, дома, компьютеры. Таким образом, создается перманентный экономический кризис, выход из которого невозможен. Да, невозможен, но только в том случае, если использовать старые правила капиталистической игры.

При нынешней капиталистической системе преодоление кризиса начинается с момента замены устаревшего оборудования на более современное. Капиталист намерен вернуть свои затраты на вложенный капитал через 3-4 года при пятилетнем экономическом цикле. Однако при роботизированном производстве это теряет экономический смысл, потому что оборудование, которое удовлетворило потребности рынка за два месяца — самое новое, само совершенное, заменять его на такое же — бессмысленно.

Экономическая роль кризисов в том, чтобы вынудить капиталиста, в борьбе с конкурентами, поднимать производительность труда путем замены старого оборудования на более совершенное. При постоянно очень высокой производительности труда в такой замене нет необходимости, и историческая роль экономических кризисов окажется сыгранной.

Вот в этот момент на смену частному капиталу и придет общественный капитал. Он принесет с собой новую организацию капиталистического производства.

Представим себе, что мировой капитал создал Всемирный экономический совет для совместных поисков путей выхода из описанной выше кризисной ситуации. Ведь она распространится на все страны развитого капитала, охватит мировой рынок товаров широкого потребления. Выступают видные экономисты, капиталисты, представители комитетов и прочих специально созданных консультативных организаций. Однако, десятилетиями воспитываемые на экономике классического капитализма, находясь в плену традиций, штампов, проверенных приемов и методов выхода из кризиса, они не в состоянии выдать новые идеи. Любое предложение тут же опровергается расчетами. И когда, казалось, все мысли исчерпаны, на кафедре поднялся представитель группы молодых удачливых капиталистов. Наконец-то его согласились выслушать. Вот, о чем он мог бы повести речь...

— Нынешний экономический кризис — это отнюдь не кризис капиталистического способа производства, капиталистической системы, это кризис современной капиталистической экономики. Пришло время модифицировать наши с вами правила игры. И на сей раз изменения должны коснуться не человека, работающего на нас, а только нас с вами, людей, получающих прибыль с капитала. Очевидно, что очередное сокращение рабочего дня — это палочка-выручалочка, которой мы пользовались в течение последних 70 лет, как только возникал очередной кризис — проблему не решит. Да и сокращать уже некуда. Обновлять оборудование, вкладывать капитал в более производительное — вторая палочка-выручалочка — бессмысленно и с экономической, и с логической точек зрения. Мы еще не вернули деньги, вложенные в модернизацию, выходя из предыдущего кризиса. Когда перепроизводство товаров наступает через несколько месяцев, наша прибыль не работает, не возвращает капитал, вложенный в модернизацию.

Такова реальность, перед которой нас поставили традиционные правила игры. Выход только один — менять правила.

Сегодня в каждой отрасли производства товаров потребления действуют 3-5 компаний. Каждая из них располагает производительной мощностью, достаточной, чтобы полностью удовлетворить два-три современных мировых рынка. Решение напрашивается само собой: приостановить производство предметов потребления, которыми рынок удовлетворен полностью, на которые нет сегодня спроса, и вновь предложить эти товары рынку, когда на них появится спрос, может быть, через два-три года. Одновременно на такой же срок необходимо остановить и производство модернизированного оборудования для остановленных предприятий. Ничего нового в таком решении нет. Спрос рождает предложение — одно из правил капиталистического производства. Мы про него забыли. Продолжаем предлагать то, что никто не спрашивает.

В связи с остановкой производства ряда предметов потребления и соответствующего оборудования для них, мы не будем вкладывать капитал в модернизацию этих производств. Естественно, владельцы остановленных производств перестанут получать прибыль. По нашим прикидкам останутся функционировать и получать прибыль от продажи предметов потребления только 20% капитала. Такое «воздержание» от прибыли предполагается распределить так, чтобы в первый год остановки производства одна группа капиталистов не получала прибыль, во второй год — другая и через три года — третья.

Однако естественно, что никто из нас не согласится получать прибыль раз в три года, не говоря уже о тех предпринимателях, которые вложили капитал в производство новых роботов и автоматов. Ведь они станут получать прибыль даже реже основных производителей, не через три года, а примерно через 5 лет, когда возникнет необходимость модернизации производства.

До сих пор капитал нас учил, что не имеет значения,

в какую отрасль он вложен, он в равном положении со всеми другими и заслуживает одинаковой прибыли. Что вполне справедливо. Поэтому, чтобы соблюсти эту справедливость, следует разделить всю годовую прибыль, полученную в стране от продажи предметов потребления, между всеми капиталами, независимо от того, функционировал он в этом году или нет. И тогда прибыль станет получать весь капитал ежегодно, пропорционально его размерам.

Но если согласиться с логикой предлагаемого решения кризисной проблемы, то следует согласиться и с логикой следствия, вытекающего из такого решения. А логика в том, что каждый из нас перестает быть собственником только своего капитала и становится совладельцем всего частного капитала общества, который таким образом превращается в «Общественный капитал».

Все наши акции превращаются в акции общественно-го капитала и сохраняют свою реальную стоимость на акционерной бирже. Пропорционально этой стоимости и будет распределяться прибыль, получаемая теперь уже общественным капиталом от реализации произведенных им предметов потребления.

Однако цель всякого капитала — частного ли, общественного ли — прибыль, прибыль и еще раз прибыль во все возрастающих размерах. Так было, так есть, так будет, пока существует капитализм. Только эпицентр извлечения прибыли из всех отраслей промышленного производства переносится исключительно в производство предметов потребления. Нас не должно волновать, где капитал приносит прибыль, лишь бы приносил и делал нас богаче.

Так весьма кратко может быть представлена идея перехода от частного капитала к общественному. В общем-то ничего нового молодой бизнесмен не предложил. Он просто проследил путь развития частного капитала и довел его до логического конца, за которым наступал новый этап развития экономической системы — превращение частного капитала в общественный.

Главную роль в управлении процессом производства

в масштабах всей страны возьмет на себя менеджмент, созданный по образцу совета директоров корпораций. Он может избираться владельцами акций по принципу «одна акция — один голос». Поэтому богатые — а именно они и владеют контрольным пакетом акций — как и прежде, будут контролировать работу капитала, только теперь уже общественного.

С ростом производительности труда постоянно будет расти количество предметов потребления, следовательно пропорционально этому станет возрастать и покупательная способность денег. В результате материальное благополучие богатых тоже будет расти. Но одновременно будет пропорционально улучшаться жизнь работающей части населения. Страх нового кризиса, страх безработицы, потерять средства к существованию, как дамоклов меч висел над миллионами тружеников несколько столетий. Общественный капитал уберет этот меч навсегда.

Безусловно, велика роль государства в стимулировании перехода к общественному капиталу. Законодательные акты должны поощрять роботизацию производства, чтобы повышать производительность труда и тем самым производительность самого капитала. Налоговая политика должна быть гибкой, дифференцированной. Налог на прибыли, производство которых не имеет прямого отношения к увеличению материальных благ общества, должен быть значительно выше производящих предметы потребления. Имеются в виду казино, игорные дома, спекуляция ценными бумагами, земель, домами. Это производство капитала, хотя и законное, но не приносит никакой выгоды обществу, никак его не обогащает, а посему государству и надлежит взимать с него особо высокий налог.

Государство определяет продолжительность рабочего дня, увеличивает продолжительность оплачиваемых отпусков, предоставляемых компаниями, сокращает возраст выхода на пенсию и создает пенсионный фонд. Такие фонды ни при каких обстоятельствах неприкосновенны для компаний.

Конечно, представители мелких компаний станут упираться. Они не имеют достаточного капитала, чтобы при регулярной модернизации производства, сокращении рабочего дня, постоянном повышении зарплаты работникам получать высокую прибыль. Им будет угрожать банкротство. И вот здесь законодательная власть должна обеспечить таким компаниям безубыточный переход в систему общественного капитала. Современному капиталистическому обществу не нужен такой бизнес, где прибыль получают допотопными методами и не могут создать своим работникам нормальных условий жизни, достигнутых в стране. Если компания хочет остаться в бизнесе, она должна соответствовать требованиям современного производства. Прежде всего — обеспечить высокую производительность труда и высокий уровень жизни своим работникам.

Таким образом, увеличение налога на прибыль капиталов и улучшение жизненных условий работников страны — безотносительно к профессиям, образованию, доходам — ставят экономические пределы, ниже которых капитал опуститься не может, если собирается получать прибыль. Это обстоятельство вынуждает его увеличивать производительность труда. Такая прогрессивная политика государства отбирает у богатых официальную лицензию делать деньги, грабя своих работников, и выдает разрешение только на производство прибыли через увеличение реального богатства всего общества.

Утопия ли все сказанное? — Нет. Логический финал развития частного капитала, когда выигрывают все члены общества. Впрочем, время покажет. И не так-то уж долго ждать.

Человек мечтал полететь, как птица —
и он полетел.

Человек мечтал долететь до Луны —
и он долетел.

Человек мечтает прийти к счастью —
да будет благословен его путь...

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н.М.Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки направлять по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605



Иосиф КОСИНСКИЙ

ВЫРОЖДЕНИЕ ФАНТОМА

О книге Владимира Буковского «Московский процесс»*

Не секрет, что тоталитарная власть держалась на трех столпах, прозорливо предсказанных еще Достоевским: чудо, тайна, авторитет. Большевикам удалось-таки заставить народ уверовать прежде всего в сотворение ими чуда («от России лапотной — к России индустриальной; от сохи и лучины — к трактору и лампочке Ильича; от темноты и забитости — ко всеобщей грамотности; от вопиющей социальной несправедливости — ко всеобщим свободе и равенству» и т.д.). Авторитет? — Что ж, их власть, действительно, выглядела и легитимной, и несокрушимой, и авторитетной для подавляющего большинства подсоветского населения и даже для... «мирового империализма». И, наконец, тайна, великая и всеобъемлющая, государственная, партийная и воен-

ная и персональная, когда речь могла зайти об их вождях и их жертвах, — разве не царила она на протяжении всех семи десятилетий, отпущенных им историей?

Итак, налицо все неперенные слагаемые триады. Все остальное — перманентный невиданный в истории человечества террор (на заре — потопление барж с заложниками, на закате — тыканье неугодных отравленным зонтиком), разнузданная, истерическая пропаганда, монополия на истолкование и осмысление истории, на трактовку вообще всего и вся, и подкуп разобщенной интеллигенции, и подачки «полезным идиотам» на Западе, и поставки оружия «национально-освободительным движениям» в «третьем мире», — было лишь производным от трех идеологических краеугольных камней режима.

Все эти три главные слагаемые — и одновременно многие из производных — подверг не столько анализу, сколько разоблачению в своей новой книге выдающийся русский правозащитник Владимир Буковский.

Коммунизм для него — такая же чума, как фашизм, если не худшая, — ибо Гитлер, как известно, обещал своему народу, полураздавленному Версалем, «всего лишь» тысячелетнее царство, а коммунисты замахнулись на все будущее человечества — их царству вообще не предполагалось конца.

А крахнули — едва дотянув до седьмого десятка. Крах не был вызван ни военным разгромом, ни вмешательством каких-то высших сил, — но ему предшествовала закономерная и неуклонная деградация режима. Ей и посвящена в значительной мере книга Буковского.

Поэтому так обильно цитируются автором протоколы бесчисленных «кремлевских мудрецов» — брежневского и послебрежневского Политбюро, еще недавно сверхсекретные.

«У меня на столе гряда бумаг, тысячи три страниц с пометками «совершенно секретно», «особая папка», «особой важности», «лично». С виду они все одинаковы: наверху справа, как бы в насмешку, лозунг: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!.. Ниже — крупными буквами через всю страни-

* Париж — Москва. «Русская мысль» — Издательство «МИК». Редактор Наталья Горбаневская. 1996. 526 стр.

цу: «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ. Далее — шифры, коды, число, список тех, кто принял решение, «голосовал вкруговую», поставив свою закорючку, и тех, кому решение направлено на исполнение. Но даже они, исполнявшие это решение, права видеть весь документ не удостоивались. Они получали «выписку из протокола», о содержании которой не могли поведать миру ни устно, ни письменно».

Правда, «самые деликатные решения в Кремле вообще не документировались — в лучшем случае, лежит где-нибудь в архиве бумажка с загадочным постановлением Политбюро: Одобрить предложения т.т. ... Поручить т.т. ... информировать ЦК о проведении этих мероприятий. И гадай, какие такие мероприятия имеются в виду».

Это верно для всей истории режима. Нет следов разжигания ими революции в Германии в начале 20-х годов, а чуть позже, когда там сорвалось, — в Китае, об организации и осуществлении убийства Кирова или Троцкого, о тайном вывозе испанского золотого запаса, о попытке заключить сепаратный мир с Гитлером, когда осенью 41-го Сталин счел, что война им проиграна, — и о многом другом, вплоть до Польши и Афганистана — уже в 80-е.

На тайну своих замыслов и действий коммунисты полагались не в меньшей степени, придавали ей не меньшее значение, чем двум остальным слагаемым неперменной идеологической триады, составлявшей фундамент их власти над умами людей.

Но вот что любопытно: по мере вырождения режима деградировала и тайна его несколько затянувшегося существования. Столь пространно цитировать протоколы последних лет стоило разве лишь для того, чтобы продемонстрировать крайнее умственное убожество правившей верхушки: жалкое косноязычное бормотанье, мертвый партийный жаргон «вождей», изъяснения наперебой согласия и поддержки тому, что столь же вяло и неопределенно «выдал» генсек. Они еще не осознали полностью, что происходит, но интуитивно, похоже, уже чувствуют, как почва уходит у них из-под ног.

«В моем воображении, — пишет Буковский, — они рисовались коварными, всемогущими злодеями, — а при ближайшем

рассмотрении оказывались просто дураками. Полуобразованными, косноязычными, способными мыслить только при помощи клише из газеты «Правда».

Нынешняя эволюция коммунистической верхушки вполне закономерна:

«... Они раскололись при наступлении кризиса режима: в то время как меньшинство клинических идиотов продолжало маршировать под красными флагами, циничное большинство быстренько обратилось в «реформаторов», «демократов», «националистов», «рыночников».

В самом деле — открылись возможности не просто остаться на плаву, но еще и еще пограбить: как же было ими не воспользоваться?

Хуже всего пришлось, пожалуй, подсоветской интеллигенции. Она в значительной мере оказалась сегодня не у дел.

Мы жили, в сущности, в донельзя мистическом мире. В силу вполне закономерного историко-политического парадокса наши самозванные правители весьма скоро начали нуждаться даже не столько в мифологии (но и в ней тоже), сколько в самой настоящей мистике в обоснование самого их существования; в известном смысле — в той же религии, только более эклектичной. Как и религия в свое время, эта мистика-мифология энергично насаждалась сверху, принимая разнообразные, но, увы, столь знакомые из прежней истории России обличья: мистика всеведения, коим якобы обладали народные вожди — и в первую очередь, разумеется, Ленин, а после его смерти — Сталин; мистика высшей справедливости, сосредоточенной там же, на самой вершине государственной власти; мистика всенародного благоденствия и, соответственно, благодарности и ликования, будто бы охвативших страну («жить стало лучше, жить стало веселее!» — опять же Сталин); мистика «монолитного единения» народа и его «нерушимой сплоченности» вокруг правящей партии; мистика советского «экономического чуда», отсчитываемого едва ли не от нуля, — иначе оно не выглядело бы чудом; мистика

«всепобеждающего марксистско-ленинского учения» и «небывалого расцвета литературы и искусства»; и, наконец, позже других, — мистика всесветного отечественного «приоритета», превосходства и даже — мистика обыкновенной русской березки, привязанность к которой провозглашалась непрременной составляющей «советского патриотизма».

Интеллигенция не просто купилась на все эти приманки: именно она не за страх, а за совесть десятилетиями внедряла в «сознание масс» мифологию социализма. И все же, уделяя в своей книге так много места ее вине, Буковский ломится порой, что называется, в открытые двери. Большевицкий кнут и большевицкий пряник то и дело пускались в ход на протяжении многих десятилетий, — что ж удивляться тому, во что выродилась отечественная интеллигенция к концу режима? Удивительно скорее другое: что в этой среде продолжали появляться не просто инакомыслящие, но люди, вступавшие в открытую борьбу с антинародной властью. В целом же картина действительно удручающая, — отсюда беспощадный вывод Буковского:

«... Из всех социальных групп в СССР интеллигенция... была самой ссученной, самой прикормленной; и так, подобно профессору Зиновьеву, «предпочитала» советскую власть (всячески ее при том ругая)».

Да что там Зиновьев! Ведь даже и Синявский, отдавший советской тюрьме и лагеря, заявил напоследок: «У меня всегда были лишь стилистические разногласия с Советской властью».

«Это был просто тест на зрелость, — подытоживает Буковский, — который выдержали лишь немногие. Большинство осталось советским, как и было».

Однако ведь и в вообще в нашей многострадальной стране «большинство людей хотело верить советскому режиму — в силу ли идеологических симпатий, страха перед ядерной катастрофой, веры в «стабильность», в «прагматический подход», в Божий промысел и черт знает еще что». Китайскую агрессию, быть может?

«Не знали — верили — боялись»... «Верили — во что?»

— спрашивает Буковский. — В то, что режим незыблем? Что его хватит на вашу жизнь? Боялись — чего? Потерять свои привилегии, свое благополучие? Не знали — чего? Что от расплаты друг за дружку не спрячешься?»

Скорее всего — и то, и другое, и третье одновременно. Сила этой книги в том, что она бескомпромиссно называет вещи своими именами: низость — низостью, подлость — подлостью, предательство — предательством. Где бы это ни происходило — в пределах ли нашей страны или на Западе. Западные пособники коммунистического монстра выглядят, естественно, еще гаже: просто продажной швалью. А порой и безмозглой.

Всем нам памятли тучи профессиональных защитников мира, активистов защиты то ли колониальных наций, то ли идеи одностороннего разоружения, которые, не имея какого-либо определенного занятия, ездили с «форума» на «форум», заседали за столами президиумов и кормились на банкетах. Вся эта публика с крахом коммунизма лишилась не только главного источника существования, но, пожалуй, и смысла жизни, — разве что найдет себе других хозяев в мутноватых международных водах конца столетия.

Оказавшись на Западе, Буковский, многолетний узник советских тюрем, очень скоро обнаружил, что он — опасный политический экстремист в глазах не только всей этой компании коммунистических приспешников, но и здешней «интеллектуальной элиты», чуть ли не властителей дум европейского и американского «среднего класса» — ихней «образованщины». Интеллектуалы опасливо шарахаются от возмутителя спокойствия:

"Он звучит, как Солженицын..!"

Ага, попался! Поймали с поличным, на месте преступления... Я стал именоваться не иначе как «правым», да еще и «экстремистом». А как же не экстремист? Ведь я отвергаю умеренное улучшение коммунистической системы, не хочу даже социализма с человеческим лицом!»

Ему бубнят: «нет альтернативы детанту...» «Надо признавать политические реальности». Чисто коллаборантская позиция, — что ж, объективно эти западные уме-

ренные либералы и были коллаборантами, таковыми и войдут в историю второй половины 20-го века. Но при том — сугубо избирательными коллаборантами. Уж наверняка, живи они в 30-е или 40-е годы, никто из них не стал бы призывать к «сосуществованию» с нацизмом, к признанию гитлеровских «политических реальностей», — ведь отворачивались же они с величайшим негодованием в 70-е от южноафриканского режима с его политической апартеида.

«Представим себе, — саркастически замечает Буковский, — что вышел из тюрьмы Нельсон Мандела после длительной общественной кампании за его освобождение, и на первой же пресс-конференции ему задают вопрос:

— А как вы относитесь к апартеиду с человеческим лицом?

И очень недовольны, коли ни апартеид с человеческим лицом, ни «мирное сосуществование» с таковым Манделе не нравятся.

«Ну, экстремист, что с него взять»...

Вдобавок — «южноафриканские негры не имеют «традиций демократии» (т.е. попросту сказать — дикари), а стало быть, нельзя прямо так вот взять и отменить апартеид, но нужно его реформировать постепенно...

Даже вообразить себе такого в отношении Нельсона Манделы невозможно. И если бы нашелся хоть один отчаянный западный деятель, осмелившийся сказать такое, — конечно, не в лицо ему, этого и представить себе не могу, но хоть за глаза, хоть бы полунамеком, — враз исчез бы такой камикадзе с лица земли, испепеленный общественным негодованием. Иного названия ему бы не было в мире, кроме как расист, прислужник апартеида.

...А что такое апартеид по сравнению с коммунизмом? Так, мелкое местное недоразумение, никому, в сущности, за пределами Южной Африки, не угрожавшее. Ни ядерных ракет, ни танковых колонн не целил он в сердце Запада; не навязывался светлым будущим всему человечеству; не стремился к экспорту своей модели; не имел рьяных сторонников (тайных или явных) в каждом уголке мира».

По-видимому, действительно, как считает Солженицын, свободному миру раскрыть глаза на «реальный социализм» мог бы лишь собственный опыт знакомства с ним, с его бесчеловечной практикой («Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки!»).

Увы, за построениями Маркса не сразу проглядывалась перспектива ярма для всего человечества, воскрешения даже не феодального, а поистине египетского рабства. Поначалу и большевиков Запад мог принять всего лишь за удачливых авантюристов, обреченных на перерождение в «термидорианцев». Но ведь никто в западном благополучном мире не пожелал прислушаться к оценкам и предостережениям русских философов, политологов, публицистов, настойчиво предупреждавших: человечество столкнулось с новым для него явлением, несказанно зловещим и безмерно опасным. Предпочитали слушать «своих»: Бернарда Шоу, Лиона Фейхтвангера, этого... как его? — Уолтера Дюранти...

А между тем действительность выглядела чудовищно. Кучка бессовестных, беспринципных и ловких бандитов — ладно, назовем их международными бандитами, если это способно придать им хоть какую-то минимальную респектабельность*, — захватили огромную страну. Не Швейцарию, как в одно время планировал нашедший там приют Ленин, не Германию даже, вроде как бы созревшую для социализма, — нет, благодаря счастью для них стечению обстоятельств — колоссальную Россию. Захватили не просто легальную машину для бесконтрольного печатания денег, именуемую государством, — но куда больше: получили в руки могучее средство удовлетворения своей беспредельной похоти власти, ибо захват этот сулил им реализацию злодейской программы-максимум, с самого начала ничуть не скрываемой: подчинить себе назавтра весь мир.

* * *

Понимают ли хотя бы сегодня западные либералы, от какой опасности они спаслись и благодаря чему все же сорвался коммунистический заговор против человечества?

* Ведь и международный вор, уверенно действующий в купе трансевропейского экспресса, стоит в воровской иерархии куда выше какого-нибудь местного «домушника», «форточника» и уж тем более жалкого карманника — «щипача».

Похоже, не понимают, замечает Буковский, и, хуже того, не хотят это знать.

«Люди устали от напряжения «холодной войны», — говорят мне, — они больше не хотят слышать об этом. Они хотят просто жить, работать, отдыхать... и забыть обо всем этом кошмаре». «Слишком много коммунистических тайн появилось на рынке одновременно», — говорят другие. «Нужно подождать, пока это станет историей. Сейчас это еще политика», — объясняют третьи. Не знаю, меня эти теории не убеждают. Надо полагать, к 1945 году люди устали и от Второй мировой войны, и от нацизма не меньше, но это ничуть не помешало потоку книг, статей, кинофильмов. Напротив, возникла целая индустрия антифашистских произведений, что вполне понятно: потребность разобраться в своей недавней истории гораздо острее, нежели в истории отдаленной. Людям нужно понять смысл событий, участниками которых им пришлось быть, оценить оправданность своих жертв и усилий, сделать выводы в назидание потомкам. Это и попытка предотвратить повторение прошлых ошибок, и одновременно своего рода групповая терапия, помогающая залечить травмы пережитого.

Верно, вскрытие правды о недавних событиях — процесс всегда болезненный, часто приобретающий скандальный характер, поскольку действующие лица вчерашней драмы, как правило, еще живы, а иногда продолжают играть заметную роль в жизни своей страны. Но разве это соображение когда-либо удерживало прессу? Напротив, политический скандал, для кого-то смертельный, для прессы — всего лишь продукт питания, как змея для мангуста. Так почему же мангуст стал вдруг таким осторожным?»

Вместо того, чтобы сказать прямо, что у «мангуста» и самого рыльце в пушку, Буковский, к сожалению, медлит с ответом на собственный вопрос.

Казалось бы, параллель между коммунистическим и нацистским режимами красной нитью проходит по страницам книги, вот-вот подведет к расстановке неизбежных точек над «i». Но...

«Вскрыть пособников нацистских преступлений — святое дело, долг совести каждого, — иронизирует Буковский. — Но упаси Бог указать пальцем на коммуниста (не говоря уж о его пособнике), — это неприлично, это «охота на ведьм». Поразительное лицемерие! Как, когда позволили мы навязать себе эту ущербную мораль? Как ухитряется человечество жить столько десятилетий с раздвоенной совестью?»

Действительно, — «как и когда?». Но разве ответ так уж сложен? Или настолько уж одиозен?

Рискуя навлечь на себя громы и молнии, я позволю себе прямо и недвусмысленно сказать, в чем вижу действительную причину позорной двойственности, «раздвоения совести». Не только в том, что Германия проиграла войну с целым светом, а Советский Союз — хоть и вел ее, но непосредственно, на поле боя, не проиграл.

Кардинальных, всеопределяющих причин, мне думается, — две.

Первая. Просуществовав несравненно дольше «третьего рейха» и действуя намного коварнее, коммунистическая империя, в отличие от национал-социалистической, наплодила многие миллионы сторонников (прихлебателей, подкупленных, «агентов влияния», сифантов, да просто — зараженных, по выражению Буковского, вирусом капитулянтства) во всем мире, отнюдь не заинтересованных в разоблачении их связей с «империей зла» или пусть даже симпатий к ней.

Вторая. В разоблачении преступлений «третьего рейха», в том, чтобы они никогда впредь не повторились, в радикальном искоренении чудовищного нацистского зла была кровно заинтересована влиятельнейшая еврейская община держав-победительниц, прежде всего наиболее мощной из этих держав — Соединенных Штатов. К коммунистической идее, при всех издержках ее реализации, мировое еврейство относилось — и относится — кажется, иначе.

«Ведь мы, не слишком обременяя себя соображениями гуманности, — делится с читателем своим как бы недоумением Буковский, — продолжаем ловить в джунглях Латинской Америки синильных старцев, совершивших свои злодеяния пятьдесят лет назад. Они — убийцы, им нет прощения. Мы гордо говорим друг другу: «Это не должно повториться! Никогда больше!» И наши глаза увлажняются благородной слезой. Но судить Хонеккера, по приказу которого совсем недавно убивали людей, — помилуйте, как можно? Это же не гуманно — старый, больной человек... И мы отпускаем его в джунгли Латинской Америки умирать в своей постели.

Такая вот всемирная финляндизация».

Финляндизация ли? Скорее, точнее — перекося, едва ли не всемирная деформация интеллигентского менталитета: склонность к приятию коммунистической доктрины. Антисемиты выводили ее из того, что, видите ли, Маркс был евреем; приплетались к такому толкованию и многие другие обстоятельства, которые, однако, были отнюдь не причиной, а всего лишь следствием (например, активность евреев в российской революции). Что касается меня, — полагаю, что первопричина лежит глубже — в древней, вечной и изначально еврейской мечте о конце истории — прекращении наконец-то беспощадного, несправедливого, кровавого исторического процесса. О наступлении рая здесь, на Земле. Рая, который обещали и путь к которому, сквозь все «тернии» и эксцессы, взялись пролагать именно коммунисты, не правда ли?

* * *

Так или иначе, вполне ясно уже, что новому Нюрнбергскому процессу не суждено состояться.

«Просматривая... документы ЦК, — пишет Буковский, — я просто поражался: практически любой из них можно было класть на стол суда...»

Можно бы, — да кто ж положит?

Западная политика в отношении СССР всегда была пассивной, оборонительной, констатирует Буковский. Что ж, он прав, — если исключить разве что того же Гитлера, решившегося все же на превентивную войну. В то же время его книга не дает однозначного ответа на главный сегодня вопрос: как же, несмотря на это, случилось, что по определению агрессивный, дерзкий и бескомпромиссный коммунистический молох, сработанный в расчете на вечность, развалился за исторически короткий срок и притом — в обстановке «мирного сосуществования», безо всякой войны?

Справедливости ради скажу, что книга в общем подводит к такому ответу. Буковский уделяет немалое внимание судьбоносным событиям 80-х в Польше и еще более драматическим — на другой границе «империи

зла», в Афганистане. И отдает должное твердой политике Рейгана и Тэтчер. Но главной причиной краха — что убедительно прослежено автором, — стало, повторю, неодолимое вырождение власти, поначалу бесшабашно оптимистичной, затем — государственно-безжалостной, еще далее — боязливо окостенелой, а под конец — совершенно уж маразматичной. Бездна что-то испортилось в центральном мозгу. Давно известно: рыба гниет с головы... Остальное — даже не вопрос времени, а просто — непреложная закономерность домино: начало сыпаться — и уж не удержать!

* * *

Анализ ельцинско-гайдаровско-черномырдинской экономической политики, данный Буковским напоследок и наскоро, в заключительной главе его книги, я вынужден оставить за рамками этой статьи: она и так уж получается чрезмерно пространной для журнальной рецензии. Скажу еще только, что убедительность и позиции, и аргументации Буковского усиливает, безусловно, язык книги, сопоставимой порой с разящим, «стреляющим» словом Солженицына.

При всем том... хотя и годы войны, и сталинский концлагерь, и весь опыт подсоветского существования сделали меня, наверное, не менее убежденным противником коммунизма, чем Буковский, и не меньшим радикалом, — однако да будет мне позволено напомнить ему мудрые и по-прежнему актуальные слова еще одного из «непримиримых» — покойного Аркадия Белинкова:

«Я не верю в добрых радикалов и нежных католиков, в целомудренных социалистов и в любезных республиканцев... Я верю только в оппозиционное равновесие сил, которое не дает разгуляться ни добрым, ни злым, ни целомудренным, ни любезным».

Великое счастье для мира, что он не стал советским подсоветским. Но не пожелаем ему и безоглядной американизации. Между тем, кто же не видит сегодня, что с крахом «Империи зла» равновесие в мире, пусть скверное, пусть неустойчивое, оказалось опасно нарушенным, и Буковский завершает свою книгу весьма

пессимистической главой, посвященной западной, очень далекой от совершенства, цивилизации и морали.

Единственное, пожалуй, в чем бы я хотел возразить автору этой на редкость своевременной книги: в оценке горбачевской «гласности» — а тем самым и личности Горбачева.

Насчет Хрущева, скажем, у нас еще могут быть вполне обоснованные сомнения: то ли он способствовал конечному краху коммунистической системы, то ли, напротив, своей «оттепелью» на какое-то время продлил ее существование. Но Горбачев, и никто иной (пускай вопреки своим убеждениям и намерениям) объективно оказался могильщиком советского, а тем самым и мирового коммунизма.

Да ведь и книгой своей Владимир Буковский обязан историческому перелому, который сам недальновидный генсек приветствовал словами: «Процесс пошел!..»

Тот самый «московский процесс», что дал название этой книге.



Дмитрий БЫКОВ

МОРКОВКА И КРЫСКА

*Пусть будет хоть памфлет, но я выскажусь.
Ф.М. Достоевский*

1.

Недавно включаю телевизор, лужковско-лысенковский «ТВ-Центр» (тот самый, на котором отъявленный антисемит и имперец Павел Горелов ведет регулярные шоу — а еще недавно разносил в статьях Бродского с Пастернаком и писал, что Цветаева правильно повесилась), — так вот, включаю «Центр» и вижу наше старое кино. Я его теперь везде вижу. Титры только что проплыли, названия не видал. По привычке пытаюсь угадать дату: черно-белое, широкоэкранный, начинается с утреннего шествия граждан на работу («Город двинулся в будничной свой поход» — шум, шарканье, настроение бодрое, звучит ласковая баритональная песня). Ну, думаю, раз ласковая баритональная, а не бодрая хоровая,

то это точно середина шестидесятых годов. Тем более что сразу же следует сцена в пластиночном магазине, а потом мальчик на стройке качает девочку на качелях. И мальчик такой угрюмый, хмурый, даже в процессе раскочки девочки, — что сразу ясно: положительный герой.

Если во Вселенной есть существо, которое я хотел бы убить изошренно, многократно, с особым цинизмом, то это советский положительный герой. Я расквасил бы ему нос, я оторвал бы ему уши (крепкие, маленькие уши положительного героя, принципиального борца, рабочей косточки), я сломал бы ему рабочую косточку, я оттаскал бы его за непокорные, ершистые, вихрастые вихры.

Я знаю все, что с ним будет. Сейчас у него умрет отец, и он со школьной скамьи пойдет на завод, а в свободное от работы время будет содержать маленькую сестру. Готовить ей обед, готовить с ней уроки. Пища его будет молоко и булка. Особенно же он будет любить кефир. Он будет по праздникам себе его позволять. Он будет, конечно, курить, но ровно столько, чтобы не слишком тратить рабочее время; и говорить он будет мало, отрывисто, себе под нос, — потому что разве может положительный герой излагать свои мысли плавно, ясно, без стеснения? Если он говорит много и с улыбкой, то сразу ясно, что он отрицательный герой, присвоивший себе чужую жилплощадь. Въехавший туда поперед батьки (батька с тремя детьми и больной жинкой — современная модификация штабс-капитана Снегирева по кличке Мочалка). Наш герой разоблачит отрицательного, взяв его рабочей рукой за грудки и буркнув в своей манере: «Врезать бы тебе!» Но не врежет.

А сестренка тем временем пойдет на ткацкую фабрику и увлечется мальчиком из золотой молодежи, который приучит ее к легкой жизни, поведет в ресторан, будет с понтом рассуждать об абстракционистах и Евтушенко, но потом попадет в кутузку за фарцу или шпионаж, и девушка вернется в лоно брата. И они поедут в Крым, а в Крыму, глядя на горы, угрюмый положительный брат буркнет: «Обойти бы все это, каждый уголок!» — такие люди никогда не ездят в автобусе, они непременно обходят каждый уголок и, найдя необойденный

уголок, еще раз шесть заставляют себя его обойти: воспитывают упорство.

Впрочем, если бы он, глядя на горы, буркнул «Врезать бы» — это меня тоже ничуть бы не удивило. И он еще в такой майке при этом, в такой пролетарской, из которой торчат бугристые плечи, — и в этой же майке он с сестрой будет сейчас сидеть в гостях у своих родственников. Тетка будет говорить — ты кушай, кушай, а дядька будет тоже положительный, Жженов, вообще почти не говорит, только «гм-гм» да «вот-вот», чисто Ленин в 1923 году, укатанный крутыми Горками. Тут я выключил, но подозреваю, что в финале морская даль, вся в бликах. У, сука, убил бы. Сколько от тебя натерпелся. Ты был моим одноклассником, моим вожатым, моим сержантом. Ты внушал мне необходимость страдать, смирять гордыню, ломать себя, ты был убежден, что все должно делаться через надрыв и пупочную грыжу, поперек себя, не как хочется и не как надо, а как максимально отвратительно. Своей идиотской принципиальностью ты навеки отбил у меня всякую охоту верить во что-нибудь до конца. Наделенный яркими, выпуклыми минусами и сомнительными, недоказуемыми плюсами (угрюмство, тупость, упрямство скрывают якобы сливочно-нежную душу), ты отравил мне первые двадцать лет жизни и вот вернулся, распевая старую песню о главном.

О своем рассветном городе, падла. О крепких плечах товарищей. О своей курносой щекастой девке с поросычьей косой. О заводском гудке, о босоногих плясках под дождем, о том, как молодой моряк приехал на побывку. О своей Родине, гадина, которая опять не моя.

2.

«Эстет и варвар вечно заодно», — писала Новелла Матвеева тридцать лет назад; сказано на века, так что на западном фронте без перемен. Я ничего удивительного не вижу в том, что большинство наших особо утонченных эстетов опочило в объятиях тоталитарной эстетики: Сорокин это предсказывал еще в «Тридцатой любви Марины», где довести эстеточку-диссиденточку до оргазма сумел только заводской партиец. Сорокин, говорят, сам кончает от Бабаевского. Дыховичный в «Прорве» и «Женской роли» подтвердил пристрастие современных постсоветских эстетов к тому, что им кажется grand style'м. Но самые клинические примеры — это Эрнст и Парфенов.

Вот возьмем Эрнста, да? Вторичные передачи делал, претенциозные, но по крайней мере информативные. Подозрительное началось, когда эстет, создатель «Матадора», с волшебной легкостью оставил возлюбленное творчество и переместился в начальники. Сам он, правда, утверждал, что это только новый вид творчества — манипулирование массовым сознанием. Телевизионный постмодернизм, сказал он. Интересные представления о творчестве.

И начался постмодернизм, то есть вместо обращения к элите, тусовке и прочей пене дней Эрнст со товарищи обратился к некоей абсолютно мифической прослойке, которая мыслилась ему как middle class. Допускаю, что в силу элитного происхождения и счастливо сложившейся биографии он никогда с этим классом не пересекался, имея о нем предельно мифологизированное представление — главным образом из нашего старого кино. Перечисление типажей много места не займет: мать-одиночка, растящая сына, который вечно ходит в клетчатой ковбойке, изобретает летающий самолет и в конце концов становится авиаконструктором. Глава рабочей династии, патриархальный пролетарий, над которым измывался еще Виктор Некрасов. Молодой очкастый ученый, много острит, играет в шахматы. Девушка с высокой прической в форме кукурузы, иногда в косынке, склонна увлекаться фарцовщиком, но потом в слезах возвращается к приплюснутому типу в промасленной кепчонке. Промасленный тип, изъясняющийся междометиями. Старорежимная коммунальная соседка с прононсом и манээрами. Олег Ефремов в роли водителя, Галина Волчек в роли медсестры.

Не было в русской истории более пошлого периода, чем советский, — перефразируя более жестокую формулировку любимого поэта, скажем: «Бывали хуже времена, но не было пошлей». В этом смысле тридцатые и шестидесятые отличаются незначительно: в массе своей это было советское искусство, организованное в соответствии с канонами, а канон был равно омерзителен у неистового Виссарионовича и у неосторожного

Никиты. Счастливый финал, действительность в революционном развитии, плоские, чисто функциональные характеры, покаяние заблудших, молчаливый триумф немногословных. Шестидесятые были даже хуже, потому что в них присутствовала размывающая, слюнявая слащавость, безоговорочно проигрывающая мрачной брутальности настоящего стиля вампир. Лучше профессиональный палач, чем сентиментальный: меньше мук. Советское кино шестидесятых годов — говорю не о вершинах вроде Тарковского, Шпаликова, Хуциева, но о массе, — было отвратительной розовой пошлятиной с устойчивыми символами и лейтмотивами, с цитатами, переходящими из картины в картину, с квазипоэтичностью и недоговоренностью, с умением изощренно и тонко угодить системе, а это в любом случае хуже, чем грубое и тупое угодничество малют скуратовых.

Ах, добродетели падение не ново —

Новее наблюдать, как низко пал порок, — писала тогда та же Матвеева, но кто ее слушал? Песенки все пели, а вдумываться в стихи тогда было не принято. Эстрада отучила.

Не бью шестидесятников, не ругаю их, ибо настоящие шестидесятники родились из противостояния этой тотальной холуйской пошлости, а не из следования духу времени. Тот ветер, наполнявший розовые паруса (на алые уже не хватало ни крови, ни краски), те слюни, наполнявшие кино, те рассветные улицы и скромные косыночки, рабочие паренки и робкие дивчины, ночное метро и бушующая зелень бульваров... да если вдуматься, и Шпаликов не просто так погиб, конец его был предопределен — именно неспособностью подняться над средой. Он из всех талантов шестидесятых годов был больше всего заражен дешевой романтикой, больше всего зависел от эпохи и кончился вместе с ней. И потому пошлятины у него хоть отбавляй — даже в таком прелестном сценарии, как «Я шагаю по Москве», а вершинными его достижениями навсегда останутся полные неподдельного отчаяния «Застава Ильича» и «Долгая счастливая жизнь».

Люди среднего класса проживают в коммунальной квартире и страшно ее любят. Им больше нечего вспомнить, кроме этой коммунальной квартиры. Она составляет смысл, суть их жизни, являет собою метафору страны, — и никогда этой жизни не пробовавшие мальчики начинают тридцать лет спустя распевать песенку про коммунальную страну, которая взалхлеб затоскует по общности, ОБЩНОСТИ, ОБЩНОСТИ любой ценой! Что такое реальная коммуналка с ее нравами — никто не вспомнит. Оно, конечно, что пройдет, то будет мило, — но какое отношение все это имеет к реальности? ОРТ, а потом и НТВ будут всю оперировать штампами — отсюда их постоянное обращение к какому-никакому, но ИСКУССТВУ того времени. А никак не к действительности.

За что я люблю Дмитрия Захарова и недолюбиваю Леонида Парфенова — человека, который блистательно начинал (видимо, в силу добротной провинциальной закваски) и до сих пор работает не в пример тоньше Эрнста? За то, что Захаров в своем «Веди» давал чистую хронику, как она есть. С дикторским текстом. И уж только потом немного комментировал сам. Журнал «Новости дня» в такой подаче вызывал не только умиление, но и ужас: процентов десять умиления, остальное доставалось ужасу. Парфенов же в новом «Намедни» монтирует хронику клипово, быстро, с комментарием, который пишет его команда (что в ней делает мой талантливейший ровесник Денис Горелов, ума не приложу). Комментарий этот — типично постмодернистский, то есть идеально обратимый: умиление готово в любой момент обернуться издевательством, а в результате получается промежуточный продукт, не имеющий к духу времени никакого отношения. Захарова интересовало время. Закадровый текст говорил о времени больше видеоряда. Парфенов работает не с реальностью, а с предельно опосредованным ее вариантом — со штампом. Он монтирует клише. Точно с такими же клише Эрнст и Парфенов имели дело в сиропных «Старых песнях о главном», но там еще хоть предполагалась возможность иронического прочтения. Мол, тетя Маня пусть всплакнет, ей позволительно, но мы-то с вами понимаем. И массе кусок кинули, и сами порадовались. В новых проектах Парфенова и Эрнста, посвященных Москве, иронии нет уже ни на грош — чистый торжествующий штамп, и это по-своему закономерно.

Когда пошлейшие современные исполнители поют пошлейшие хиты эпохи зрелого социализма — это вполне органично и никого не коробит: ну какая разница между «Зайкой моей» и «Москвой златоглавой»? И то, и другое — откровенный кич, ни на что другое не претендующий. А постмодернистов-манипуляторов роднит с манипуляторами сусловского типа именно заниженное представление о массе: она все схавает. «Наследство их из рода в роды — ярмо с гремушками да бич».

На словах они обожают народ, на деле суют ему ананас, гнилью моченый. Официоз, впрочем, тоже мало изменился: тогдашний застой ничем не отличается от нынешней стабилизации, тогдашняя пропаганда ничуть не тотальнее нынешней. И тогда, и теперь все одинаково гнусно — мы, однако, все чаще слышим, что хватит раскачивать лодку и пора быть благодарными за детство счастливое наше. День прошел — слава Богу, не убили. Жизнь властей окутана тайной, плодятся слухи и анекдоты, глава государства передвигается с трудом и говорит глупости, а народу подсадунта не то жвачка, не то соска, — все вместе называется постмодернизмом. Или стагнацией. Или гниением.

3.

О, конечно, конечно — пошлость пошлости рознь, и даже в потоке ностальгии, захлестнувшем отечественное ТВ, случаются образцы подлинного искусства. Например, «Старая квартира» Славкина и Гурвича. Но умиляться опять-таки не тянет, ибо в основе этой милой и трогательной программы — все тот же штамп, все то же опосредованное представление о реальности. Когда-то Алексей Герман произвел революцию в нашем кино именно тем, что стал показывать прошлое как оно было, без ностальгического флера — точно, жестко, честно. В «Старой квартире» господствует принцип милосердия памяти: память стирает все отвратительное и сохраняет все лучшее. О послевоенной Москве помнят то, что там были дворы и коммунальная общность. О шестидесятых — что были диспуты в Политех-

ническом. О семидесятых — что любили посидеть, попить, попеть. Откуда в этих семидесятых брался надрывный трагизм Трифонова, Авербаха, Высоцкого — непонятно.

Впрочем, семидесятые как-то меньше обыгрываются нынче. Ностальгия не идет дальше 1968 года. Объясняя, почему. После 1968 года актуальна стала экзистенциальная проблематика, голому человеку пришлось решать свои вопросы на голой земле, отдельно от поколения и государства. В семидесятые каждый был сам за себя, надо было серьезно думать и столь же серьезно выстраивать свои отношения с резко ожесточившейся системой. Общность разрушилась, коммуналки тоже стали расселять, — не поностальгируешь. В этом смысле семидесятые, может быть, стали лучшим временем для русской интеллигенции: Стругацкие, Искандер, Битов, Аксенов написали свои лучшие вещи именно тогда. А вот идиллия шестидесятых для ностальгии очень удобна — прежде всего китчевостью этого идиллического коктейля из Грина, комсомольских строк и НТР. И тоскуя по тем временам, стилиста Славкин жлет так же, как и стилист Эрнст.

Никогда я не любил стилижаества.

То есть себе Славкин, может быть, не жлет. Он тоскует, больно ему и сладко. Но пение в застольях и танцы во дворах — это крайне обедненный образ его молодости, тоже, кстати, далеко не столь безоблачной. Дворовые клочки и дворовые же паханы выглядят умирительно лишь с временной дистанции. Шестидесятые были временем повального конформизма, всеобщих надежд на счастливое сотрудничество с системой — субъективно все это было очень приятно, объективно очень противно. А еще в шестидесятые годы Россия в очередной раз ушла от ответа на главные свои вопросы — тоталитаризм ей годится или демократия, кнут или пряник, Восток или Запад... Межеумочное было время, и в этом смысле оно похоже на наше куда больше, чем железные тридцатые годы.

В сущности, «Старая квартира» — не что иное, как римейк

программы «В нашу гавань заходили корабли». Но в той программе постоянно наличествует ирония — по отношению к дворовой романтике, к полуграматным текстам, к убогому советскому представлению о пальмовых побережьях и золотистых пляжах... В «Старой квартире» ирония что-то уж очень глубоко запрятана. Господствует умиление. Зал набит несчастными людьми — несчастными уже потому, что немолодыми.

Берется, например, благодатнейший для анализа 1953 год. Тут уж и в аполитичной «Старой квартире» никак нельзя обойти тему похорон Сталина. Что делает «Старая квартира»? Приглашается Георгий Вайнер, рассказывает об аресте Берия (причем очень точно попадает в интонацию кухонного разговора об этом, и Гурвич специально спрашивает зал, кто что на эту тему слышал, — словно коллекционирует сплетни). Все это само по себе мило. Показывается хроника: внос Сталина в Мавзолей. Гурвич сообщает, что и русские, и евреи (о, эта милая объединительность! особенно понятная в устах ведущего со столь недвусмысленной внешностью) признают фразу из Библии: «Веникойси, долом лом никойси». Благодарим покорно, «Тяжелый песок» в трех засаленных номерах «Октября» читывали и мы. После чего начинается умирительный воспоминанс о свадьбах в дни послевоенные.

Господи, чего-чего нельзя было бы рассказать о пятьдесят третьем годе! Вехи-то были совсем не те: люди еще книжки читали. Была «Оттепель» Эренбурга. Была вознесенная и низвергнутая врач Тимашук, о чьей судьбе не худо было бы напомнить нынешним скотам, толпою жадною стоящим у трона. Были первые возвращения, был, наконец, знаменитый медицинский консилиум врачей-заключенных в каждом лагере, когда зэка собирали всех, обладающих хоть минимальными познаниями в медицине, и заставляли объяснять, что такое «дыхание Чейн-Стокса» (тогда же большинство советских людей впервые узнали, что у Сталина была моча). И после такого консилиума заключенные-врачи в предвидении скорых перемен выходили к замершим товарищам по несчастью со сладостным словом «Пиздец!»

Свидетельств об этом множество, и эта история по своему не менее трогательна, чем свадьба в коммуналке, с вносимым на сцену шампанским. Нет в программе облегчения, нет восторга близких перемен — ну нету! А ведь дух времени, в которое стали происходить не-

представимые вещи, — без этого немислим! Однако зачем нам напоминать о миллионах заключенных, шепотом скандировавших, по свидетельству Андрея Сивянского: «Ус — сдох! Ус — сдох!» — зачем помнить о таких страшных вещах? Это нарушает затхловатый уют нашей коммуналки. Не станем беречь чувства сталинистов, сидящих в зале, — хотя и самый упертый сталинист не может не помнить того гигантского облегчения, которое он испытал в марте пятьдесят третьего. Это он потом стал сталинистом. А тогда у него камень с души упал.

Вспоминать вторую русскую Ходынку, случившуюся на похоронах вождя, тоже никто не стал. Хотя Гурвич набрал полный зал людей, помнивших это — не политическое, а скорее уж именно что бытовое, но тем более жуткое событие. Не вспомнили. Бог вам судья. Давайте отделяться трюизмами, умилением и шампанским на сцене. Единственной правдой, единственным свидетельством воздуха времени будут случайно прорывающиеся фразы в устных мемуарах — типа «Я работала тогда в аппарате министерства сельскохозяйственного машиностроения»...

Для кого-то звучит музыкой.

Ведь это какую надо построить систему, чтобы она тебя трахала во все дыры, а на старости лет ты, лишенный всего, в том числе даже и такого своеобразного внимания со стороны властей, плакал по тем временам!

Лирическое отступление

Появилась интересная прослойка — предлагаю ее называть «новые добрые». «Старая квартира» — типичный представитель, особенно благодаря ее ведущему Гурвичу, с лица которого не сходит улыбка. Он еще во «Времечке» научился обывателя любить. Журнал «Столица» — тоже очень добрый. Вы ж наши хорошие. Вы ж наши родненькие. Мы ж вам сделаем.

Добрый графоман В. Панюшкин пишет предельно слюнявые тексты о своем плюшевом медвежонке, добрый наркоман И. Охлобыстин — о том, как он любит всю свою семью, не исключая тещи, и вообще основная

интонация журнала — захлебывающаяся, издевательская, никому ничего не стоящая доброта. Так разговаривают с дебилом. Точно с такой же интонацией Константин Эрнст некогда перед началом «Старых песен о главном» обратился к зрителю на фоне бархатной портьеры. Такой доброте, по идее, следовало бы ответно умиляться. Но почему-то обыватель ей как раз не умиляется, чувствуя фальшь. Умиляются сами эстеты. Друг на друга. Читают свою прессу, смотрят свою «Старую квартиру» и балдеют от собственной доброты. Богатые тоже плачут — от умиления. Богатому легко быть добрым.

Конец лирического отступления

4.

Я вечно шагаю не в ногу — это получается не нарочно. Просто в те семидесятые, в которые так хорошо было нашим новым телемэтрам, меня очень много били в школе, пока я не научился этого делать сам. А когда я с отшибленным коленом лежал у входа в класс после того, как меня в очередной раз отмузузили (не за стукачество, не бойтесь, я не стучал, а из чистого интереса — я был домашний, толстый и еще при этом огрызался), — так вот, когда я там лежал, одна девочка проходила мимо и сказала:

— Лежит, как свинья...

Точно те же слова в армии сказал один мальчик, когда прошиб моему сюрпризнику голову кирпичом, и тот упал. Тогда я этому мальчику в глаза сказал все, что о нем думаю. Он был старше меня по призыву на год, так что имел право после этого сделать мою жизнь невыносимой, а попутно еще и говорил:

— Быков! Когда я гляжу, как ты ходишь строевым, мне стыдно, что я москвич! Ты позоришь мой город!

Тогда я не мог его ударить, потому что как следует не умел драться. И вообще не очень себе представлял, как это — ударить человека. Но сегодня я бы в глотку ему вцепился. Я недавно его встретил в метро, и мне стоило больших усилий пройти мимо.

Дело в том, что подобный подход к городу — подход сугубо эстетский — в наше время возобладали. Вместо сострадания к тем, кому в этом городе живется невыносимо (а их пруд пруди), мы получаем брезгливую ненависть к ним. Один тут мальчик из золотой молодежи, модельер и сын модельера (а как они умудряются плодиться при своей ориентации?) — недавно давал интервью моему изданию и сказал, что запросто может пнуть бомжа, если тот воняет.

Я ненавижу образ лакированной Москвы — Москвы пятидесятых и шестидесятых, тридцатых, Москвы с куполами, колоколами, мостами, светофорами, Москвы всегда сусальной и всегда предельно жестокой, не верящей никаким слезам. Ведь и убийственный гротеск Валентина Черных «Москва слезам не верит» не был здесь прочитан и понят — вызвал умиление, стал культовым, даром что был точнейшей пародией на все то же наше старое кино со всеми его гнусными штампами.

«Лежит, как свинья» — это очень эстетски замечено. Это из той же серии, что гордость за свое московское происхождение при виде чьего-нибудь образцового хождения строевым шагом. Это очень недалеко ушло от национальной гордости — тоже базирующейся всегда на вещах внешних, ритуальных, символических и пр. Масса любит символы. Конечно, любой наш эстет, оправдываясь, начнет что-то говорить про Ортегу-и-Гассета, забывая о том, что Ортега-и-Гассет КОНСТАТИРОВАЛ такое положение вещей, но отнюдь не признал его прекрасным и вечным. Масса воспитуема. И если уж манипулировать ею, то так, как это делала программа «Взгляд». А теперь еще один шаг в сторону.

Когда модно было ругать шестидесятников, я этого не делал — по слову одного шестидесятника, «сто первым я не буду никогда». Я знаю, что это такое, когда все против тебя: самое страшное тут не количество синяков, а ощущение своей непоправимой неправоты, своей неуместности на свете, ведь не могут же все они быть не правы! Ведь не может же рота идти не в ногу, — сказал бы советский положительный герой, отправляя индиви-

дуалиста перевоспитываться на производство. Хор не может петь фальшиво, — я перестал уважать Жванецкого, когда он это написал на пластинке Розенбаума, и как раз после этой фразы остроумие его резко поблекло. Ничто на земле не проходит бесследно...

Так вот, я слова плохого не сказал о шестидесятниках, когда честный философ Галковский и бездарный гинеколог Лямпорт гнобили эту прослойку. Но сейчас, когда на шестидесятников вновь стали молиться, когда от политической цитаты из «Заставы Ильича» у меня возникает устойчивая тошнота, — я вынужден признать: хреновое было время, мелкие в массе своей были люди, не по чем там тосковать. Это вам не оттепель (1956 — 1961), это уже ее издержки и отрывки.

Самые честные шестидесятники сегодня либо резко отмежевываются от этой ностальгии, как Аксенов, либо молчат, как Вознесенский, либо умирают, как Окуджава. Не их время. На заискивания молодых волков, временно переодетых в овечье, их ответ — нет. Они знают, помнят, чувствуют, как все было тогда и как стало сейчас. Как трудно одиночке отстаивать свое право на свободу — и тогда, и теперь. Но есть другие шестидесятники, которые либо не хотят понимать, либо действительно не понимают, что происходит.

Вот Станислав Рассадин. Сегодня он на глазах превращается в один из символов духовности — это как бы конституировано Андреем Карауловым, подобострастно спрашивавшим его в «Моменте истины» о всяких разных вещах, но на самом деле об одном: Станислав Борисович, не слишком ли вы хороши для этой планеты? И Рассадин горестно кивал: слишком. Первые признаки эволюции Станислава Борисовича в сторону Фомы Опискина замаячили еще тогда, когда он стал сочинять статьи вроде «Тень, знай свое место» — где совершенно справедливо громил пузыри земли вроде Пригова, но в интонациях было нечто визгливое, уязвленное: словно Пригов на его, рассадинское место посягнул. Станислав Борисович стал решать, чему быть, а чему нельзя. В последнее время он договорился даже до того, что в статье с редкостно бестактным названием «Архипелаг Булат» одним запретил любить Окуджаву, а другим будто разрешил, но с оговорками. А на самом деле, конечно, он один умел понимать и любить, и был любим взаимно... до чего же тяжело было читать эту статью! Тяжело потому, что ведь Рассад-

дин — очень талантливый критик и безусловно порядочный человек. Вот только порядочность и честность, о которой он столько говорит, как-то в последнее время им понимаются своеобразно. Он столько писал о морали, о том, что нельзя творческому человеку ходить в бизнес, что пути назад нет, — я специально подсчитал, сколько раз слово «мораль» встречается в том самом номере «Новой газеты», где опубликован чужой подслушанный разговор. Цифра двузначная. И там же — очередная колонка Станислава Борисовича. Опять что-то о морали. Он теперь все больше колонки пишет, и все о морали.

Не помню за последнее время ни одного его серьезного, с цитатами, разбора современной литературы — видимо, потому, что любой человек младшей генерации для Станислава Борисовича теперь личный враг. Рассадин перестал быть критиком и стал учителем жизни, и это нормальный путь шестидесятника. Рассуждающего о том, как надо и как не надо, и печатающегося рядом с записями прослушанных разговоров. Да еще и дающего интервью сомнительным личностям вроде Караулова, тоже очень духовного человека.

Почему же именно этот тип литератора сегодня с такой интенсивностью процвел и даже почувствовал что-то похожее на вторую молодость? Почему его брюзжание вдруг стало музыкой для читательского слуха? Исключительно потому, что время снова сделало круг и этот тип вновь оказался востребован. Охарактеризовать в общих чертах типичного шестидесятника — дело нехитрое: отсутствие сколько-нибудь серьезных мировоззренческих установок, рудинская способность говорить часами и полосами на любую тему, от разведения овец до строительства капитализма, прекраснотушие, опирающееся на то, что главное за тебя сделает кто-то другой... Кто-то пойдет на площадь, а я посочувствую. Кого-то выпихнут за рубеж, а я поплачу. Кто-то напишет правду, а я эзоповым языком выражу свою солидарность.

Ностальгировать по таким людям, которые каждый вызов в ГБ носят, как медаль? Тосковать по временам пошлейших иллюзий, откровенного единения с государством, смешного подросткового энтузиазма? Об этом скучать? Увольте. Мне милее мрачные семидесятые с их безнадегой, но и с их подлинно серьезным счетом,

предъявляемым к себе теми немногими, кто еще не спился, не уехал или не исподличался. В том числе и Рассадин семидесятых, вытесненный в литературоведение, мне милей сегодняшнего — и раннего.

Ностальгия ведь избирательна. Никто сегодня не тоскует по двадцатым годам, когда все еще бродило и было столько интересного. Даже Сорокин и Зельдович, точно воспроизводящие коллизию «Третьей мешанской» в финале своей «Москвы», никак этой параллели не отыгрывают. А ведь в двадцатых были и П. Романов, и А. Малашкин, и В. Шкловский, к стати говоря, — то есть масса людей, писавших о том, что происходит с нами сегодня! Именно в двадцатых стала замерзать наша культура, чтобы оттаять только сегодня. Никто особо не ностальгирует и по временам модерна — ибо для такой ностальгии требуется вкус и такт, знание эпохи, знакомство с текстами... Нет, сегодня мы тоскуем по самым гнилым временам, пошлейшую эпоху возводим в перл создания — именно потому, что она нам по руке, по плечу, по уровню!

И потрепанные седеющие мальчики чуть не плачут: да, вот такими мы были! Не сознавая при этом — какими они были. Либо беззаветно надеющимися на труд со всеми сообща и заодно с правопорядком, либо прожженными циниками вроде сегодняшних манипуляторов массовым сознанием, — циниками, для которых слова «лабух», «чувиха», «хилить по Броду» и пр. были универсальными паролями, а галстук чудовищной расцветки — пределом мечтаний. Я уж больше люблю тех, кто питал иллюзии — они хоть в коммунизм верили и в человечество, а не в коктейль-холл на Пешков-стрит.

Но как объяснить сегодня даже самым лучшим людям того поколения, что иная деструкция предпочтительнее иного строительства и Дмитрий Александрович Пригов все-таки гораздо лучше, чем Степан Щипачев?

5.

Ностальгирую ли я? Исключительно по ранним восьмидесятым, когда в воздухе запахло переменами и

Окуджава опять стал писать песни. И еще по концу восьмидесятых, когда был «Взгляд» и Горбачев. Все остальные периоды советской истории, включая три дня в августе, не вызывают у меня ничего, кроме отвращения. Отвращения, заметим, чисто эстетического, потому что политика мне до фонаря.

Я ностальгирую по временам, когда человек был равен себе. Когда он думал. Когда у него был выбор и никто его не водил на помочах.

Я понимаю теперь свою умную мать, которая на все мои расспросы о прекрасных шестидесятых, о вечерах поэзии, о запуске Гагарина и о вторжении в Чехословакию (правильно, сколько у этой генерации общих воспоминаний! какие все одинаковые!) — хмуро отвечает: у меня была своя жизнь! Сначала я училась в институте, потом воспитывала тебя. И ее воспоминания о тогдашней жизни — романах, поездках, работе в школе — мне тысячекратно интересней воспоминаний ее сверстников о том, как Гагарин полетел, танки пошли и дали на одну ночь обтерханные «Крохотки». А о своей идиллической коммуналке — сначала на Арбате, потом на Фрунзенской — эта коренная москвичка вспоминая почему-то совсем не так, как гости Славкина. Все больше про то, как однажды увидела морковный хвостик, зажатый между дверцами шкафа. Ну, думает, морковка! А там крыска.

Вот и мы видим хвостик, думаем — морковка, а там совсем не морковка. Я никогда не буду тосковать о времени, в котором мне — прирожденному одиночке и стихийному нонконформисту — не было места.

Я никогда не буду тосковать о годах, в которые страна медленно загнивала, расслаиваясь на золотую молодежь, маразмирующую номенклатуру и беднейшее быдло.

Я никогда не буду ностальгировать ни по каким иллюзиям — хотя бы потому, что безвременье, тоскующее по времени, являет собою не самое эстетичное зрелище, Иллюзии человеку необходимы, но они бывают разные. Одни верят в себя, другие — в Бога, третьи — в комму-

низм, четвертые — в экстази. Не надо делать вид, что все это одно и то же.

Поразительные люди наши эстеты! К чему ни прикоснутся — все в их руках обращается в золото от слова «золотарь». Над таким типом, помнится, иронизировал когда-то Венедикт Ерофеев в записных книжках. Было у меня, грешным делом, чувство, что один-то оазис в советской истории существовал: шестидесятые. Так нет же, надо было и туда лапу запустить, чтобы изображением конфетной коробки с надписью «Лучший город на земле» внушить мне отвращение к этому оазису...

Я думаю, дальше надо начать тосковать по войне. Тех, кто сможет одернуть, поставить на место, сказать правду, — останется очень мало. Так что валяйте, можно. Вон Нестеров с Фоменко уже спели «На безымянной высоте», за что и были справедливо обозваны в «Новой газете» половозрелыми поросятами. Есть еще много хороших песен — типа «Бьется в тесной печурке огонь». Есть еще много плохих фильмов типа «Небесного тихогохода». Есть еще много поводов устроить всенародное празднество типа очередной годовщины Сталинградской битвы.

Очень хорошо писал гениальный фронтовик Борис Слуцкий:

Но — без меня, без меня, без меня.



ИЗ ПРОШЛОГО
И НАСТОЯЩЕГО

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих
двух эмиграциях

ГЛАВЫ ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ

Журнал «Киллер» и его редакция

Между Нью-Йорком и Москвой разница во времени 8 часов. И чтобы не пропустить факса об окончании верстки журнала, я поднялся в этот день в шесть утра. Пытаясь убить время, я просматривал вчерашние газеты, пока уже ближе к семи не вылезла из аппарата белая лента, которая, правда, ни к верстке журнала, ни даже к Москве не имела ни малейшего отношения. Факс принадлежал группе сотрудников Санкт-Петербургского международного издательства «Трое», решивших учредить несколько новых журналов, чтобы полнее, как они писали, удовлетворять запросы россиян «в эпоху рынка и перестройки».

«Уважаемые сотрудники журнала «Время и мы». Привет вам из далекой России, — начиналось послание, после чего следовал перечень новых изданий (с краткой

ТЕАТР АБСУРДА

159

аннотацией о каждом). Первым был журнал «Милосердие» (о благотворительстве и целительстве в условиях перехода к рыночной экономике), за ним «Мафусаилово братство» (с главной рубрикой: российским пенсионерам счастливую старость, по системе экстрасенса С.П. Иванова), затем — вот уж чего я не ожидал! — журнал «Аферист» (само название, которого, как подчеркнули авторы факса, говорит само за себя). И завершал список пользующийся особым успехом у публики — Санкт-Петербургский журнал «Киллер», о котором авторы факса сообщали, что через несколько минут мне позвонят сами его сотрудники, чтобы не было испорченного телефона.

Не скрою: журнал «Киллер» заинтриговал меня и, когда на другом конце провода приятный мужской бас, извинившись за ранний звонок, сказал, что беспокоит «Санкт-Петербург», я, в предвкушении беседы, удобнее уселся в кресле.

— Какова цель звонка? Предлагаем начать обмен материалами, — сразу перешел к делу бас, представившийся ответственным секретарем журнала «Киллер» Фредом Черепановым.

— Но, послушайте! — не в силах скрыть удивления спросил я, — при чем тут «Время и мы»?

— Вам, конечно, интересно что мы можем предложить? — как ни в чем не бывало, продолжал ответсекретарь «Киллера». — Да, будет вам известно: очень многое...

— Однако хотелось бы знать, — пытался я снова подать голос...

— Итак, театр начинается с вешалки, а журнал с обложки, — продолжал Фред. — Так вот, чтобы в двух словах: на нашей обложке распяты Христос, обращающийся к читателям со страстным христианским призывом «Не убий». Мы считаем, что «не убий» должно стать первой заповедью каждого россиянина.

— Но отчего вы решили обратиться к нам?! — снова воскликнул я.

— Первый вопрос, который встал перед нами: «Что

делать с рэкетом?» Думаю, вы понимаете, что киллер и рэкетир — это близнецы-братья. Видели бы вы, какой поднялся на редколлегии спор. Вначале решили ввести рубрику. «Рэкету — наше гневное российское нет!» А потом подумали: «Э, нет братцы, на дворе 21 век, надо искать качественно новые пути...»

«Господи, думал я, все у нас хорошо, тиражи растут, подписчиков хоть отбавляй, чеков за подписку навалом... единственная проблема — что нам делать с рэкетом?»

— Догадываетесь о решении редколлегии? Логика проста, как слеза ребенка. Хорошо, братцы, награбили вы 100 миллионов, но надо же их еще поделить, выделить страховые фонды. У всех же семьи, дети за границей учатся. И вот нашли такой поворот, что питерской братве придется хорошо почесаться. Сверху дали статистику годовых доходов петербургского рэкета. Затем статью нашего главного компьютерного светила — Авигодора Соколика — о применении компьютеров в системе банковских и других расчетов. Но самая главная бомба внизу — совместный подвал начальника горотдела милиции и генерального директора фирмы «Электроника»: «Рэкетирам — никакого компьютерного обеспечения». Пускай считают свои миллиарды на счетных машинках! Госдума нас поддержала и уже в первом чтении приняла закон: «За продажу рэкетирского компьютера — штраф от 10000 до тридцати тысяч рублей!» Сумма, может, и не ахти какая. Зато поворот проблемы.

— При чем тут «Время и мы»? — снова взмолился я

— А теперь возьмите такой бич, как проституция. Ведь по данным милиции, около 20 процентов всех убийств связано именно с этим злом. Дело дошло до того, что жены боятся мужей на улицу выпускать. Каждую ночь убийство! Короче, у нас появилась рубрика: «Женщинам легкого поведения — равные гражданские права». В стране демократия, движения за права человека. А что проститутки, не такие же люди как мы все? Связались с областным отделом УМВД и решили уст-

роить совместное совещание с участием самих представительниц «второй древнейшей». Начальник УМВД Голиков Иван Ксенофонович — мужик, надо сказать, редкостного остроумия — лично выступил с докладом, привел статистику убийств и в конце, окинув взором зал, воскликнул: «Ну как девчата, перекуем меча на орало?»

А сегодня не дай вам Бог назвать у входа в отель девушку проституткой, тотчас схлопочете по физиономии. Нет у нас больше проститутки, а есть феминистки, у которых свой профсоюз, при гостиницах свои отделения, где они могут культурно отдохнуть, сделать перед встречей с клиентом постирушку, прочесть свежий номер газеты «СПИДинфо». Теперь, когда вам звонят ночью в номер, уж не говорят: «Не хотите ли развлечься с девушкой?» Фи! Теперь все не так! «Хау ар ю, сэр! Не желаете ли провести время с петербургской феминисткой? Чем будем заниматься? Ах, Боже мой! Найдем, чем заниматься! Выпьем, побеседуем о проблеме женского равноправия?» А западный человек сами знаете: ему ни бабы не надо, ни секса, дайте только поговорить о правах человека! Да он за такое удовольствие последние портки снимет!

И вот не совру вам, за все последнее время от рук феминисток зарегистрировано только одно убийство. Да и то поделом! Один мудака из Берлина, левый социалист, между прочим, так уболтал свою гостью — и главное все на немецком, и все о Карле Марксе, что под утро, когда он дал храпака, ее душа не выдержала, и она, сама не помнит как, старинным венским стулом порешила марксиста.

Фред замолчал, словно подобный поворот темы его самого смутил. — Вот так, товарищ главный редактор, жизнь есть жизнь! — закружил он, откашлялся в трубку и, вспомнив, наконец, обо мне, спросил.

— Вы говорите, что у нас с вами нет ничего общего. Ошибаетесь! А женщины легкого поведения, то есть пардон, феминистки? Что, скажете, тоже нет общего? Да ваши американки только и норовят от семьи налево.

Может быть, нет? А вы спросите у мэра Джулиани, он, правда, говорят, сам от родной жены сбежал? Своими глазами читал в «Московском комсомольце». Но знаете, мужчина это мужчина, а женщина — это женщина. У меня внук есть, так он с девчонками даже играть не хочет: «Хитрые, говорит, как кошки!» Кстати, о птичках. Мы тут по феминисткам дали еще одну статью: «Женщина — это звучит гордо!» Кажется, что плохого? Ох, история, скажу вам, была! — вдруг расхохотался Фред. — Банщицы из соседней бани пришли в одних фартуках (у вас в Москве Сандуны, у нас свои вроде как Сандуны), ну и прямо на редколлегию, пьяные в дребодан. Они, видите ли, не согласны с нашей постановкой вопроса о женской гордости, поскольку уж полгода, как не получают зарплаты, и — святой крест! — хотели голые задницы показывать, в знак протеста. Наши ребята на видео этот кадр засняли — по две тысячи загоняют у Московского вокзала...

— Но, послушайте, мы же литературный журнал! — уже почти вскричал я.

— И мы литературный журнал. Так что? Начинаем обмен? — вдруг решил закруглиться мой собеседник. — Давайте собирайте редколлегию. Прямо сейчас. Сколько у вас отводных трубок. И я своих созову.

— Да у нас редколлегия с 1976 года не собиралась!

— Что? — не поверил он своим ушам. — Что же это у вас получается? Как у короля Людовика XIV, Государство — это я.

— Да, я — Людовик XIV.

— Послушайте, товарищ главный редактор, а вы не того? — почувствовал я настороженность на другом конце провода, которая вдруг обернулась металлом в голосе...

К чему я это все рассказываю? Просто так. Молодость вспомнил. Непреходящие ценности жизни, а заодно и московские Сандуны (в масть рассказу моего коллеги), когда в «Литературку», где я работал до эмиграции, однажды ворвалась женщина в одном фартуке и с перевязанной головой (как раз из Сандуновских бань. Вой-

стину органы информации уходят и приходят, а народ остается). Так вот, ворвалась и стала на всю газету голосить, что у них в Сандунах разбили друг другу головы три сотрудницы моечного отделения, на что заведующая отделом коммунистического воспитания Валентина Сергеевна Елисеева, пожав плечами, с олимпийским спокойствием заметила: «Что поделаешь, милочка, всюду жизнь!»

Утренний моцион

Вот и в журнале «Время и мы», переселившемся в мир высшей цивилизации, жизнь не останавливается ни на секунду. Звонят ли из журнала «Киллер». Или из «Афериста», или, вообще, ниоткуда не звонят. Жизнь идет своим чередом. И я бы, конечно, уже приступил к ее описанию, если бы не золотое правило американской жизни — не секунды без релакса. Такой вот императив. А тут я сам вижу, как круто взял с этим журналом «Киллер», и чувствую ваше неоодолимое желание передохнуть. Не целый же день я сижу и выпускаю журнал, бывают, наверное, и моменты поэтические. И так, звонок от представителя журнала «Киллер» последовал в 7.10 утра, когда мой сосед Виноград приступает к мойке своей очередной «Субару», а я с моим соседом по Леонии семидесятилетним Джеком МакКормиком захожу на утренний моцион. Встречаемся мы с ним возле телефона-автомата, на опушке небольшого леса, куда он является со своей рыжей дворнягой Кэрол и маленьким тибетским шпицем Сюзи. Джек — чистокровный англосакс — восп. Он большой симпатяга и, в отличие от меня, эмигранта, вечно погруженного в неустройства и противоречия жизни, не любит негативных эмоций. Поэтому между нами молчаливый договор — не обсуждать неприятных тем, например, тему СПИДа, рака, а также организованной преступности в России. Однажды я заговорил о «новых русских», которые все больше наводняют Америку. При упоминании «новых русских» на добром лице Джека появилось страдальческое выраже-

ние, будто его только что укусила пчела. И он стал рассказывать, что на следующий уикенд к нему приезжает из Индианы пятнадцатилетний сын его старшей дочери Билл, то есть Джека внук, который на голову выше, чем он.

Растущие, как на дрожжах, внуки — коронная тема Джека. И еще прогнозы погоды. И еще Джек обожает географию и животный мир. Но эти темы не могу поддерживать я из-за языкового барьера. Однако, барьер не мешает мне обрушиваться на коррупцию в Госдуме в Москве и происки «новых русских» в Америке.

Я еще не сказал, что журнал «Время и мы» теперь размещается в подвале моего дома, расположенного почти у вершины самой гористой в Леонии Хайвуд Авеню. Несмотря на то, что подвал уже давно отделан и приобрел цивилизованный вид, я про себя называю его бункером, желая подчеркнуть свое осадное положение в этом мире. Бункер оборудован всем необходимым для обитающего в нем главного редактора, включая телефон, факс и душ. И даже кресло-кровать, на котором я иногда полеживаю, предаваясь мыслям о бренности бытия. Или просто глазею в одно-единственное окно подвала, из которого проникает в бункер солнце. Иногда вижу безумных белок, иногда — подагрические ноги моего соседа немца Кегеля, подстригающего траву с помощью грохочущей, как старый мотоцикл, косилки. Крыша девятидесятилетнего Кегеля утыкана множеством антенн. В прошлом он известный радиолюбитель, сейчас это толстый мизантроп в кепке и калошах. Он — единственный, которого я вижу из окна моего бункера, и, может быть, от того, что он вечно смотрит в мою сторону с неприязнью, меня не покидает ощущение, будто окружающий мир (то ли он, то ли мой сосед справа Виноград, то ли, вообще, неизвестно кто) намерен меня взять штурмом, хотя я ничем не угрожаю своему окружению — какая может быть угроза от стареющего эмигранта, заброшенного в чужой, неведомый ему мир (хоть и объявившего себя главным редактором международного литературного журнала «Время и мы»)?

Бункер состоит из двух комнат. Первая — это мой кабинет с двумя подпирающими меня из-за спины шкафами, наполненными множеством папок с рукописями и бухгалтерскими счетами, вторая — кладовая со знаменитым электронным композером, на котором моя правая рука и зам. когда-то исполняла «Танец с саблями», и уже давно пришедшим в негодность.

За стеклянными дверцами подпирающих меня шкафов галерея фотографий наших именитых авторов, включая давно ушедшего в мир иной комментатора Би-би-си Анатолия Максимовича Гольдберга.

Справа на подвешенной к стене пробковой доске, фотомонтаж из моей собственной жизни. На самом верху пожелтевшая, неизвестно каких времен фотография (от того, что вся она в изломах и трещинах и еще больше из-за двух персонажей, запечатленных на ней), видно, очень древняя. Два персонажа — это папа и я, стоим на берегу Черного моря, в Анапе, на золотом пляже Бемлюк. У меня, припавшего к папе спиной, на голове матроска с развевающимися на ветру ленточками, почему-то очень тонкие ножки и несообразно большой живот.

Станным образом эта картинка запечатлелась в моей памяти на всю жизнь. Интересно, что когда я закрываю глаза, она остается все равно, даже делается еще более рельефной и живой. Особенно яркой она выглядит по утрам, когда я возвращаюсь после прогулки с Джеком. Лучи солнца проникают в окно бункера. Солнечные зайчики весело бегают по папиной лысине и по моему шоколадному животу. Какой же это год? Скорее всего, тридцать седьмой или тридцать восьмой. Вокруг сплошное веселье. На пляже — оркестр: «Эй товарищ, больше жизни!» Папа в своем репертуаре. Сколько я себя помню, столько помню рассказы папы о нашей анапской жизни, которая так и сохранилась в моей голове, как веселый театр, на сцене которого папа демонстрировал всему пляжу свое искусство: какого воспитал он умного и политически подкованного сына.

—«Виктор, — громовым голосом (с ударением на последнем слого) начинает свой политический экзамен

папа, — а ну, скажи, кто у нас в стране живет всех живых?»

— Я-я-я! (Сейчас мне кажется, что, я специально хотел вывести папу из себя этим дурацким ответом.)

— Виктор, подумай! — сжимал меня в своих железных тисках папа, — ты что не помнишь, мы же читали эту поэму вслух?

— Сталин! Великий Сталин!

— Ты абсолютно прав, Виктор. Товарищ Сталин всегда живет всех живых. И в твоих комплиментах, между прочим, не нуждается. Но о ком писал великий советский поэт Маяковский? Не спеши, Виктор, подумай...

Все дальнейшее я знал со слов самого папы, который в молодости, когда он еще не утратил чувство юмора, обожал рассказывать эту историю в лицах. Из его рассказа следовало, что однажды, в разгар экзамена, какой-то прохожий в майке и галифе неожиданно остановился позади нас, возле кустов дикого виноградника.

— Так кто же, Виктор, у нас в стране живет всех живых? — решительно наступает на меня почуявший недоброе папа.

— Ленин, — безо всякого энтузиазма, наконец, выдавливаю я из себя, — в уборную хочу по большому...

Прохожий в галифе присаживается. Папа явно нервничает.

— Повтори, Виктор, немедленно, Ленин и сегодня живет всех живых!

— Ленин и сегодня живет всех живых!

Прохожий тем временем снимает галифе.

— Ага, ему можно, а мне нельзя! — плачу я, возмущенный творящейся вокруг несправедливостью. И во все горло кричу: «Я, я, я!»

— Что я? Что ты этим хочешь сказать? — спрашивает расстроенный неожиданным оборотом дела папа.

— Я никогда не умру, я живу всех живых!

— И что же, ты не можешь мне сказать это на ухо? Надо кричать на весь пляж, агроисе хохом! Ты знаешь, что нам за это могут сделать?

Сдается мне, что где-то, в одном из своих сочинений

я уже эту сцену про Анапу описывал, перенося воспоминания детства в душу и жизнь своего героя. И я, и мой папа, и золотой пляж Бемлюк, и даже мой сосед Джек — все это уже где-то было... Но не попрекайте меня этим, джентльмены! Если признаться вам, мой писательский мир — это ведь только я и более никто. Нет, нет, пожалуй еще мой смех, другой мой персонаж, от которого мне в жизни одни только неприятности. Вот напару мы и выплескиваем себя то на страницах моих сочинений, то на сцене моего театра абсурда. Про что бы я ни писал, про моего ли еврейского папу, про историческую ли родину, про ответсекретаря журнала «Киллер» Фреда Черепанова, про питерских ли феминисток, — никак не избавиться мне от этого напарника, который бросает меня то в прошлое, то в будущее, то в рай, то в преисподнюю... И не от него ли, от этого залезшего в самую душу джентльмена, вся моя антилогика, и антисюжеты и антивремя и повторы и спирали — вся несерьезность и чертовщина моего сочинения. Я заранее сознаюсь во всем: да, виновен! Но заслуживаю снисхождения за то, что взялся за столь непосильную задачу — рассказать о своей раздираемой смехом и иронией душе.

Так на чем мы с вами остановились? Ах, да на папе! Как всегда на папе, пытавшемся сделать из меня человека. Так вот, какие же плоды пожал мой бедный еврейский папа от своего политического воспитания? Справедливости ради, надо сказать, что первый плод пожала моя бедная мама, на голову которой из-за моих выкрутас вечно сваливались неприятности.

Однажды после нашего возвращения из Анапы в Москву мы ехали с ней в «Аннушке» по бульварному кольцу. Москва готовилась к празднику Октября. Дома были увешаны портретами вождей — и всегда на первом месте висел великий вождь и учитель товарищ Сталин. Я глазел в окно на любимого вождя народов и думал, а что он сейчас интересно делает, когда мы с мамой едем в «Аннушке»? «Аннушка» притормозила возле здания «Известий», увенчанного гигантским транспарантом «Партия — организатор всех наших побед» или что-то в

этом духе. После чего я и задал маме воистину невероятный по глубине мысли вопрос: «Мам, а что Сталин член партии?» Несмотря на то, что был 37-й год, вагон грохнул от хохота. Мама в ужасе заозиралась по сторонам, ткнула меня, что было сил, в бок. И тоже в унисон со всеми заулыбалась (а что ей, бедной, оставалось делать?). Дома она поведала обо всем случившемся папе. Папа сказал, что дело швах и надо срочно сообщить обо всем куда следует — а именно о том, что я все эти глупости услышал не в семье, а в нашем дворе, то есть в печально знаменитой Малой Бахрушенке, которая, как установили органы, на 99 процентов была населена врагами народа. Ах, мой бедный папа, мог ли он в самом страшном сне предположить, к чему приведут его праведные стремления сделать из своего сына человека? Иногда мне кажется, что, если бы папа, который уже четверть века покоится в Израиле, на Хулонском кладбище, вдруг ожил и окинул взором мои деяния, то он бы пережил весьма смешанные чувства, которые я могу сравнить разве лишь с чувствами товарища Сталина, если бы тот проснулся и увидел, как на одном из концертов Иосифа Кобзона его любимые генералы, обняв пальчиками лацканы мундиров, с блаженными улыбками исполняли «Хаву Нагиву».

Впрочем, я отвлекся (со мной это всегда бывает, когда я смотрю на это фото) и, кажется, забыл, о чем хотел сказать еще. Ах да, рукописи графоманов! О которых я столько писал в первой книге, помните эти папки, увенчанные золотой вязью. Так вот, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Графоманы явно идут на убыль. Пришли, видно, к выводу, что это не самое прибыльное занятие в Америке. Графоманы переквалифицируются в программистов, буккиперов, сторожей, в агентов по продаже домов, ночных секьюрити. Самое прекрасное — это ночные секьюрити, куда устремляются те, кто воистину душой и сердцем предан литературе. А тут еще стало известно, что сам Веничка Ерофеев в тяжелую годину застоя не гнушался этой работы, совмещая свои функции сторожа с возможнос-

тью покемарить в каком-нибудь укромном московском парадном. И покемарив, со свежими, как говорят, силами, принимался за создание нетленных творений на ниве русской литературы.

В нашем журнале графоманов должна была прикончить напечатанная на последней странице строка: «Отвергнутые рукописи редакция не возвращает и в переписку по их поводу не вступает». Строка, впрочем, ничего не дала, ибо у каждого есть неотъемлемое право требовать от редакции возврата своего творения. Один 45 лет состоял рабкором газеты «Правда», и его произведения незадолго перед посадкой похвалил лично Михаил Кольцов, другой напечатал четыре романа в журнале «Молодая гвардия» и дважды был лауреатом премии Ленинского комсомола, третий — узник Сиона, что говорит уже само за себя, четвертый был большим другом писателя Нагибина, к тому же получает вэлфер (не для того, чтобы его произведения сгнивали в мусорниках журнала «Время и мы»!). Пятый кому-то в частной беседе прямо сказал, что специально приедет в Леонию, чтобы обломать редактору рога. В Леонию, правда, он не приехал. До этого не дошло. Но по телефону позвонил. И довольно мрачно сказал: «Вы, товарищ Перельман, смотрите, не очень-то, распоясывайтесь — еще не вечер»! Что он имел в виду, мне трудно сказать, но с критикой графоманов, джентльмены, по-временам.

Что касается редакции, то мне и рассказывать о ней особенно нечего, кроме того, что второй раз уже в это утро вслед за Людовиком XIV повторить «Редакция — это я».

Если бы Людовика XIV сделать статс-секретарем его двора, премьер-министром, исполняющим обязанности всех до одного министров, главным камердинером, главным конюхом и назначить его еще на пару сотен должностей его подданных, то как раз получится ситуация, близкая моей.

Итак, в журнале «Время и мы» я работаю главным редактором, замом главного, ответственным секрета-

рем, техредом, корректором, зав отделом прозы, поэзии, публицистики, писем, главным менеджером, разъездным спецкором, главбухом, ответственным за подписку, заврекламой, личным шофером редактора, грузчиком... Но есть тут и положительные стороны — при такой структуре редакции начисто исключены интриги, зависть, разгильдяйство, опоздания, рвачество, грубость, неуважение к руководству и, естественно, какие бы то ни было сексуальные поползновения — за отсутствием объекта поползновения. Я бы сказал так, что минусы вполне уравниваются плюсами, если бы над головой редактора вечно не висела угроза разоблачения. Интересно, какой уважающий себя человек подпишет на журнал, в котором должности редактора и подметальщика совмещены в одном лице. Поэтому не надо удивляться, что сведения о должностной структуре редакции отнесены к совершенно секретным, — первая форма секретности! — которую даже не знаю, с чем сравнить, ну, разве лишь с размещением атомного вооружения в системе Московского ПВО. Но и сохранить этот секрет тоже не составляет труда. Кому кого разоблачать и с кого срывать маски, скажите на милость? Единственная неловкость — это письма в редакцию, авторы которых, в силу незнания указанной структуры, бесконечно мучают меня звонками, требуют передать их письма строго по назначению, чтобы не болтались без толку по отделам и коридорам редакции. Письмам этим я по понятным причинам хода не даю. Держу их в специальном архиве, озаглавленном: «Читатели и коллектив редакции».

Но это мало мне помогает, особенно, в дни национальных праздников (таких, как Рождество, Пасха, День Победы, День рождения Джорджа Вашингтона, День Мартина Лютера Кинга, День матери, День отца, День благодарения и многих других), когда читатели считают своим долгом прислать в редакцию поздравления. Поздравления эти, в отличие от присылаемых чеков, исполнены воистину широкого русского размаха. «Желаем доблестному коллективу журнала, объединив твор-

ческие усилия, публиковать на своих страницах новые литературные произведения, глубокие по содержанию и интересные по форме». Или вот еще — тепленькое — от двух бывших сотрудников московской «Вечерки» — к 22 годовщине журнала «Время и мы»: «Уважаемый главный редактор, товарищ Перельман! Поздравляем вас лично и вашу семью со славным юбилеем. Просим передать наши сердечные поздравления всему вашему слаженному творческому коллективу — всем! всем! всем! — редакторам, корректорам, худредам, литправщикам, монтажникам, не забудьте, пожалуйста, про технический персонал. У нас в «Вечерней Москве» товарищ Индурский лично обходил в такие дни сотрудников и каждому вручал по памятного подарку. Почему бы и вам не перенять эту хорошую традицию? С глубоким уважением бывшие рабкоры Влад. Идашкин и Андрей Зильберквит». Приходят письма и более боевые и предметные: «Уважаемые сотрудники отдела подписки, опять вы, друзья, напортачили и отправили мой журнал на адрес моего соседа по кондоминимуму, с которым мы уже второй год не разговариваем!» Или: «Корректора «Время и мы», побойтесь Бога, в последнем номере журнала столько опечаток, что стыдно становится за наш журнал. А на вашем месте, г-н Перельман, я бы давно провел среди корректоров сокращение штатов. Небось слоняются по редакции и бла-бла-бла, а вы вспомните знаменитый девиз: «Лучше меньше, да лучше». Как раз наверное, для вашей корректуры». Письма можно положить в архив, так сказать, для потомства, а что делать со звонками? Ах, какая жалость, что не было под руками в тот день магнитофона, когда из Бостона позвонил мой давнишний собрат по перу, с которым лет сто назад мы вместе сотрудничали в журнале «Советские профсоюзы». Я только распаковал папку с толстой рукописью, даже заголовка не успел прочесть, и тут-то как раз его звонок. «Виктор Борисович? — услышал я в трубку довольно напряженный голос. — Ни отчего не оторвал? Редколлегия? Совещание? Втык кому-то делаем?» — Последнее меня развеселило. —

«Вот именно, втык! Как в воду глядели — первому заму ответственного секретаря за то, что никак не удосужится вызвать завмашбюро и выяснить, чем они там занимаются».

Юмор мой понят не был. «Виктор Борисович, а вы все заму поручите. Что это, редакторское дело с каждым мудозвоном возиться? (Ах, великий, могучий, русский язык!) Замы-то все бездельники, по собственному опыту знаю, как зам — так лентяй».

Когда он положил трубку, я снова принялся за рукопись. Это было «чудо» эдак страниц на четыреста, с любовно вписанным яркими красками заголовком: роман «Русская удаль».

У меня трещала голова, и я грешным делом подумал, что тут совсем не помешал бы какой-нибудь... — как бы поизящнее выразиться (во мне ведь тоже не рыба кровь!) — в общем, какой-нибудь редактор художественной и политической литературы. Как видите, нет правил без исключения, даже, когда чувствуешь себя Людовиком XIV и с гордостью заявляешь, что «редакция — это я!»

Америка, папа и я

Что-то скучноватые у вас лица, джентльмены. Или вспомнили какую-то малоприятную штуковину? Что, ослепливила, например, вас новая родина новыми таксами? Землю ее готовы были целовать, и вот, извольте, такая черная неблагодарность. Но релакс, уважаемые, релакс! «Время и мы» — не журнал «Киллер». Так что глотните, на всякий случай, таблетку прозака и слушайте мой рассказ.

Помните мой офис на Пятой авеню (рядом с компанией «Амлев-Интернэйшенел») вместе с моим замом и правой рукой, вместе с незабвенным мистером Гилдесманом, который каждый месяц посылал мне приветы и всю жизнь помогал «людям». Так вот, не хотите ли узнать, как это я, живя в России, попал в этот мир высшей цивилизации? Информация, кстати, секретная.

Но, с другой стороны, какие уж тут секреты, если вам даже известна численность коллектива журнала «Время и мы»? А о тираже его все равно узнаете только, когда умру — такие данные при жизни эмигрантских редакторов огласке не подлежат. Так о чем это я? Ах да, как я попал в страну высшей цивилизации! Вам первым, из рук в руки, передаю эту информацию, хотя в большом пребываю сомнении. А ну как, узнав мою историю, вы ничто же сумняшесь ринетесь в Эф-би-ай и настучите на меня. Да еще моего давно почившего папу — Бориса Борисовича вспомните: ведь еще немного и будет предана огласке его тайная переписка с Америкой, от которой у него самого волосы дыбом вставали. Сколько раз еще при жизни он исповедовался, что снедаем стыдом перед советской Родиной за черную неблагодарность, которой он ответил на все хорошее с ее стороны. Не всякому выпадала такая счастливая участь. «Подумайте сами, — начинал он свои праздничные тосты в дни 1 мая и 7 ноября. — Где еще я, будучи евреем, мог бы иметь такую страну? В эпоху НЭПа не раскулачили, в 37-ом не посадили, в 38-ом не замели, космополитом не сделали, дачу в Быкове не отобрали, отдельную комнату в Третьем Колобовском оставили, да еще на одной лестничной площадке с профессором Полиграфического института Суворовым Иваном Ивановичем. (Как лицо, проведенное в этой комнате детство, свидетельствую, что в отличие от профессора Суворова, имевшего отдельную квартиру, у нас было 10 соседей, с общей для всех уборной.) Где, скажите, в какой еще стране нашему брату так живется? — продолжал папа, не имевший обыкновения опускаться до мелочей, — в Израиле? в Америке? Да озолотите меня, чтобы я туда поехал! Никто не мог поколебать папиной любви к родине (даже наш сосед Чекмарев, прицепивший на нашу дверь вырезку из журнала «Крокодил» с портретом Голды Меир. На гордом лице Голды ярко-желтым карандашом было выведено: «Борис Борисович + Голда = любовь!»). «Азохон вей! — сказал папа. — Они думают, что они мне насыпали соли на хвост, и я уеду на посто-

янное место жительство в государство Израиль. Пусть они едут, если им хочется, а мне и в моей стране плохо. Скажите, где мне еще будут платить пенсию 120 рублей? Ну так, я немножечко постою в очереди в уборную, Агицын паровоз!

Теперь, представьте, как в один прекрасный день к папе заявляется его родной сын, которого, как мы помним, он с раннего детства воспитывал в духе любви к советским вождям, и просит его вступить в контакты со своими американскими племянниками, которых он в 22 году проводил в Америку и с тех пор даже их имени ни разу не произнес вслух.

Признаться, перед разговором с папой, я уже добыл кое-какую информацию насчет своих братьев и путем перекрестных допросов витебских родственников даже выяснил, что их фамилия Рубины, что они фермеры, и, естественно, преисполнился надеждой, что миллионеры.

Чтобы уточнить это обстоятельство, я с неделю просидел в американском архиве «Литературки», пытаюсь по справочнику «Who is who» разыскать своих кузенов. Препятствие возникло там, где я его меньше всего ожидал: перечень американских Рубиных занял что-то около одиннадцати страниц и я почувствовал, что у меня просто не хватит духу разыскивать среди них Зямку, Иосика или Ицика (которые, к тому же, могли сменить на английский свои идишистские имена).

Остался единственный выход — идти на прямой разговор с папой.

— Убить отца хочешь? — взглянул на меня папа с такой тоской, что я чуть не дрогнул и не отказался от всех своих планов.

— Папа, — сказал я, — мы должны уехать из этой страны.

— Идиот! Ты же член партии! — взволнованно ответил папа, — ты же знаешь, что НКВД с нами сделает. — И подумав, обреченно заметил, что уж если его сын рехнулся, то он, конечно, напишет... Но напишет так, как считает нужным он. — Боже! — держался он за голову. —

Это же надо на старости лет пойти на предательство Родины!

— Ах, какой ужас, папа! На 77 году жизни потерять невинность, — безжалостно сыпал я соль на папины раны. Когда-то же ему надо было через это пройти.

В целях конспирации и чтобы исключить возможность моего влияния, папа пришел к выводу, что расстаться с невинностью всего безопаснее на идише (который они всегда использовали с мамой, когда хотели от меня что-нибудь скрыть: «Ты слышал, Борис, что мне вчера сказал этот Чекмарев? Что они собираются выселять евреев в Биробиджан»).

По причине идиша я папино письмо прочитал гораздо позже, когда выяснилось, что у папы был и русский вариант и на идиш его переводил сосед по дому (с которым папа сживал вечерами на скамеечке на Петровском бульваре). Так вот, для того, чтобы вы лучше поняли характер моего папы, а заодно и эпохи, в которой я рос, я вам сейчас слово в слово этот русский вариант процитирую.

«Дорогие Йосик, Ицик и Зямка! — писал папа. — Прежде всего я хочу вам сообщить, что живу я очень хорошо и абсолютно ни в чем не нуждаюсь. (Слово «абсолютно» он дважды подчеркнул жирной чертой.) Советское правительство, слава Богу, мне платит хорошую пенсию и предоставило прекрасную шестнадцатиметровую комнату с двумя окнами в доме, где живут одни профессора и артисты. И хотя в нашей квартире проживает еще несколько соседей, но все они порядочные люди и совершенно не антисемиты». И, вообще, папа не представляет страны, где бы «нашему брату так хорошо жилось, как в СССР...»

Выслушав папино письмо, я сказал, что все о'кей, и откровенно говоря, я даже не ожидал от него такой смелости. Но не будет ли он против, если я попрошу — совершенно между прочим! — задать племянникам вопрос, какой у них там, в их Филадельфии уровень зарплаты.

— А это еще к чему? — насторожился папа.

— А так просто! — ответил я.

— Нет, ты мне все-таки скажи, к чему тебе, члену партии, это знать?

— А так просто! — не отступал я.

И папа, уже привыкший к тому, что от меня так просто не отделаешься, стал мучительно вспоминать, как будет на идише «уровень зарплаты», но так и не вспомнив, допустил роковую ошибку, которую из тактических соображений даже я (знай хоть немного лучше идиш), не дал бы ему сделать. Короче говоря, папа, вместо вопроса об уровне зарплаты, заключил свое письмо довольно странной для его контекста фразой: «А что вы там, в своей Филадельфии, имеете неплохие парнусы?» Правда, он после этого приписал, что жаждет всех троих крепко обнять, вспомнив вдруг, как, провожая их с матерью в 1922 году, менял на платформе подштанники описавшемуся от холода Зямке. Может быть, Зямка даже сам это помнит?

В своем ответе, который предварительно изучался папой на свету, Зямка, писавший от имени братьев, сообщал, что они все втроем плакали от счастья, получив вдруг письмо от дяди. Правда, факта насчет подштанников Зямка не подтвердил, сообщив, что ему уже под шестьдесят и он очень много болеет.

Насчет «парнусов», вообще, было что-то невнятное. Зато подробно описывалось, какая в Америке, в отличие от СССР, страшная безработица и дороговизна и как они в четыре утра встают и отправляются к себе на ферму, где куры несут «яйки». «Яйки» они везут на базар в Нью-Йорк и там продают. Так что, детишкам на молоко имеют, но никаких «парнусов», чтобы там еще кому-нибудь подсобить, даже и думать нечего. Словом, их беспросветное существование в Америке даже отдаленно не напоминало счастливой папиной жизни в СССР. В заключение они писали, что жаждут «обнять дядю» и для этого готовы приехать к нему в гости, в Москву.

Насколько я помню, папа не любил вспоминать эту историю. Но, когда мы приехали в Израиль, решился все же братьям написать. Вскоре получил ответ и написал

снова, не знаю уж, о чем они переписывались, — но как результат этих контактов, на папино имя поступил чек в сумме 75 долларов, коему, как это не логично, он очень обрадовался. И уже перед самой смертью сделал признание, которого я от него никогда не ожидал:

— Понимаешь, Виктор, все-таки хорошо, что мы уехали из этой хулиганской страны!

— И хорошо, папа, что я порвал с твоей любимой партией!

Слова мои папу почему-то задел. Он внимательно посмотрел на меня и сказал: «Знаешь что? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!» Много позже я понял, что папа не был так уж невинен, как мне казалось. Девственником-то оказался его сын! Впрочем, о чем это я? Да ни о чем, джентльмены! Просто дайте немного передохнуть. Прошу вас, занавес. Следующая сцена будет уже без папы. Папа к тому времени, когда я начну осаду Нового Света, уже уйдет в лучший мир. Какую осаду? О чем я говорю? Узнаете, чуть ниже, а пока не забудьте, что дали мне слово никуда не стучать — ни в Эф-би-ай! И ни в Си-ай-эй! Ни министру юстиции! И, вообще, что это за жизнь, когда люди и дня не могут прожить без стука. Да, хоть сейчас потерпите, прошу вас, пока сидите в моем театре. Неужели так трудно остаться порядочными людьми? Да, трудно! А то зачем бы мне на склоне лет братья за книгу, в которой без смеха и иронии я не могу сказать и фразы?

Большому кораблю большое плавание

Самое замечательное то, что первый раз в Америку меня отправлял Леонид Ильич Брежнев. И почти уже отправил. И уже проводила меня вся журналистская братия Дома журналистов. Мне было тогда 37 лет, вся жизнь была впереди. Я бы мог стать редактором «Нью-Йорк Таймса» или главой «Си-би-эс» или в крайнем случае Тэдом Коппелем. А что я могу, если разобраться, сейчас? Протирать штаны в моем бэйзменте-бункере (правда, в должности главного редактора) и вести пере-

говору с Санкт-Петербургским журналом «Киллер», а в трудные минуты утешать себя мыслью, что «редакция — это я».

Не верите насчет Леонида Ильича? Да не только он меня посылал, а еще и Михаил Андреевич Суслов. Вот ведь куда меня возносило в годы молодости, пока я не пришел к мысли порвать с коммунизмом. И уехать в свободный мир (где вместо того, чтобы возглавить «Нью-Йорк таймс» возглавил «Время и мы» и, придя в некое ироничное состояние, засел за «Театр абсурда»). Там абсурд и здесь абсурд. Там коммунизм, здесь капитализм. Впрочем теперь и там капитализм. Все становится на свои места. Лишь один я нигде не могу ужиться — ни в одном приличном обществе! Даже в стране высшей цивилизации, землю которой готовы целовать самые порядочные люди.

Когда же это все началось? Задайте мне вопрос полегче? Или обратитесь к моему папе, который, сам будучи покладистым старым евреем, подсуропил мне такие бродильные гены, для которых и то не хорошо и это не хорошо, хоть с горя в Южную Корею эмигрируй (о чем у меня, кстати, возникла мысль в американском посольстве, еще до переезда из Израиля в Америку). Отчего возникла? Ах, отчего возникла? Терпение, дженгльмены, дойдем и до посольства и еще до многого, раз уж я сорвался с колес.

А пока о Леониде Ильиче и Америке. Жил я тогда довольно тусклой жизнью, угодив после всех неприятностей с советской властью в журнал «Советские профсоюзы». Последний хоть и имел тираж больше миллиона, но, как говорили злые языки, ни один человек в мире не осилил в нем больше полстраницы, включая главного редактора Никитина. За что же подвергся я этой экзекуции? Поверьте, это такая проза, что лучше ее, вообще, обойти. Ну, вот пожалуйста, — пытался по молодости защитить некоего изобретателя — еврея Вельковского от его соседки Надежды Ивановой, числящейся в списках московской милиции как проститутка «Надька-Блоха». Последнее я заявил на заседании Ко-

митета партийного контроля, куда меня вытащили за написанный о ней фельетон в «Труде».

Председатель КПК Шверник — такой голубоглазый душка с каменным лицом — меня внимательно выслушал и, когда я кончил, дружески взблеснув глазами, воскликнул: «Товарищи, да он же ничего не понял!» — после чего меня в одночасье перестали печатать все советские газеты.

Ничему не научившись, я взял под уздцы и рванул на Кавказ, где не нашел ничего лучшего, как защищать лаборантку Руставского металлургического завода украинку Харченко от преследований ее начальника грузина Шенгелая. За это уже на заседании Грузинского ЦК был обвинен в подрыве дружбы русского и грузинских народов. Так получалось, что я всегда что-то подрывал, на кого-то клеветал, кого-то оплевывал (чаще всего родную коммунистическую партию, за что меня всегда откуда-то выгоняли), пока, угодив в «Советские профсоюзы», я не понял, что по определенной причине (на которую вряд ли стоит тратить время) мне в этой стране мало что светит. По той же самой причине, сколько себя помню, я всегда был «невыездным» и потому, когда главный редактор Никитин однажды сказал, что ВЦСПС призвал нас заняться жизнью рыбаков Атлантики, я услышал в его словах трубный глас. Придя к нему, я сказал, что меня с детства влекла романтика моря, журналист меняет профессию и прочее и прочее.

До сих пор не знаю, как мне удалось убедить Никитина просить ВЦСПС и лично товарища Гришина, чтобы разрешили мне выйти на рыболовном траулере в Западную Атлантику. Все дальнейшее должно было стать делом техники. Я был наверху блаженства, когда редактор торжественно мне поведал, что ВЦСПС и лично тов. Гришин дали делу ход и последний вошел относительно меня с ходатайством в ЦК КПСС.

Я никогда не испытывал недостатка фантазии и, выйдя из редакторского кабинета, уже видел себя сходящим по трапу в Нью-Йоркскую гавань. «Представляешь, папа, — никак не мог я успокоиться, — Нью-Йорк, Кейп-

таун, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес...» Тогда-то папа, кажется, в первый раз сказал: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!» И, усмехнувшись, добавил: «Ааидыше — рыбаки, держи карман шире, так они и пустили тебя в твоё Рио-де-Жанейро».

Было у моего папы редкостное умение — в самые торжественные минуты жизни подрезать мне крылья.

Потом в Московском ДЖ состоялась отвальная, в ходе которой двое из гостей (по-моему из «Солнца всходит и заходит», как прозвали лагерный журнал «К новой жизни»), прилично выпив, дошли до рукоприкладства, на почве того, в какие именно порты я буду заходить на своем рыболовецком траулере. Один кричал другому: «Вася, при чем тут Рио-де-Жанейро? Где Нью-Йорк, а где Рио?» На что другой, зверски вращавший глазами при упоминании о «Рио», врезал первому бутылкой из-под «Московской» по голове. «Большому кораблю — большое плаванье!» — подумал я, спяну рисуя себе, как стучу в дверь нью-йоркской полиции и кричу «Господа, прошу политического убежища!»

Я уже купил шотландскую тельняшку, русско-английский разговорник и за 70 долларов у букинистов на Кузнецком огромную карту Нью-Йорка. Вечерами, склонившись над этой картой, я прочерчивал свой крестный путь к свободе и каждый день, приходя домой, спрашивал домашних: не было ли звонка из Госбанка, где я должен был получать валюту? Звонка почему-то не было, неделя шла за неделей, пока однажды утром секретарша редактора Любочка, войдя своей таинственной кошачьей походкой в наш отдел, шепнула мне на ухо, что меня вызывает Никитин.

Не успел я открыть дверь к нему в кабинет, как он вышел из-за стола и, окинув меня чересчур уж веселым для рабочего дня взглядом, крепко пожал мне руку. «Понимаешь, до сих пор не могу успокоиться, — взволнованно сказал он. — Стопку принял, все равно не проходит. Известно ли тебе, что по твоему вопросу специально собирався секретариат ЦК КПСС? Ты даже не можешь себе представить, кто подписал решение?

Вот слушай — извлек он из несгораемого ящика гербовую бумагу с грифом «Совершенно секретно» — и стал ее зачитывать вслух: «Учитывая ходатайство ВЦСПС и Союза журналистов СССР о предоставлении тов. Перельману В.Б. права на выход в море в составе коллектива рыбаков Прибалтийского флота, Секретариат ЦК КПСС на своем закрытом заседании постановил... Никитин на секунду смолк и, выразительно помахав перед моим носом пальцем, торжественным голосом продолжал: ...Удовлетворить ходатайство ВЦСПС и Союза журналистов и разрешить тов. Перельману В.Б. выход в открытое море на три месяца».

— Разрешить! — чуть не вlepил он мне пальцем по носу. — В открытое море! На целых три месяца! — После чего последовала длинная пауза...

— Понимаешь, дальше тут не совсем ясно, может, секретарша что перепутала. В общем так: «Разрешить тов. Перельману В.Б. выход в открытое море, но... почему-то без захода в иностранные порты».

— Как это без захода в иностранные порты? — почувствовал я, что становлюсь белым, как бумага.

— А вот так: без захода в иностранные порты. Как говорится, ЦК партии виднее, чем нам с тобой. Нет, ты не уходи, еще не все! Тут еще конючка есть: «При необходимости предоставить ВЦСПС (тов. Гришину В.В.) право, не обращаясь за специальным разрешением в ЦК КПСС, продлить срок пребывания тов. Перельмана В.Б. в море до шести месяцев. Выбор маршрута возложить на общий отдел ЦК, по согласованию с заинтересованными лицами и организациями, согласно прилагаемому к настоящему решению списку. С Подлинником верно. Секретари ЦК КПСС Леонид Брежнев и Михаил Суслов».

— Да ты нос не вешай, на кой хер, если разобраться, тебе этот Кейптаун? — Никитин вышел из-за стола и дружески обнял меня. — Пошлем тебя в рейс не хуже Буэнос-Айреса — «Батуми — Одесса», отдельная каюта. Первый класс. Как говорится, хороша страна Болгария, а Россия — лучше нет!

После этой истории и возникла у меня идея просить

папу завязать контакты с американскими родственниками. Что за демарш был предпринят папой и о его результатах вы уже знаете. Папа как бы оказался в одной упряжке с Брежневым. Оба толкнули меня на то, чтобы я сказал «Иду на вы» и отправился на свою историческую Родину, согласно общепринятой процедуре. То есть, чтобы замести следы, я прежде всего должен был покинуть «Литературку» по собственному желанию. Затем уйти на полгода на бюллетень. Затем года на два устроиться куда-нибудь в архив или библиотеку. И уж потом, еле сдерживая дрожь в коленках, отправиться в ОВИР, и, поклявшись, что меня там ждалась любимая тетька, выклянчить себе визу.

Надо было быть мной, чтобы все это проделать с точностью до наоборот. Мой отъезд на историческую Родину прошел с таким неимоверным шумом, что его отголоски дошли до наших перестроечных дней. Я был изгнан отовсюду, я сидел в Коломенской тюрьме, гебисты меня избивали на улицах...

Хорошо было Ельцину, бывшему верному ленинцу, бывшему секретарю обкома, бывшему коммунисту до мозга костей, хорошо было ему в один прекрасный день взять и перестроиться. (Время сеять — время жать, время разбрасывать камни — время их собирать!) И все проделать рука об руку с товарищами по партии, со всем советским народом двинуться — к свободе, рынку и перестройке.

Известно, что люди млеют от счастья, когда перед их взглядом творится история, даже пусть им это только кажется. Когда «кажется», еще даже лучше, еще безопаснее. И вот под гром оваций, под светом прожекторов, под восхищенными взглядами товарищей взбирается народный президент в развалочку на сцену, чтобы негодующе бросить в мурло ненавистной партии ее треклятую книжицу: «Нате, жрите, вместе с вашим несчастным коммунизмом!» Таким вот мужественным человеком оказался на поверку наш верный ленинец.

Не для осуждения вспоминаю эту сцену, а лишь для сравнения. Как ни странно со своей собственной судь-

бой. Закопанные в могилы, под ветрами истории, истлевшими костями сравниваемся все — народные президенты с обычными смертными, попавшими под пролетку истории, вроде вашего покорного слуги, 26-летнего инфантильного отрока, вступившего в компартию по идейным соображениям. Сейчас все это, как пародия: 20 съезд, Хрущев и прочее. Есть у истории дар любую из своих драм превращать в комедию.

Небезынтересно бы спросить у верных ленинцев, как им удалось превратить такую личность, как я, в правдоверного коммуниста, вдобавок еще с бродильными генами правдолюбца. И по этой причине, в отличие от 20 миллионов себе подобных, бросившегося искать другой идеал, называйте его как хотите — Запад, свобода, демократия. Все сразу стало ясно, куда и во имя чего идти. Не ясно было лишь, что делать с краснокожей книжицей.

Но хватит теоретизировать, предоставим слово актерам, чтобы сыграли этот волнующий день моей жизни.

Когда я заявил, что выхожу из партии, один из выступающих на партбюро, стал говорить, что я хуже Троцкого, что я Каменев и Зиновьев одновременно, что я хуже Голды Меир, что я агент ЦРУ и вдобавок еще агент всех сионистских служб, что он предлагает немедленно послать письмо благодарности органам, сумевшим вывести на чистую воду такого предателя. Он никак не мог закончить и, оглядев вдруг с неожиданной улыбкой членов партбюро, сказал: «Товарищи, не могу больше говорить, — на глаза у него навернулись слезы. — Верьте, не верьте, но будь у меня в руке огнестрельное оружие, я бы нашел ему применение! Смерть предателям!» — голос его дрогнул, сломался, и он громко навзрыд заплакал. Ах, почему у меня не было в кармане диктофона? Почему я не записал этих прочувствованных слов? Как бы мне пригодилась эта пленка в будущем! Судьба играет человеком, и когда-нибудь ее волей я снова превращусь из борца в обычного человека с улицы, но это произойдет позже, а пока о расправе надо мной трубили все западные радиостанции. У меня по-

явилось столь громкое имя, что мое передвижение на самолете из Москвы до Вены освещалось с большими подробностями, чем передвижение президента Клинтонна. (Это сейчас мне звонят по утрам сотрудники журнала «Киллер».) А тогда? Ах, тогда! Как передает «Ассошиейтед пресс» «Виктор Перельман сегодня в 8.00 утра прибыл вместе с семьей в аэропорт Шереметьево, чтобы отправиться в лагерь репатриантов в Вену». Как сообщают те же источники, «В 9.15 утра самолет с семьей Виктора Перельмана взял курс на Юго-запад, в направлении австрийской столицы». По данным агентства «Рейтер», «В 11.30 самолет с семьей Виктора Перельмана на борту приземлился в венском аэропорту, где мистера Перельмана встречали представители министерства иностранных дел Израиля»...

И вот, спустя четверть века, просматривая вырезки из этих газет, я смотрю на себя со стороны, из зрительного зала Театра, о котором пишу эту книгу. Пишу о своем былом величии, и с моих губ не сходит ироническая усмешка. Я просто не в состоянии без смеха смотреть на свое прошлое. И на настоящее. И на будущее. Смех этот, конечно, не простой, это смех сквозь слезы, от которого лучше бы воздержаться. Во благо семьи. Во благо родины, — старой, новой, не все ли равно, как будто это имеет значение, как будто слишком резвых и горластых пересмешников не полагается держать в клетке.

Еще немного о себе

Чувствую, джентльмены, не можете вы дождаться, когда же начнется обещанное: Америка, Вашингтон, Эф-би-ай, в тенетах которого едва не окажется автор. А что же на сцене? Господи, что на сцене? За пыльным, колченогим столом дремлет старый, лысый еврей, в кабинете к которому я нерешительно стучусь, исполненный трепета и благоговения. Кругом пыль и беспорядок. Звонят без конца телефоны. Спрашивается, чего я здесь не видел? Чего забыл в этом шараш-монтаже, напоми-

нающем черкизовскую артель «Заветы Ильича», куда я однажды забрел, не помню уж по какому поводу? Как и в Черкизове, в этой шараге одни евреи, в каких-то немислимых лапсердаках, добрая половина в ермолках, говорят между собой то на идиш, то на таком русском, что можно только диву даваться — неужели в наши времена сохранились еще подобные заведения?

Вы, конечно, рветесь спросить, что весь этот сюр значит. Никакого сюра! Прodelки моей памяти, которая, к месту, не к месту, проявляет исключительную цепкость и преданность природе. Самое удивительное, что мы с вами в этом здании уже были. Помните, где я получал иностранный паспорт, уезжая в Италию и как, возвратившись, попал на прием к Главному в этой конторе — лобастому квазимоду Нехемии. Нехемия встречал меня еще в Вене и, едва не прослезившись от волнения, спросил: «Виктор, ну, как там ребята?» В ответ на что я пристал к нему со своей паранойей — газетой на трех языках, редактором которой собирался стать. Он внимательно слушал меня, согласно кивая, а потом, припав к моему уху (чтобы не дай бог его кто-то не услышал) едва слышно прошептал: «Виктор, учите иврит!»

Что поделывать, зигзагами работает моя бедная память. Свалилась на нее вдруг целая вселенная, по которой колесим мы вместе с моим журналом. И ко всему еще вся эта немислимая канитель с «Театром абсурда», То Тель-Авив, то Нью-Йорк, то, извините, Владимир Ильич, а то, извините, Леонид Ильич, в придачу с Михаилом Андреевичем, то редакция — бункер в моей Леонии (куда мне продолжают упорно звонить сотрудники журнала «Киллер»), а то снова лобастый Нехемия, заведующий шараш-монтажа в Тель-Авиве наулице «Гимел». И всех надо уважить, чтобы после не пустили слухи потомки (которые «вечно слышат звон, не зная где он»), будто был я не объективен, и даже во времена демократии допускал культ личности и отрицал роль коллективного руководства, заявляя вслед за Людовиком XIV, что «Государство — это я».

Ах, не загнуться бы, не заплутаться бы в этих извилах,

по которым бродит моя душа и от которых жутко трещит голова и так хочется прилично выпасться! Ну, так что? Снова Тель-Авив? Улица «Гимел»? Русский отдел израильского министерства иностранных дел, так сказать израильский Эф-би-ай? А если он нам напомнил еврейскую шарагу, то это наша с вами проблема. От того, что не ведома нам демократия, простая и не помпезная, как сама правда жизни, как ни за что ни про что униженный мной черкизовский шараж-монтаж. Думаем, раз секретная служба, так обязательно Лубянка, с железным Феликсом, которого слава Богу снесли с концами. Да и не понять вам, что на нашей исторической Родине все другое, даже Эф-би-ай другой, по-еврейски скромный, тихий и без вычуров. Скромный-то скромный, но каждый еврейский активист, прибывши на историческую Родину, обязан по зову сердца явиться именно сюда, на тель-авивскую улицу «Гимел» и обстоятельно доложить о своем прошлом и настоящем.

О Цвийке

Входя в кабинет к лысому дремлющему еврею, я чувствовал себя чистым, как стеклышко, рыцарем без страха и упрека, каким, верно, ощущал себя папа, когда, глядя в мои глаза, устраивал мне экзамен на золотом пляже «Бемлюк». Вот так и я мог смотреть прямо в глаза этому человеку, который только внешне был лысым, дремлющим евреем, а на самом деле майором израильской разведки Цвийкой Гамзером, главным советником Голды по проблемам морального духа новых олим из России.

— Шолом, Цвийка! — бодро сказал я, переступив порог кабинета.

— Привет, Виктор! Ну как там ребята? — услышал я знакомый до боли вопрос, отвечая на который я сел против него, чтобы без утайки рассказать о своем прошлом: как преследовали меня власти, как бросали в тюрьмы, обыскивали на таможне и даже, как гебешники нашли среди бумажек мою будущую речь перед венски-

ми евреями: «Пока существует Кремль, евреи не могут спокойно спать!»

«Ах, как интересно! — бормотал засыпающий Цвийка, — попросим Нехемию передать это в газету «Наша страна». И прямо на глазах у меня сладко зевнул, чуть было не задремал, но тотчас проснулся, когда коснулся я инцидента в Шереметьево, где я с таким мужеством отстаивал чистоту своих помыслов. Так туго в наши дни с этой «чистотой помыслов», что я, пожалуй, на этом эпизоде остановлюсь специально. В общем, одна из моих приятельниц, которая уже пятый год намыливалась в Израиль и чей папа всю жизнь проработал в шараге, подобной описанной выше, принесла мне на дорогу подарок — икону Николая Угодника XVII века.

Надо было видеть гнев и удивление, проснувшись на моем лице при виде этой мерзкой гойской физиономии: мне, сионисту и борцу за репатриацию, осмелиться предложить подобное в самый торжественный момент жизни!

— Представляете, такое подсуропить! — снова впал я в состояние, которое, как я надеялся, должно было тотчас передаться и Цвийке. Но, к моему удивлению, в глазах его я не только не прочел сочувствия, но даже вспыхнуло в них странное любопытство, словно вдруг возникло перед ним некое экзотическое ископаемое.

— Отказались от Николая Угодника 17-го века? Таки зря отказались, могли бы сделать неплохие парнусы! — мгновенно проснувшись, он с интересом меня рассматривал.

— Но я же, Цвийка, сионист, как я мог себе позволить?

— Так что, если вы сионист? Что вам помешает тысяча — другая долларов?

— Израилю нужны настоящие сионисты! — продолжал я молоть свое.

— Сионисты — да! Но при чем тут парнусы? Вот я — сотрудник израильского МИДа, но, если бы мне предложили «Николая Угодника», я бы сразу взял и не чихнул. У нас в отделе, между прочим, тоже работал такой наивняк, Арончик. Ему дают прикрепительный талон в

«Амашбир-Ацархан», где все абсолютно со скидкой. А он начинает... понимаете, ли, он сионист, последователь Жаботинского, я знаю, что он еще в тот день молот. Правда, на завтра приходит и говорит: «Ну ладно, господа, согласен, давайте ваш талон!» (Осчастливил!) Оказывается, жена его Сареле, таки вправила ему мозги: «Ты говорит не сионист, а просто шлимазл, на которого мне смотреть противно!»

Ну и что вы на это скажете, джентльмены? Суждены нам благие порывы, а? По правде говоря, выходя от Цвийки, я таки был огорчен. Точно плюнули мне в физиономию. А с другой стороны, стал подозревать в себе такое, о чем никогда не задумывался: не сидит ли и во мне точно такой же шлимазл, вроде этого Арончика, настоящую цену которым хорошо знал Владимир Ильич, когда призывал с броневика стереть с лица земли весь этот прогнивший буржуазный сброд?

И о Софочке

Ленин тут, конечно, ни при чем. Просто я его решительности иногда завидую. Так вот, запало мне в душу подозрение насчет моей сущности и не дает спокойно жить. С одной стороны я, конечно, личность. Редактор известного журнала, в некотором смысле даже Людовик XIV. Но с другой стороны, если все так прекрасно, то как я смог допустить, что этот мой всемирно известный журнал (читая который подписчики умирают от восторга) уже столько лет влачит жалкое существование, а я, его издатель и главный редактор, не заработал даже на секретаршу и грузчика?

Мои подозрения особенно усиливаются, когда я вступаю в личный контакт с подписчиками (в том числе и стонущими от восторга), чтобы напомнить им о необходимости уплатить за продление подписки.

Скажите, как я должен был разговаривать с должниками, будь я не шлимазл, а настоящий агрессивный американец?

— Послушайте, любезный (или любезная), у вас со-

весть есть или нету? Как вы смеее получать и читать журнал без оплаты? Хотите, чтобы я подал в суд? Адвоката прислать к вам? Этого вы хотите? Чтобы не позже, чем через два дня, чек лежал у меня на столе! Вы меня поняли?

Вот как надо разговаривать с этим народом!

А как говорю я? Хотите послушать? Только вчера звонил я одной из самых страстных поклонниц журнала, назовем ее Софой Гуревич, которая уже полгода не платит за журнал.

Накануне я получил от типографии письмо, что они подаю за неуплату в суд. Телефонная компания уже подала. Куда ни кинь — всюду клин. А тут еще непрошенные советчики: «Да закрой ты на хер этот свой журнал! Да кому он в этой стране нужен, да займись чем-нибудь серьезным! Да хоть в секьюрити пойди. Венечка Ерофеев — и тот не стеснялся, а ты что, не такой как все?»

Представьте теперь, в каком настроении я поднимаю трубку. С какими архирешительными намерениями. Ужо задам сейчас этой стервозной Софочке! Чувствую, как сердце от гнева вот-вот выскочит из груди. Хватит! Сейчас она получит за все! Только не сразу. Сразу можно испугать и чего доброго бросит трубку. И еще одна подписчица — ту-ту! Главное, соблюсти декорум. Голос ее я узнал сразу, с этим ее мраморно-мерзким «Хеллоу!» И так, с богом! — сжимаю я кулаки.

— Хай, Софочка, здравствуйте дорогая. Беспокоит редактор журнала «Время и мы» Виктор Перельман (главное не сорваться, чтобы не лишиться подписчицы. Вежливость превыше всего!). Вот звоню вам, чтобы узнать, что у вас слышно, как живется-можется? Сто лет не слышал вашего голоса.

— Файн! — отвечает Софочка. — А как, Виктор, дела у вас, как журнал?

— Файн! — соблюдаю декорум и я, — все прекрасно.

— Э-э-э... Софочка...

— Ой, Виктор, знаете, о чем я подумала? Вы позвонили и я сразу вспомнила, что не послала вам чек! Какая стыдоба! Какой позорище! Такой журнал выпускаете! Я,

знаете, все думаю, как вы держитесь? Это же какое-то чудо из чудес! Вы просто настоящий герой!

— Да что вы Софочка? Думаете, я звоню вам из-за какого-то там несчастного чека? Чек, конечно, получить бы неплохо, но я же понимаю, как вам трудно: кругом счета, платежки, дом, кажется, новый покупаете, и я тут еще со своим журналом. Так что извините за беспокойство. Вы, по-видимому, просто закрутились... Но, если вспомните. Только ради Бога, не обижайтесь. Не обиделись? Вот и хорошо! Ну всего вам самого доброго, а главное хорошего здоровья. Здоровье, Софочка, — вот что в Америке самое главное!

Вы, конечно, думаете, что я этот монолог выдумал? Для красного словца. Ошибаетесь. Записал на пленку, специально, чтобы показать вам, что именно во мне меня мучает. «Шлимазл» — это, конечно, слишком, хотя Владимир Ильич, который был большим специалистом по выбиванию у клиентов денег, наверняка назвал бы меня «шлимазлом». И, что самое страшное, мне все чаще кажется, что он был бы прав.

Но это все так, лирическое отступление от неприятностей, которые свалились на меня в американском посольстве в Израиле.

Вы спросите, при чем тут американское посольство? Спросите еще при чем тут Израиль? Будто из первой книги не знаете, что я не сошелся характером с моей исторической Родиной. И все из-за журнала «Время и мы», вокруг которого пошли такие зловещие слухи, что я при всем уважении к правде, не осмеливаюсь их повторить. Ну что сказать вам, если «Время и мы» листали даже некоторые члены израильского правительства, которые, хоть и не знали русского языка, зато обладали таким еврейским чутьем, которое вам и не снилось. Вы спросите, за что листали? За его так называемую общечеловеческую направленность, которая, по словам одного виднейшего члена кабинета, нужна Эрец Исраелю, как рыбе зонтик.

Такая уж моя историческая Родина, что, если в ней за кого-то возьмутся — так возьмутся! В первой книге я

просто постеснялся вам все это выкладывать, экал, мекал, де невзлюбил меня Сохнут и прочее. Между тем, пошли по Эрец Исраель слухи, что в стране появился журнал, за которым нужен глаз да глаз — куда только смотрит Нехемия? И что его редактор, скорей всего, гой, в прошлом коммунист с дореволюционным стажем и сотрудник газеты «Правда». И что, не успев приземлиться в аэропорту Бен Гуриона, он стал скупать христианские иконостасы, чтобы продавать их на арабском рынке в Иерусалиме, а те, что не продавались, в анти-израильских целях переправлять за океан. Но это еще полбеды! Что, тайно пробравшись на заседание Всемирного еврейского конгресса, этот горе-еврей не постеснялся на весь зал выкрикнуть фразу, за которую Жаботинский просто плюнул бы ему в физиономию: «Израиль нам дорог, но истина дороже!»

«Вы слышали, писала одна из центральных израильских газет, истина ему, видите ли нужна! Какая истина? В чьих глазах истина? Может быть, в глазах ООП? — спросим мы у этого человека и с презрением отвернемся от него».

Хоть бы на этом успокоились и поставили точку. Так, нет же: чем дальше в лес, тем больше дров! Говорили, что после этого сам Ясер Арафат долго жал этому редактору руку и сходу предложил переводить «Время и мы» на арабский язык, гарантируя финансовую поддержку шейха Саудовской Аравии. А директор Сохнута Альмоги, узнав, что от журнала поступило ходатайство о финансовой поддержке, прямо сказал своему помощнику Якоби: «Пошлите его знаете куда? Сказал бы куда, да боюсь, что секретарша Ривка в приемной услышит!»

...И о Фане Лазаревне

Что здесь правда, а что досужий вымысел моих недоброжелателей, судить не мне. Но, если вам скажут, что я уехал в США, потому что с жиру бесился, — так это тоже прошу поставить под сомнение. Так или иначе для вас теперь яснее, по какой причине я оказался в очере-

ди в американское посольство на улице Аяркон, где сразу же стал получать советы от таких же несчастных йордим, как я. Что за советы? Главное осторожнее с их анкетой, меньше пишешь — дальше будешь! Я же писал, что было. Правду и только правду. Был коммунистом? Был коммунистом! Был и порвал. И стал воинствующим антикоммунистом. К тому же никаких проблем с американской визой не возникло. Скажу вам больше: не прошло и трех месяцев, как я передал ходатайство своему американскому адвокату Брауну, как от него пришла солнечная телеграмма: «Виза на въезд в Америку готова! По третьему преференсу, как выдающемуся журналисту! Въезд в Соединенные Штаты диктуется высшими интересами государства!»

Тут, конечно, самое время рассказать о редакционной отвалной. Но нету, джентльмены, времени: сюжет торопит, мне ведь уже не 17 лет, а сколько накопилось вам высказать! Поэтому уж извините, но об отвалной кратко и конспективно. Кто был? Да все были, не так часто редакторы вместе со своими изданиями за океан эмигрируют. Первый тост, естественно, поднял лорд Шацман. Из-за стоградусной жары был он в одних трусах, седая грудь колесом, голос, как и положено сподвижнику Мейерхольда, бархатно-обволакивающий. Пил за будущее журнала «Время и мы» и его редактора, который еще покажет кузькину мать Америке. В ответ на что толстуха-композеристка Верочка, ни с того, ни с сего из своего угла пискнула: «Виктор, а как же жена? Неужели одна останется? А в Нью-Йорке не страшно? Говорят, женщине одной опасно на улицу выйти!» «Особенно русским композеристкам, насилуют по дюжине в ночь!» — уж совсем было сел на своего конька лорд Шацман. Но распахнулась дверь и перед взором собравшихся предстали молодожены Житнищие.

— Что, редактор, в йордим записался? — подозрительно оглядел меня Сэм. — Смотри у меня, не очень. Потом куда-то исчез и, раздевшись опять же до трусов, полез целоваться. Впрочем, это мне показалось, что целоваться. Просто он силился что-то сказать мне на

ухо, что-то чрезвычайно секретное: «Я знаешь по-простому, по-русски: делай там, что хочешь: пей, с блядьми крути. В личную жизнь не вмешиваемся. Но мой тебе прощальный совет: брось антисоветчину! КГБ — оно знаешь... Не хера ты не знаешь — вот что тебе скажу...»

Я уже не помню, когда разошлись, но не успело забрезжить солнце, как отправился я на улицу Аяркон за визой.

Ночью на Аярконе — толпы проституток, утром Аяркон — вполне приличное место, главная достопримечательность которого очередь евреев в американское посольство.

Я, единственный, продирался сквозь нее по-мужски решительно, и уж на что не просто с этим народом, но услышав, что ждет меня готовая виза, очередь почтительно расступалась, давая дорогу.

Войдя в консульство, я громко постучал в пуленепробиваемое окно и назвал в мегафон свою фамилию.

— Как? Как? — переспросила седая полная дама с болтавшимися на шее очками и говорившая по-английски так, что я вначале подумал, что это идиш. Потом, что украинский. Потом уж не знаю какой, поскольку она, вообще, не выговаривала ни одной буквы. Гилдесман был по сравнению с ней Цицероном. Погрузившись за пуленепробиваемым окном в кучу бумаг, она водила толстым указательным пальцем по каким-то спискам.

— Как ви сказали? Пэрэлман? Шо-то я не визу такой фамилии.

— Как не видите? — удивился я.

— Так не визу, представьте себе! — вскинула она на глаза очки и, пронзительно смерив меня с ног до головы, снова погрузилась в папку. И вдруг ее лицо озарилось светлой, понимающей улыбкой.

«Слава Богу!» — подумал я.

— Ду ю спик инглиш? — спросила она.

— Не-е-е... — грустно мотнул я головой.

— Аф идиш? О-кей, руссише! В общем, будем гово-

хоть откровенно. С визой у вас пхоблем. Ви знаете, шо такое пхоблем? Знаете? Файн! Визы для вас немая, но виза в Америку! Почему? Как будто ви не разумеете сами! Ви же коммунист?

— Хотите сказать, бывший коммунист? — решил я сразу расставить точки над «і».

— Бивший, не бивший, на то есть у нас специальная организация, а для нас ви коммунист. И тоцка. Ви как вступали в партию — как «волютари» или «анволютари»?

— Я вступал в партию после 20 съезда, когда все верили...

— Слушайте сюда, мистер Пэхэльман, ми же с вами не чилдрен из киндергарден. Если волонтери — так это по своей воле. Америка — это вам не коммунистическая Россия. В Америке надо все говорить честно. Мы же все про вас знаем: «анволютари» вступали только в Красной Армии. Цто? Ви не понимаете? А шо ви, интересно, не понимаете? Визывает вас комиссар к себе и говорит: «Мистер Пэрэльман, одно из двух — или давай в партию, или пиф-паф!» Ю андерстэнд, вот я мин?

— Но я давно порвал с партией, я антикоммунист! — наконец прорезался у меня голос.

— Значит дефектор? Файн! И ви это можете доказать нашему консулу? Тэррыфик! И где же находятся ваши доказательства? Дома? Так принесите ваши «пруфс» сюда, в чем дело, мистер Пэрэльман?

Потом она подозвала меня к маленькому окошечку и едва слышно спросила: «Ду бис аид? Я же тебе в матери гозусь, ну, скажи, пожалуйста, цто ты не нашел в этой партии, а хохом балайла?»

Наутро я снова появился в посольстве, в руках у меня было два пузатых баула, набитых журналами «Время и мы». Было там два экземпляра моей «Покинутой России», и целая папка текстов моих передач на радио «Свободный мир», за которые одна из центральных газет назвала меня «антисоветчиком номер один».

Я уже знал, что моего доброго ангела за пуленепробиваемым окном зовут Фаня Лазаревна и, увидев ее,

первым делом показал на портфели. Она в свою очередь сделала мне знак, чтобы я не спешил: портфели могу оставить, а самому нужно встать в очередь. Часа через два я вновь оказался перед Фаней, которая снова напялив очки, спросила:

— А цто это за литературу ви принесли?

— Антисоветский журнал «Время и мы», — раскрыл я перед ее глазами первый номер с портретом Артура Кестлера на обложке.

— Файн! — сказала Фаня Лазаревна. — Это цто руссифе? — постучала она указательным пальцем по физиономии Кестлера. — Кто этот человек? Кто? Ви бы еще принесли нашему консулу аф идиш?

— Хорошо, у меня есть альманах на французском... — наконец понял я в чем дело.

— Наш консул по-французски не разумеет. Он просил вас сделать перевод на английский.

— Всех этих журналов?

— Ну так не всех, цто ви от меня-то хотите? Цтобы я отменила пхиказ консула? — И снова поманила меня к окошку. — Скажите, цто не можно дать пару шекелей переводчику? Видели, он собрался в Америку! — покрутила она указательным пальцем вокруг виска. И затем, цтобы услышала вся очередь, воскликнула: — Гуд бай, мистер Пэрэльман! Прием окончен.

Ох, чувствую я, затаял я волынку с этой Фаней Лазаревной, от которой вполне можно было родить, особенно, простояв часок-другой на израильском солнышке. Но я все-таки выдержал, правда, не сразу, а после очередной беседы с моим незабвенным ангелом. Я принес с собой все те же баулы и заставил ее вслух прочесть три страницы английского перевода. «Таак... читала и переводила вслух Фаня Лазаревна, — сидел в коломенской следственной тухме. Файн! Избили на улице Горького люди из КГБ. Террыфик! Член сионистского форума? Опасный антисоветчик? Вандефул!» После этого она пригласила меня к нашему окошку, напялила по обыкновению очки и, обняв меня, словно собралась поцеловать, заговорщицки в ухо шепнула: «Мистер

Перельман, между нами: а что, с Москвой вы все-таки контакты имеете?»

Но тут уж кончилось мое терпение.

— Да имею, каждую ночь летаю на свидания к господину Брежневу!

— Он смеется! Смеется тот, кто смеется последний. Он думает, что ми-таки ничего не знаем? А ну, скажите, с какой целью господин Брежнев вас посылал в Америку на рыбных пароходах? — впились в меня глазами Фаня Лазаревна...

Вот какие случались в моей жизни истории. Только не спрашивайте, где сейчас мой добрый ангел, наверное, давно уж отбыла в мир иной, да и на что вам эта информация? Или хотите все-таки кое-куда настучать? Извините, опоздали! Впрочем, настучать никогда не поздно, было бы желание...

По простоте душевной рассказал я однажды эту историю одному русскому бизнесмену с Брайтон Бич, Люсику или Долику, в прошлом, говорят, известному подпольному миллионеру. Ехали мы веселой компанией в автобусе, во Флориду, на знаменитое минеральное озеро лечить ревматизм. И слово за слово разговорились. Он мне про себя, я про себя. Экскурсовод (чем-то напомнившая мне любовь моего детства, нашу историчку и старшую пионервожатую Тосю Товстоног), с трудом неся вдоль автобуса свою мощную грудь, звонким, как битый хрусталь, голосом, рассказывала об утопающих в пальмах городах Флориды, которые были поразительно похожи один на другой. И тем же торжественно-хрустальным голосом заключила, что Америка — это страна эмигрантов (видно, все по специальной программе турагентства), которые должны быть ей по гроб жизни благодарны. «Да мы эту землю целовать должны!» — ни с того ни с сего гаркнул на весь автобус мой сосед Люсик.

— Прально! — дружно зааплодировали пассажиры.

— А знаешь, почему у тебя все это произошло? — снова повернулся он ко мне. — Не обидишься? Только не обижайся! Ты, конечно, большой редактор, а я человек

простой. А вот слушал я тебя, пока она нам пудрила мозги, кивнул он на экскурсовода, и все думал: «Неглупый вроде мужчина, писатель, а какой все-таки мудака! Это же надо себя так подставить. Ну кто, кто просил тебя писать в анкете, что был ты в ихней КПСС? Честный, да? Честный? Ну теперь дадут тебе прикурить. Честность, знаешь, где нужна? В ресторане «Одесса», когда по счетам платишь.

«Дамы и господа, приехали! Не забывайте сумок и чемоданов!» — объявила «пионервожатая», так и не дав Люсику закончить своей мысли. Да и я не стал ни о чем расспрашивать, поскольку не перевариваю в обращении с собой подобного амикошонства.

Мистер Макговерн, «Ай промис ю!»

На завтра после объяснения с Фаней Лазаревной я явился в посольство, чтобы выяснить мнение консула: достаточно ли, наконец, доказательств моего антикоммунизма?

— А как вы сами, мистер Перельман, понимаете, достаточно или нет? Так вот, как знаете вы, так знает и он.

— Но что сказал консул? — настаивал я.

— Консул сказал: «О-Йес!»

— Что значит «О-Йес»?

— Спросите консула, что значит О-Йес. Я лично думаю, что О-Йес значит О-Йес.

— Значит все в порядке?

— Все в порядке, за исключением махонького «но».

— Какого еще «но»? — насторожился я.

— Нэмая вашего файла!

— Вы что в своем уме: что значит нэмая? Куда он мог задеваться?

— В том-то и дэло, что никто этого не разумеет. Нэмая и все, но файл!

После этого чудненького сообщения я окончательно понял, что застрял в Израиле надолго. Вернулся в редакцию и, печально обхватив голову, стал строить предположения, как будут развиваться события даль-

ше при такой симпатии к журналу со стороны арабских шейхов.

Файл выплыл также неожиданно, как исчез. Фаня Лазаревна позвонила мне домой и сообщила, что все бумаги отосланы в Вашингтон и «шо теперь все в руках у Бога» и надо ждать, пока подойдет очередность на подпись в генеральному прокурору.

— Какая еще очередность? Год прошел, Фаня Лазаревна!

— А шо ви думаете, что у них клиентура — только советские коммунисты? Там, знаете, очередность. Сколько там с Кубы одних проституток, других нежелательных лиц, сколько террористов, наркоманов! И все рвутся в эту страну, чтобы задарма пожить. И все стоят в общей очереди! Вашингтон за голову хватается, а что поделаешь? Демократия! Цыпленки тоже хотят жить.

Я позвонил еще через полгода. И еще. «Нэмая, нэмая!» — как заведенная отвечала Фаня Лазаревна. Пока однажды не позвонила сама и не сказала, что имеется кой-какая информация.

— По тэлефону не отвечаем!

Встретила меня озабоченная, подозвала меня к окошку и, пронзительно сверкнула очками, шепнула:

— Шлимазл! Где ваш рентген? В файле рентгена нет. Ви что? Рэнтген важнее визы, а може у вас палочки Коха? Бежите в поликлинику, напротив, спросите Риву Моисеевну, скажите от Фани Лазаревны. Только не забудьте для нее шо-нибудь прихватить. Ви поняли меня или не поняли?

Рентген был готов на следующий день. Палочек Коха не оказалось. И я понял, что моя коммунистическая эпопея подходит к концу. И события подтвердили, что на 90 процентов я был прав. Ну, а десять процентов? Десять положенных мне процентов я, естественно, хлебнул, уже став резидентом Америки. Уже поселившись на Пятой авеню, вместе с «Амлев Интернейшнел» и «Мумие корпорейтед», уже выпустив напару со своим замом и правой рукой 40 номеров журнала. А вышеуказанные 10 процентов хлебнул. И не пришел, кстати, от

этого в панику, ибо с рождения привык, что мне это на роду написано. Не с тем, так с этим, не с этим, так с чем-то еще. Кто «при-хлебателем» родился, тот «при-хлебателем» и умрет. Второй закон Джоуля-Ленца. Но про дальнейшее, джентльмены, лень рассказывать. Ко сну клонит. Все мои близкие к тому времени стали гражданами Америки, за исключением меня. Меня никуда не вызывали. Чиновники за пуленепробиваемыми стеклами пожимали плечами. Кто-то из них снова затеял волюнку, что неизвестно куда заделался мой файл. Наконец, очень важный человек, директор департамента, назовем его мистер Макговерн, с которым я перед этим уже раз сто беседовал по телефону, попросил меня вечером заглянуть к нему в офис. Приказал секретарше принести нам кофе и, демократично усевшись рядом на диван, сказал:

— Мистер Перельман, надеюсь, для вас не секрет, какая у вас проблема?

Я машинально мотнул головой.

— Вот именно! — воскликнул хозяин кабинета. — Но мы сейчас наводим справки. Ответа, правда, не получили. Но получим! Получим, мистер Перельман. Знаю, вы будете говорить, что у вас все в порядке и прочее. Ну, а все-таки мистер Перельман?

— Что все-таки? — не понимая пожал я плечами (почему-то именно этого «все-таки» я не выдержал), — опять ваш этот сюр!

— Именно. Как будто сами не знаете, что имеется в виду, когда я говорю «все-таки»? — взглянул он на меня испытующе (высокий красавец с седой шапкой волос, чем-то напоминающий Джорджа Вашингтона) и перевел взгляд на карту мира. — Мой дорогой мистер Перельман, КГБ не дремлет! Не дремлет КГБ. Куда ни плюнь, резиденты! Резидент на резиденте. Но мы верим вам, и вы должны нас понять. Короче, мистер Перельман, скажите мне только три слова: «Мистер Макговерн, ай промисю!»

Я чуть не взглянул на него, как на сумасшедшего, но тотчас силой воли изгнал из себя это опасное выраже-

ние глаз и, сделав свой взор максимально торжественным, проскандировал: «Мистер Макговерн, ай промис ю!» И почувствовал, как на спине у меня выступил холодный пот: «А вдруг он попросит объяснить, что именно я обещаю ему? О ужас. Я ж не смогу этого сделать!»

В этой новелле явно не хватает двух цифр: вступал я в партию (учитывая всю мою сомнительную преданность ей) всего пять лет. Выходил я из нее, учитывая всю мою искреннюю ненависть к ней, более 15 лет. Нет, я не вступлю в компартию не только по принципиальным соображениям, но и потому, что выйти из нее при жизни у меня просто не хватит времени. А умирать, чтобы на моей могиле золотыми буквами было начертано: «Всю свою жизнь без остатка отдал великому делу Ленина-Сталина» — мне как-то не хотелось.

Завещание дяди Сола

Но вернемся к первым моим дням в Америке. И в этом месте я просто обязан вспомнить нашего старого знакомого Эзахилла или просто Хилла Коршенбойма, вместе с которым (а также с его женой и папой) мы когда-то прибыли в Вену (помните: «Ах, Вена, Вена, как много в этом звуке для сердца моего слилось!»). И вместе с которым мы уже в Израиле пытались убедить его дядю Сола — божьего одуванчика — и великаншу тетю Бетю дать нам деньги на международную еврейскую газету «Шолом». Чем все это кончилось, надеюсь, помните, вот именно: торжественным дядиным восклицанием «Да, я помогу вам, я помогу вам морально!»

Тут надо заметить, что Эзахилл задолго до меня прибыл в Америку и с тех пор, как мы не виделись, сильно изменился. В небытие испарились его волшебной-прекрасная велюровая шляпа, венский плащ и серебряное кашне, он был в короткой выше пупа нью-йоркской кацавейке (из тех, что маловоспитанные люди именуют полупердончиком), в малиновой вязаной шапочке с круглым помпончиком, которая увенчивала его

мощную седовласую голову, в весело плескавшихся на ветру лыжных брюках и мощных белых кроссовках, которыми он мощно бороздил лужи на Амстердам авеню, цепко взяв меня под руку. Единственно, что не утратил Эзахилл — это своего профессорского тона, которым он словно с кафедры просвещал меня, неоперившегося салагу, только-только приземлившегося на американском континенте.

— Прежде всего ты должен понять, Виктор, что Америка — это не Израиль, из которого ты с таким трудом вырвался. В Израиле ты говорил: «Работай и гевортай, я еврей, прибыл на свою историческую родину и будьте любезны, давайте квартиру, телевизор, хуизер и все прочее...» А в Америке кто ты? Это ты скоро узнаешь сам. Я лично узнал, кто в Америке я, когда дядин адвокат познакомил меня с дядиным завещанием. Ты меня извини, если я несколько отвлекусь, но как говорили на нашей доисторической родине — у кого что болит — тот про то и говорит. Чтобы не задерживать твоего внимания, скажу тебе одно, что дядя своим завещанием сделал из меня потенциального убийцу. — Эзахилл достал платок, мне казалось, что он вот-вот расплечется, но он шумно на всю Амстердам авеню высморкался и сказал:

— Предлагаю тебе, Виктор, решить следующую арифметическую задачу. По данным дядиногo адвоката, его наследство составляет два миллиона долларов. Количество наследников равно 20. Казалось бы, чего проще, раздели два миллиона на 20 и ты получишь столик на рыло. Что сделал дядя? Нет, ты послушай, что сделал дядя. Он написал, что если он, не дай Бог, отдаст концы сегодня, то каждый из нас получит такой мизер, о котором даже говорить не хочется. Но зато, если вслед за ним на тот свет угодит... кого же вслед за ним отправить на тот свет? Да, чтобы далеко не ходить, моего двоюродного брату Яшку, который окопался в мясной лавке в Ташкенте, и вообще, неизвестно для чего коптит небо — так вот, если Яшка с его инфарктами и диабетом отдаст концы, то его столик разделят все остальные и каждый получит по довеску в пять тысяч. Я

ему прямо написал: «Дядя Сол, опомнитесь, вы же делаете меня заинтересованным в смерти всех ваших наследников. Вот возьмем вашего племянника Якова, божий человек, на ладан дышит, так что же я ему должен желать смерти? Может прикажете прикончить мистера Коршенбойма Якова, представляющего нашу ташкентскую ветвь? Дядя, я не согласен. Пусть Яков живет еще сто лет. Ицик из Лепеля живет, Берта из Минска, Кейля из Нижнего — пусть все живут до ста лет. Я слышал, что в России появился такой журнал «Мафусаил», который бросил девиз: «Каждому пенсионеру сто двадцать лет жизни!» Гуд, дядя! Файн! Но ведь вы-то меня призываете к их убийству!» Ты меня спросишь, Виктор, что произошло дальше. А дальше произошло следующее. Дядя Сол вообще исчез с горизонта, поскольку тетя Бетя спровадила его в Дом престарелых, и на мое послание ответила следующее: «Дорогой Эзахилл, если вы считаете, что дядино завещание несправедливо, и вы не хотите, чтобы ваша доля попадала к вашим родственникам, отдайте вашу долю правительству Голдочки и дело с концом». На что я ответил: «Тетя Бетя, большое спасибо за ваш мудрый совет, но почему бы нашей с вами любимой, которая давно уже ушла в мир иной, Голдочке не отдать вашу долю? Если захотите иметь адрес Голдочки, дайте знать и я мигом его раздобуду. А засим, с любовью, ваш двоюродный племянник Эзахилл Коршенбойм».



Борис НОСИК

РУССКИЕ ТАЙНЫ ПАРИЖА

Дом с привидениями на площади полковника Фабьена

В живописной деревушке Новой Англии, на берегу Атлантики, я встретил во время летнего отдыха старого московского приятеля и даже отчасти родственника, профессора Фридриха Фирсова, всю жизнь проработавшего в Институте Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК КПСС и занимавшегося там сугубо секретной историей Коминтерна. После краха КПСС шестидесятилетний профессор Фирсов, защитивший к тому времени уже две диссертации, написавший кучу книг и ставший одним из крупнейших в мире специалистов по истории Коминтерна, возглавил Московский сектор публикации документов коммунистического движения в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории.

В старые времена эти «пещеры Али-Бабы», попасть в

которые мечтал всякий историк, назывались и короче и точнее — ЦПА (Центральный партархив), профессор Фирсов попал туда еще лет сорок тому назад (ну и до старости оттуда не вылезал).

В Секторе публикации он стал известен крупнейшим зарубежным историкам Коминтерна. Имя его почтительно упоминали тогда то «Монд», то «Република», то «Карьере дела Сера». В последние годы в жизни профессора Фирсова произошли непредсказуемые перемены. Вслед за уехавшими в США дочерьми и внучками он покинул Москву, а также любезные его сердцу архивы и поселился на мирном атлантическом берегу штата Массачусетс, где ни праздным пляжникам, ни трудовым американцам, ни русским эмигрантам, конечно, и дела нет ни до путаных резолюций товарища Димитрова, ни до жизни, мук и гибели всесильного Осипа Пятницкого, ни до Зейбота с Трилиссером, ни до Клары Цеткин... Так что, скучающий профессор встретил меня, любопытствующего, очень радушно и допустил в дебри своих многолетних архивных выписок, которые он сопровождал бесценными комментариями, за что не могу не быть ему бесконечно признательным.

Меня интересовала, конечно, в первую очередь славная история французской компартии, которая до сих пор пользуется непостижимым для меня престижем среди французских интеллектуалов, помнящих, что в недавние времена «интеллектуал» во Франции это и значило «левый».

В душевные дни американского отпуска мы с профессором Фирсовым обратились к истокам «сугубо национальной» (по утверждению французской пропаганды) коммунистической партии, и тут в ушах моих зазвучали вовсе неизвестные, даже французам незнакомые, имена. Например, имя А.Абрамовича (подпольные клички Альбрехт, Залевский и другие). Или имена Леона Пурмана, или Эугена Фрида... Я обнаружил, что французскую компартию создавали в первую очередь выходцы из России А.Е. Абрамович, Владимир Деготь, Елена Соколовская, привлечшие (или допустившие, хотя и с осто-

рожностью) к своей работе Фернанда Лорио и других более или менее надежных аборигенов.

Абрамович и его помощники были большевики-ленинцы, профессиональные подпольщики, и может, отчасти поэтому партия с первого дня так много заботилась о конспирации, о сокрытии истинных целей и мотивов своих действий. Для публики существовал, конечно, обычный набор пропагандистских штампов: «борьба за интересы трудящихся», «борьба за свободу», «борьба за мир», и т.п. Истинные цели были всегда те же, и очередные задачи этому «франко-говорящему» отделению Коминтерна всегда ставила Москва (еще точнее — московский ЦК и ГПУ, а у ж совсем точно товарищи Ленин и Сталин). Но не будем спешить. Давайте проследим, как же создавалась коммунистическая партия Франции.

Методы ее создания были поначалу старые, большевистские, ленинские. Во Франции существовала уже социалистическая партия, руководимая вполне почтенными вождями, вроде внука Карла Маркса Жана Лонге. И раз не удавалось сделать Лонге марионеткой Москвы, надо было его скомпрометировать, отколоть от его партии как можно большую часть и полностью подчинить ее Коминтерну. Этим и занялись в Париже товарищ Абрамович и его помощники, а в Москве — Исполком Коминтерна.

Исполком обнаружил письмо, где заявлял об отказе сотрудничать «с теми правыми вождями «независимцев» и лонгетистов, которые тянут движение назад в буржуазное болото желтого II Интернационала». Не годились как основа для этой легально-подпольной ячейки Москвы и прочие французские левые. Обо всем этом я нашел архивные выписки, сделанные профессором Фирсовым и еще не обнародованные (а недавно снова ставшие в Москве секретными), — так что читатели многое получают здесь из первых рук. Например, замечательное письмо Абрамовича (фонд 495, оп. 18, ед. хранения 3, листы 54, 55, 57), который сетовал что одна их двух существующих во Франции коммунистических групп требует оружия, покушений и «прочих прелес-

тей». Не то чтоб Абрамович не ценил покушений, но на этом этапе его главной задачей было создание высокоорганизованной, дисциплинированной и послушной Москве ячейки Коминтерна под видом «национальной партии». Вот как он сам пишет об этом:

«Конечно, мы ничего против вооруженной силы не имеем, но главная штука в том, что все эти храбрецы ни за что не согласны работать в армии. Я прямо им всем заявил: для революции, а особенно после революции, необходима сплоченная, дисциплинированная коммунистическая партия... ЦК должен иметь диктаторские полномочия и всякий, не подчиняющийся дисциплине, должен быть удален... Если бы вы к нам еще Радека или Бухарина или кого другого (Вам виднее) для политического руководства секретариатом... покорно прошу предложить Гильбо, чтобы он, во-первых, давал свои письма на цензуру Исполнительному Бюро Интернационала...»

Из этого мало кому известного письма можно уразуметь, какая партия нужна была Москве. Ну, а судя по тому, что ни Радек, ни Бухарин не были (как и Деготь с Абрамовичем) французами, говорить о «национальном характере» создаваемого ими органа вряд ли есть основания. Вся история этого органа — «московская тайна».

Все эти передаваемые шифровками, а оттого довольно развязные откровения по поводу создания партии диктатуры и подавления в чужой, демократической стране вовсе не отражали теоретических изобретений влиятельного лишь среди младших по званию аборигенов, а в общем-то рядового исполнителя поручений Коминтерна А.Абрамовича. Установки о военной дисциплине в партии, о подавлении, насилии и терроре давал кумир всех последующих тоталитарных вождей В.И. Ульянов-Ленин. Специально для ком-активистов всех стран он разъяснял в ноябре 1920 года в журнале «Коммунистический Интернационал», что тот, «кто не понял необходимости диктатуры... тот ничего не понял в истории революций...», а диктатура «означает — примите это раз и навсегда к сведению — ... неограниченную, опирающуюся на силу, а не закон, власть». И те зарубежные

коммунисты, что делали потом вид, что не знали о том, что коммунизм — это прежде всего беззаконие, насилие и террор, они или кривили душой или были необразованны и глуповаты. И тех и других за десятилетия нашлось немало. И тех и других немало еще и нынче.

Ну а каким способом должен был все-таки подпольщик Абрамович переманивать французских социалистов в свою малопривлекательную для независимых и мыслящих людей организацию? У Ленина на этот счет было твердое мнение — деньгами. Владимир Ильич всегда был уверен, что деньги — это нерв войны, всякой войны, и особенно гражданской, особенно подпольной. Он высоко оценивал эффективность всех видов подкупа и заманчивость привилегий, поэтому и требовал, чтоб денег на «мировую революцию» давали без счета и чтоб тратили их агенты Коминтерна и ГПУ тоже без счета.

Поскольку Ильич был осведомлен, что «российский пролетариат» и «трудовое крестьянство» в России пухнут от голода, что презираемые им интеллигенты, спасая крестьян, вымалывают для России бесплатное зерно за границей, то это его настойчивое требование швырять деньги на заграничную подрывную работу невольно наводит на мысли о его системе ценностей и об искренности его признаний в любви к трудящимся.

Секретарь Коминтерна и бывшая подруга Муссолини Анжелика Балабанова, вербовавшая для Ленина левых в Швеции, вспоминает:

«Корабли прибывали в Стокгольм каждую субботу. Они привозили мне огромное количество денег... Цель подобных денежных перемещений была мне непонятна... Я получила письмо от Ленина, в котором он писал:

«Дорогой товарищ Балабанова... я умоляю Вас, не экономьте. Тратьте миллионы, много миллионов». Мне разъяснили, что я должна использовать деньги для поддержки левых организаций, подрыва оппозиционных групп, дискредитации конкретных лиц и т.д.»

Судя по приводимому ниже малоизвестному письму Абрамовича, приток денег из нищей России в Париж для подкупа будущих «революционеров» смущал не только

трепетную Анжелику, но и этого профессионального подпольщика тоже:

«... О деньгах вообще хочу Вам написать очень подробно, так как если Вы не перестанете ими сыпать и всякому прохвосту давать деньги, то в конце концов нам придется официально отказаться от всяких средств...»

Партии, сообщал в своем письме Абрамович «возникают по приезду людей с деньгами ... соответственно количеству приехавших из России товарищей с деньгами... все почуяли, что можно поживиться от русского пирога».

В этом незнакомом рядовым «товарищам» и даже партийным историкам письме никому не известного (вы не найдете его имени ни в одной энциклопедии), но оттого не менее важного творца французской компартии А. Абрамовича сокрыта одна из многих «русских тайн» французского коммунистического движения:

«Создается соревнование, чтоб попасть ближе к портмоне. Все мыслят только так, что за всякую мелочь член партии должен быть вознагражден... В партиях царит дух коммерческих предприятий, сплетни, подкапывание...»

(Понятно, что речь идет о начальном периоде партийной жизни, потом система и методы подкупа усложняются, дифференцируются, возникает сложнейшая система «привилегий» и почестей, на которые так падки смертные.)

Если религиозно-верующий большевик Абрамович (он же Альбрехт, он же Залевский) хотел бы «изгнать торгующих» из военизированного коммунистического храма, то другой организатор французского филиала Московского центра Владимир Деготь как непосредственный ученик Ленина считал, что денег от Москвы надо получать как можно больше.

Деготь имел счастливую возможность наблюдать ленинскую борьбу за деньги в Париже. О пользе денег Ильич толковал ему в Лонжюмо. Сам Деготь был рабочий, ремесленник, специалист по изделиям из кожи, и партия приспособила его поначалу к изготовлению чемоданов с двойным дном для тайной доставки валюты.

В РСДРП Деготь вступил пятнадцати лет отроду, год спустя участвовал в революции 1905 года, потом в стачках 1906 и 1907 года, после чего бежал в Париж, где и познакомился с самим Лениным. Именно по поводу тайных агентов Коминтерна (в связи с первой книгой об эмиссаре Коминтерна Э. Фриде) один из французских публицистов писал недавно, что люди эти пришли в революционные группы очень рано, почти мальчишками, не успев еще приобрести знаний и выработать собственное мировоззрение. Оттого они и становились чаще всего догматичными партийцами, дисциплинированными, не рассуждающими солдатами конспиративной службы, почти всегда оставались в тени и сгинули где-то в лагерях, не оставив после себя ни мысли, ни слова, а лишь липкий привкус и запах пролитой крови. Большинство из них были русскими или восточно-европейскими евреями, что наводит всякого еврея, преодолевшего комплексы национальной неполноценности, на грустные мысли о покаянии, а воспоминание о том, как страшно они кончили свою жизнь, мыслей этих не отменяет.

Что же до Владимира Дегтя, то он евреем, похоже, не был, но «коминтерновской» судьбы не избежал. В июле 1917 он вернулся из Франции в Одессу, в 1919 вел большевистскую агитацию среди французских моряков, вскоре был послан в качестве тайного агента Коминтерна в Италию, а потом во Францию, где вместе с Е. Соколовской и Абрамовичем устраивал для Москвы французскую компартию, жалуюсь Коминтерну, что «средства на исходе» и что нужны «серьезные средства», а не вся эта ерунда, которую так трудно продать где-либо, кроме России. Он участвовал еще в нескольких конгрессах Коминтерна, был с 1931 года заместителем министра, а в 1938 попал на курорты Гулага, где и сгинул в 1944, успев оставить потомству две мемуарные книжки...

А. Е. Абрамович, с таким отвращением писавший о методах коминтерновского подкупа «активистов», был всего на год старше Дегтя, то есть в пору создания ими

компартии Франции ему было 32 года. В РСДРП он вступил позже, чем Деготь (может, в этом причины их различий) — 22 лет отроду.

В 1911 году он отправился в Швейцарию и там познакомился с Лениным, вместе с которым и вернулся «впломбированном вагоне» в Россию. Позднее Абрамович занимался большевистской агитацией в армии (на румынском фронте), был делегатом партийного съезда в Петрограде, а в 1919 уже выехал в Западную Европу как тайный агент большевиков и сеял смуту в Мюнхене, Берлине, Праге и, конечно, в Париже, откуда прибыл в составе французской делегации на Второй конгресс Коминтерна в Москву. Вскоре после этого он участвовал в съезде французской социалистической партии в Туре (где преуспел в расколе этой партии и создании собственного прокоминтерновского филиала).

После Франции Абрамович занимался подрывной работой при советских посольствах в Таллине, и Вене, вернулся в Москву для «политической» и «педагогической» работы при Коминтерне (о характере той и другой догадаться не трудно). Его «трепали», конечно, в годы Большого Террора, но, кажется, не добились, как бедного Дегтя в лагерях. Вот такой человек и создавал «национальную партию» для французов. Что же касается «чепухи», присылаемой из Москвы, вместо «серьезных средств», о которых писал Деготь, то здесь речь идет о ценностях, изъятых «у имущих» и, вероятно, порядком разворованных на пути к французскому отделению Коминтерна, к тому же сравнительно скромных, поскольку отделение это не обещало (в отличие от более расторопных и наглых венгерских или германских группок) мгновенного развязывания гражданской войны и взрывов революций.

Описи этих награбленных у русского населения разнообразных предметов тоже бережно хранятся ныне в коминтерновских архивах. Преодолевая брезгливость, покопаемся в этой куче награбленного:

«Акт от 27.03.1922. Изъяты из Кладовой 2 четыре места по делу 827. Описи ценностей:

Золотые дамские часы испорченные
 Золотые дамские часы с одним бриллиантом
 Золотые запонки манжетные, усыпанные розочками
 Кожаный футляр для кастрюли
 Медная крышка от церковного сосуда
 Медная складная икона

Подпись: Представитель Коммунистического Интернационала (неразборчиво)

Подобных актов сохранилось множество. В них перечислены краденые серебряные ложки, блюда, тарелочки с именованными надписями, золотые пуговицы, брильянтовые брошки, переданные гепеушной кладовой романтическому Третьему Интернационалу. Списки эти были вовремя пересняты (в архиве того же профессора Фирсова в Москве) французским историком Виктором Лупаном, который вместе с Пьером Лораном издал в престижном парижском издательстве «Плон» книгу «Деньги Москвы».

Не знаю, как все это видится французским читателям, разорившимся на покупку этой поразительной книги, где пересняты тайные документы о «кормлении» французской компартии, — мне лично представляются ночные налеты гепеушников на мирных соотечественников, обыски, грабежи («грабь награбленное», — призывал великий вождь революции), и подвалы ГПУ, и загребущие руки «революционных» авантюристов, обещавших в обмен на золото немедленное «народное возмущение» и революцию. Многие из «зарубежных товарищей», прикарманив краденое, ассигнованное на революционную работу, исчезали в неизвестном направлении. Иные, впрочем, часть денег возвращали лопухам из московского Коминтерна, которые отечески их пожури, доверяли им новые ответственные посты.

Не надо думать, что одного только фанатика Абрамовича смущала ленинская вакханалия революционной коррупции. Упомянутая выше товарищ Балабанова объясняла позднее свой «окончательный разрыв с Коминтерном» именно «денежным вопросом». Первый секретарь французской компартии (номинальная долж-

ность, на которой состояли аборигены) Фроссар заметил, что «денежная манна», которая сыпалась на западные компартии из Москвы, держала эти партии в повиновении.

Другие лидеры — идеалисты, вроде уроженца Киева и одного из основателей КПФ Бориса Суварина — Лившица, индийца Роя и немца Ройтера тоже выражали сомнение в том, что «можно создавать коммунистическое движение на основе денег».

Легко догадаться, что идеалисты эти продержались на своих постах недолго. В том-то и состояла одна из главных задач московских организаторов новой партии, чтобы найти «на местах» самых послушных, не рассуждающих деятелей на номинальные посты лидеров (пусть они даже будут глуповаты, эти лидеры, и подловаты, и трусоваты...) В этом, в сущности, и состояла линия тайных эмиссаров-организаторов и одна из главных «русских тайн» движения.

Подобные тайны во множестве сокрыты в здании блочно-стеклянной панельной многоэтажной конторы французской компартии на площади полковника Фабьена, огромного дома, по которому и по сей день неотступно бродят призраки и привидения.

Что касается «денег для Парижа», то документы и свидетельства на этот счет хранятся в ныне запоздало закрывшемся снова архиве — в изобилии. Есть письмо Ленина (написанное в октябре 1918) тогдашнему послу в Швейцарии Яну Берзину о том, чтоб денег на большевистскую пропаганду во Франции — «не жалеть!» Есть мартовский отчет 1922 года Бюджетной комиссии, созданной решением Политбюро ЦК, согласно которому Франции на коммунистическое издательство было выделено Москвой больше полмиллиона тогдашних франков (Германии, впрочем, чуть не в пять раз больше, Великобритании в два, а Италии в три раза больше).

Позднее, наряду с регулярными пособиями, были и целевые. Ну, скажем, просит писатель Барбюс денег на издание журнала или написание угодливой книги о Сталине — дают.

Итак, деньги потекли рекой, верные эмиссары произвели первый призыв «послушных Коминтерну», и товарищи из Центра, вроде Зиновьева и Троцкого, дали сигнал начинать революцию в Германии и Венгрии. На Францию была пока возложена второстепенная задача. Под руководством «Комитета Третьего» французские коммунисты должны были ...взорвать Рурский бассейн. Зачем? А чтоб французская буржуазия не смогла пройти в Германию для удушения германской большевистской революции. Конечно, это авантюрный бред, но ведь и планировали катастрофу авантюристы, вроде Ленина, Зиновьева и Троцкого, изучавшего военное дело в шумном кафе парижской богемы по французским патристическим газетам.

Конечно, никакой революции в Германии и Венгрии не состоялось. И французский «Комитет Третьего» пришлось распустить. И уже товарищи Абрамович и Деготь запрашивали Москву «что делать дальше» в связи с тем, что в Париже войной, к великому сожалению, не пахнет. А в Москве и сами не знали, что делать с победой коммунизма внутри страны (обещали торжество его со дня на день, в конце концов Ленин предсказал его расцвет на 1937 год, а Хрущев чуть-чуть просил отодвинуть) и тем более, что делать с нанятыми по всему свету агентами. Впрочем, ГПУ-то знало, что делать: его агенты должны проводить агентурную работу в пользу работодателя, то есть Коминтерна, ЦК и органов. Вот и стал Коминтерн на два десятилетия крупнейшей в мире саботажно-шпионской организацией русского подчинения, имеющей в каждой стране мира свои отделения-компартии. Как выразился Дм. Волкогонов в своей книге о Ленине (т.2 стр. 290), «Коминтерн был придатком спецслужб НКВД».

Конечно, руководящие товарищи еще спорили между собой о тонкостях субординации и компетенций, боролись за власть, жаловались друг на друга в Москву. Революционный Деготь стучал в Москву на революционного Абрамовича. Чекист Зейбот требовал, чтоб французские «товарищи» подчинялись непосредствен-

но ЧК, а Коминтерн утверждал, что вербовать агентов следует через его, Коминтерна, представителей. Хотя тут было в порядке неизбежной уступки сильнейшему оговорено, что Коминтерн за границей «обязан оказывать ВЧК, Разведупру и его представителям всяческое содействие».

Руководители большевистского ЦК неоднократно объясняли, что им нужны не любые партии, а партии дисциплинированные, милитаризованные и нелегальные (то есть, скрывающие за легальной витриной тайную, нелегальную сеть).

Заветы пламенных вождей мировой революции были исполнены. Тайной, конспиративной стала вся главная работа в компартии, вся переписка московских органов с французскими «секретарями» ЦК, которая в конце концов мало чем отличалась от обычной шпионской переписки (те же коды, клички, иносказания, шифровки). Вот образец (добытый нами в скрупулезных выписках профессора Фирсова из архива) такой шифрограммы. Она послана пламенным Димитровым пламенному Торезу, но передана не из рук в руки, а через шифровальщиков, через французского завкадрами Треана, через курирующего марионетку Мориса Тореза эмиссара Москвы Клемана-Фрида. Да ведь и самому Димитрову в Москве бумажку эту только дали на подпись, а всеми этими делами занимались российское ЦК и ГПУ:

«Назначается явка на 19-ое и запасная на 21-ое декабря около кинотеатра «Агора», у главного входа с площади в 16 часов... Явившийся на свидание ваш человек должен держать в руках такой же журнал и трубку...»

Чем не анекдотический пассаж «шпион живет этажом выше»? И в этом родстве компартии с ЧК нет ничего удивительного — высокие функционеры и агенты без особых проблем переходили из ведомства ГПУ в ведомства Коминтерна (вплоть до самой верхушки), это была одна «система». Так было с Треппером, Трилиссером, Зорге и другими. Все они были агенты, а уж как их называть (шпионы, разведчики, диверсанты, революци-

онеры или даже «бойцы невидимого фронта») — это дело личных пристрастий.

Итак, уже в 20-е годы, после угасания надежды на немедленный взрыв мировой революции, французский филиал Коминтерна — КПФ — становится резервуаром вербовки кадров для ГПУ и инструментом московской внешней политики. В 30-е годы в России разворачивается кровавая, воистину параноическая борьба Сталина за укрепление своей власти.

Архивы свидетельствуют, что органы компартии Франции становятся в эти годы полицейскими органами «чисток» и преследования инакомыслящих, истинных и вымышленных (все как в Москве, только расстреливать в демократической Франции никто не позволит, хотя особо чувствительных можно довести до самоубийства).

«Внутренней полицией» французской компартии становится отдел кадров ЦК КПФ, подчиненный московским спецслужбам. В докладной на имя шефа Коминтерна Димитрова сообщается, что при кадровой комиссии ЦК КПФ будет создан «сектор информации», на который «возложена следующая задача:

своевременная политическая информация о методах проникновения в руководящий состав и ряды партии троцкистов и иных провокаторов и шпионов и борьбы с ними...

Перепуганный до смерти Г. Димитров на полях докладной добавляет: «и о методах их подрывной деятельности».

Все в этом документе, определяющем деятельность французской компартии, — и страх, и мания преследования, и отзвуки сталинской борьбы за укрепление власти — все узнаваемо. Только причем тут французские национальные интересы? Причем тут «французские трудящиеся», о любви к которым уныло трубит компартия и вторят преданные Москве Барбюс, Роллан, Арагон, Элюар... Старику Роллану не хватало национальной славы. Барбюс едет в Москву и требует денег на газету и аванс на книгу, в которой он до небес вознесет

Сталина (архивы свидетельствуют, что аванс дали, но вполне умеренный, но зато обещали солидный куш по выходе книги). Арагон тоже обещает кое-что «товарищам в штатском» и воспевает уже непосредственно ГПУ (его русская жена напоминает ему, что это некогда принесло пользу самоубийце Маяковскому).

В упомянутой докладной о тружениках «сектора информации» при КПФ сказано далее, что «эти товарищи в своей работе будут подчиняться спецсектору ЦК и осуществлять связь с последним на основе строжайшей конспирации».

«На крупных предприятиях... как например, «Рено», где насчитывается 6-7 тысяч коммунистов... выделяют для этого по одному члену окружкома».

Планируется «установить получение ЦК политинформации обо всех антипартийных настроениях на предприятиях... через партийных информаторов».

Все по-московски — и стукачи, и доносы, и страх перед «врагами народа» и «провокаторами». И особая подозрительность по отношению к инородцам:

«Проверять и изучать эмигрантский состав партии, особенно поляков, итальянцев, венгров. Проверять уже выбывших членов партии. Вся эта ответственной работой должна проводиться под непосредственным наблюдением и руководством Генерального секретаря КП Франции тов. Тореза».

Товарищ Торез (как товарищи Дюкло и другие французские товарищи) лишь марионетка в этих московских играх. В 30-е годы партией руководит (и до сих пор мало кому известный и в партийной истории ни разу не упомянутый) эмиссар Коминтерна Эуген Фрид. Ему помогают коллеги по Коминтерну Анна Паукер, Витковский, Пурман, Эрне Гере (тот самый, что возглавлял позднее венгерские органы). А Торез? Эуген Фрид провел большую работу прежде чем отобрал на роль местных «лидеров» двух самых послушных, самых честолюбивых, на все способных и беззастенчивых — Тореза и Дюкло. Оба они знают и помнят, чем обязаны Москве и лично товарищу Фриду. Оба получают от него указания

Москвы (ЦК и ГПУ-НКВД). Напрямую они связаться с Москвой не могут, к тому же они могут и не понять, чего в этот момент требует Москва (очень тонкая и переменчивая линия — нынче антифашистская, завтра профашистская и т.д.). Для всего этого у них есть радист и шифровальщик, подчиненные завкадрами Треану, ну и на всех есть Фрид — он учит, он указывает, он требует, за его спиной Москва, Коминтерн, ЦК, ГПУ, поздней НКВД.

Долгое время десятки высокоученых томов по истории французской компартии делали вид, что никакого Фрида не существовало. И вот недавно, в 1997 году появился в парижском престижном издательстве «Сей» толстенный том о Фриде. Дорвавшись до московских архивов (в том же отделе профессора Ф. Фирсова), два видных историка на основе сотен подлинных документов установили и поведали читающей публике о том, что все малопонятные телодвиженья Тореза или Дюкло, все их бесчисленные тайны — были московскими (а позднему «русскими») тайнами, опять же сокрытыми за стеклами «Дома с привидениями на площади полковника Фабьена». Красная бандероль на толстенной книге Анни Крижель и Кристиана Куртуа представляет ее содержание как «великую тайну КПФ». Я бы охарактеризовал ее лишь как часть той нехитрой тайны, что французская компартия была одним из местных филиалов Коминтерна, ЦК большевиков и московского ЧК-ГПУ-НКВД. Но даже такого открытия здешним поклонникам и потомкам поклонников французской компартии попросту не переварить (вот им и выдают его по частям). И так уж открывшиеся на время московские архивы повергают здешних коммунистов в уныние и растерянность. «Ну что же все тайны да тайны, разоблачения да разоблачения... — жалобно сказал недавно улыбчивый секретарь партии Робер Ю., — нашли бы что-нибудь вдохновляющее...» Но вдохновляющего нет. Все вдохновляющее (преувеличенное в сотни раз и раздутое до мифического абсурда) уже давно изложили и воспели партийные песнопевцы.

А теперь выясняются все новые тайны. Вот недавно поднялся здесь шум по поводу книги чеха-историка Карела Бартошека. Из нее левые французы узнали, что любимый их герой-коммунист Артур Лондон (автор книги «Признание», а роль героя-автора в одноименном фильме сыграл еще бывший тогда коммунистом Ив Монтан) был в бытность свою парижанином агентом Коминтерна и стукал в московские органы на «подозрительных» друзей-товарищей по партии. В той же книге были обнародованы документы, свидетельствующие о том, что дезертировавший из французской армии во Вьетнаме и ставший затем палачом пленных французов во вьетнамском лагере смерти товарищ Жорж Бударель находился под особым покровительством самого секретаря ЦК КПФ товарища Плиссонье, который после возвращения вьетнамского истязателя в Европу хлопотал об устройстве его быта за партийный счет.

Стало быть, «коммунистическое перевоспитание» простых французов в лагерях смерти никак не противоречило убеждениям французского коммунистического секретаря.

Компартия Франции помогла устроиться Бударелю на непильную работу в Праге, получить дешевую квартиру, а потом уж и устроиться во Франции, где он как большой эксперт по «коммунистическому перевоспитанию» был пристроен в университете (а в «своих» университетах коммунисты еще не утратили власти) профессором — то ли этики, то ли эстетики. Потом Будареля опознали на улице недобитые им в лагерях ветераны войны и подали на него в суд. Конечно, «свои люди», которые у французской компартии везде, не дали в обиду верного сына партии, но последние из выживших ветеранов время от времени все же тревожат коммуниста Будареля, который первым из здешних активистов осуществил мечту о «коммунистическом перевоспитании» соотечественников методами Гулага.

Совсем недавно во Дворце правосудия на острове Сите, в том самом зале, где полвека назад свидетели Кравченко, познавшие советские лагеря, напрасно пы-

тались докричаться до французских интеллектуалов, снова проходил процесс о «преступлениях против человечности» Жоржа Будареля, и Бударель, уверенный в своей безнаказанности, снова говорил о великом праве коммуниста управлять чужими жизнями...

Московские архивы открыли за последнее время совершенно ошеломляющие связи святых и героев компартии с органами в Москве, и компартия Франции объявляет сегодня эту откровенность архивов чуть ли не «провокацией» и «фальшивкой».

Или взять нашуевшую историю «Народного фронта». Мало того, что всю операцию проворачивал Эуген Фрид под прикрытием Тореза, но и ему, всесильному агенту Коминтерна, приходилось чуть ли не ежедневно запрашивать Москву, что делать дальше. И Москва передавала шифровкой указания Сталина: «продолжать теперешнюю линию, не доводя до срыва».

В какой-то момент Торезу очень хотелось стать министром нового правительства, но шифрограмма из Москвы его одернула: «Следует бороться за правительство Народного фронта без коммунистов». Торез обещает «сделать все, чтобы добиться правительства Народного фронта без коммунистов». Но установка кажется Торезу нелепой, и он снова через неделю высказывается за вхождение в правительство «чтобы не сорвать национальную концентрацию сил». Москва угадывает тайное желание Тореза, но поблажек не дает. Он ерзает и посылает новый запрос: «сообщите, какой тактики нам держаться». Ибо он и шагу не смеет ступить без Москвы и Фрида.

20 марта 1937 года Димитров после нового совещания со Сталиным дает Торезу (имя его в шапке обычно идет третьим после Треана и Фрида — «Клемана») окончательную шифрограмму:

«Жанетта против участия спортсменов в синдикате национального единения. Такое участие в нынешних условиях приведет неизбежно к компрометации клуба... Жанетта считает, что только состояние войны против фашистской тирании могло бы изменить такую позицию спортсменов». И директор «клуба» «спортсмен» Торез,

вздыхнув, уже через три дня козыряет «усатой Жанетте»: «согласны относительно неучастия в правительстве». Торез лучше любого другого знает, как зовут Жанетту, кто платит деньги и кто заказывает музыку.

Французские «спортсмены» так втянулись в пропагандистскую мельницу «антифашизма», что директива Москвы, разъясняющая, что вообще-то пакт с Гитлером очень полезен, так как «разъединяет агрессоров», застаёт их врасплох. Они все еще осуждают фашистского агрессора, а Москва уже приказывает следить за тем, как коммунисты реагируют на заключение пакта с Гитлером. Примечать и заносить в черные списки всех, кто не сразу воскликнул «Ура!». Этот факт заносится отделом кадров в их биографии. Он будет сохраняться вместе с фотографией «на тот случай, если кто-нибудь из этих товарищей должен быть исключен из партии...»

Преступное промедление при выражении восторга пакту с Гитлером может быть позднее поставлено в вину и стоить жизни.

В архивах отдела кадров Коминтерна хранятся все виды парижских и московских доносов, а также переписка о пополнении этого архива, и, благодаря трудолюбию профессора Ф. Фирсова, мне довелось ознакомиться с одним из таких писем: «Мы не имеем ни решения, ни оценки руководства КПФ по Рене Жану в связи с его позицией после заключения советско-германского пакта...»

Легко убедиться, знакомясь в этом лабиринте бережно хранимых доносов, что и сам товарищ Дюкло опоздал в свое время с выражением восторга по поводу фашистско-коммунистического братания, и это опоздание было внесено в его анкету. Подобный компромат вовсе не является бесполезным, он позволяет держать его в страхе и идеальном послушании, что и подтверждено было поведением товарища Дюкло в послевоенные годы. Так что, шпионство внутри партии, пристальное наблюдение за реакцией товарищей и царившее в компартии всеобщее взаимное доносительство (о котором неумолимо свидетельствует архив) были правилом, которое зарегистрировано во множестве французских партий-

ных документов. Вот крошечный отрывок из деловой справки, составленной завкадрами КПФ Треаном (по кличке Ле Гро) для своего промежуточного босса тов. Димитрова в Москве — номер 495, 74, 511, листы 62-63:

«... теперь абсолютно необходимо знать имена тех, кто голосовал против исключения или воздержался, иметь о них максимум данных (об их работе, их связях с исключенным из партии и т.д.), знать точные причины, почему эти товарищи придерживались такой позиции. Для ведения борьбы против провокаций предполагается найти товарища, который мог бы добровольно работать... что даст мне возможность заняться более важными делами провокации. Мы также предполагаем найти трех-четырёх товарищей, которые могли бы для Парижского округа провести некоторые специальные расследования и известную проверку...»

Товарищ Димитров (зная, без сомнений, что никаких «провокаторов» у хитреца Треана нет) с серьезностью читает всю эту ахиню, и даже отчеркивает карандашиком последний абзац — «важно!» — ибо он тоже ходит под богом (под жестоким богом террора) и, когда летят головы — сохранить бы свою...

Сперва надо было пристально следить, не испытывает ли кто хоть малейшей симпатии к исключенным из партии, ошельмованным, оплеванным — и взять «уклонистов» на карандаш. Потом Сталин вдруг в одночасье стал сторонником Гитлера, и тут надо было следить за тем, как реагируют на это ошеломленные французские «антифашисты».

Но вот нацисты вошли в Париж, и Гитлер, все еще «друг» коммунистов, их союзник и «антиимпериалист», предстал в качестве «оккупанта», так что все труднее марионеткам из КПФ запрашивать Москву о расписании уроков и все трудней догадываться (Торез уже дезертировал из французской армии и сбежал в свой русский тыл, а в кукольном кресле Парижа сидел отобранный Эугеном Фридом Дюкло), — так вот все труднее понять, кто же теперь друг, а кто враг. Судя по всему, другом еще являлись оккупанты.

ЦК французской компартии даже вступает в это время в переговоры с нацистской комендатурой и главным эмиссаром Берлина Отто Абетцем о возможности легального издания «Юманите» в оккупированном Париже. Переговоры с Абетцем ведут сам Треан, Катла, Рейде, Фуассон. Французская полиция, вмешавшись, арестовывает Рейде и Треана. Адвокат Фуассон добивается их освобождения. 17 июля в Москве Торез докладывает об этой инициативе в Коминтерне и получает добро. Но через три дня выясняется, что эта инициатива разозлила кого-то на самом верху (Коминтерн — это еще не верх!). В Париж приходит шифровка — «Прекратить!» Полный переполох в КПФ. Надо объясняться. По сию пору коммунистические лидеры во Франции объясняют публике, что переговоры эти были инициативой каких-то мелких пешек, что руководство партии не имело к ним отношения. Обращение к архивным выпискам профессора Фирсова безжалостно опровергает эту версию. Даже тогдашняя попытка Дюкло оправдаться перед Москвой вступает с нынешней официальной версией в противоречие. Вот как рассказывает об этой попытке красно-коричневого альянса сам Жак Дюкло в письме, которое уцелело в ничего от нас не таящем архиве:

«Решили сделать соответствующий демарш, не впуская в это дело руководителей партии. Послали с этой целью тов. Дениз Рейде, женщину, в немецкую военную комендатуру».

Потом, испугавшись московского гнева, решили все свалить на адвоката Фуассона: исключили его из партии и создали даже «дело Фуассона»...

Есть и другие любопытные московские шифрованные телеграммы времен войны (они и определяли всю тактику компартии): «Ничего не говорить о генерале Де Голле». «Критиковать антидемократическую линию Шарля де Голля (и тут же рапорт из Парижа: «показали реакционный характер движения де Голля» — видимо, на фоне прогрессивного Гитлера!).

Потом Гитлер, на целый месяц опередив агрессию Сталина, напал на Россию. Теперь важнее, чем прежде,

была подпольная сеть Коминтерна, но в мае 1943 года Сталин вдруг объявил о роспуске этой всемирной шпионской организации. Мнения отделов Коминтерна и его вассалов никто не спрашивал. Просто 20 мая 1943 Георгий Димитров кодированной радиogramмой за подписью «Поль» известил об этом Дюкло, который через пять дней такой же радиogramмой (за подписью «Ив») отозвался: «Слушаюсь!»

Еще через три дня сам Сталин публично объяснил причины «ропуска»*: Сталин заявил, что контора закрыта, чтобы нанести удар тем клеветникам, «которые утверждают, что коммунистические партии различных стран действуют не в интересах своих народов, а подчиняются приказам из-за границы». Поскольку такая мысль все-таки могла прийти в голову каким-нибудь клеветникам, то теперь, после «ропуска», все будет шито-крыто, комар носа не подточит. «Клеветников», вероятно, этот примитивный тактический ход обмануть не мог, но миллионы обманутых и запуганных Гитлером и уже объявивших Сталина богом-избавителем, могли и этому жесту поверить — и умилиться. А Сталину нужны были новые пропагандистские и тактические ходы, ибо он готовился к завоеванию Европы и, по возможности, всего мира. И подобно Гитлеру, он знал, что прямая ложь действует на толпу безотказно. (Когда на пути в Европу из Африки доктор Альберт Швейцер услышал, что Гитлер объявляет по радио о своих мирных намерениях, он немедленно пересел на пароход, который шел в Африку: он понял, что Гитлер собрался начать войну.)

Замысел завоевания мира Сталину не удался (как, впрочем, и Гитлеру). На эту тему вождь даже беседовал после войны с французским секретарем-дезертиром Торезом, он принял Тореза 19 ноября 1944 года и объяснил ему, что Франция, согласно донесениям, для захвата власти коммунистами не готова: «Компартия недостаточ-

* Никто, конечно, никого не «распускал», шпионы остались на местах, просто посредническая московская контора — во всяком случае те ее сотрудники, кто еще не был расстрелян или посажен, — давно раздражавшая Сталина, была прикрыта, и ее заграничные агенты перешли в прямое подчинение подлинных своих хозяев.

но сильна, чтобы стукнуть правительство по голове. Надо накапливать силы и искать союзников... Если ситуация переменится к лучшему, тогда силы, сплоченные вокруг партии послужат целям нападения». Ну а пока нужно было вести всяческую агитацию и войти в правительство.

Компартия объявила себя спасительницей Франции (не мерзкие же союзники ее освободили! — эта мысль до сих пор неприятна любому французскому патриоту), сумела завербовать «интеллектуалов» и подчинить самый мощный профсоюз. Стачки стали похожи на восстания и саботаж, первый поезд с пассажирами полетел под откос, похоже, пришло время для насильственного захвата власти, и ученик бедного Фрида, застреленного в войну на подпольной брюссельской квартире, товарищ Торез, как истый «сын народа», приехал к Сталину «за советом и инструкциями».

Ко времени его нового визита (18 ноября 1947 года) Коминтерн уже был восстановлен под кличкой Коминформ. Конечно, это была менее громоздкая организация для подчинения компартий Москве, чем былой пестрый Коминтерн с его заслуженными «революционерами», позволявшими себе иногда «рассуждать».

Нынешние лидеры назначались из числа прежних агентов и новых номенклатурщиков. Руководила ими Москва с помощью номенклатурных же бюрократов, вроде Жданова и Маленкова, которые преподали подручным из «братских» компартий главные идеи, вроде разделения мира на «лагерь народной демократии» (сателлиты, находившиеся в подчинении московского ЦК и КГБ) и «лагерь империализма» (демократические страны Запада): разъяснили необходимость вербовки сторонников через подсобные, оплаченные Москвой движения и мероприятия (например, так называемое «движение сторонников мира»).

Товарищ Торез пожаловался товарищу Сталину, что французских коммунистов кое-кто критиковал в Коминформе за то, что они не смогли захватить власть в 1944 году. Товарищ Сталин отечески объяснил, что тогда у компартии было мало силенок, так что если бы она и

захватила власть, она бы ее не удержала, все-таки не Советская Армия вошла в Париж, а англо-американская. «Вот если бы Красная Армия стояла во Франции, — интимно объяснил великий вождь, — тогда картина была бы другая»... ..Если б Черчилль еще чуток бы замешкался с открытием второго фронта на севере Франции, — продолжал товарищ Сталин, — Красная Армия пришла бы и во Францию». «Тов. Сталин сказал, что у нас есть идея дойти до Парижа», — сообщает запись Тореза. А Торез ответил (с радостью забывая в интимной беседе о недавних «клеветниках»), что «он может заверить тов. Сталина, что французский народ примет Красную Армию с энтузиазмом. Тов. Сталин сказал, что при таких условиях картина была бы другая. И Торез сказал, что тогда Де Голля не было бы в помине».

Присягая на верность хозяину, тов. Торез сказал, что «хотя он и француз, у него душа советского гражданина». Сталин ответил: «Мы все коммунисты, и этим уже все сказано».

Полные тексты московских инструктажей и бесед Сталина с Торезом напечатаны были еще прошлым летом парижским журналом «Коммунизм», что впрочем не мешает новому секретарю КПФ уныло повторять свою коронную фразу о «национальном характере» компартии. Возможно, новый секретарь забыл, что уже в 1948 в вопрос о «национальном характере» компартий была внесена необходимая ясность. Попытка популярного югославского лидера Тито настаивать на специфических национальных задачах своей партии была осуждена на специальной конференции Коминформа, где и была начата жестокая кампания борьбы против «титоизма», «титовского фашизма».

Французский коммунистический филиал Москвы показал в этой борьбе особое рвение и послушание хозяину. Впрочем, Сталин не считал новые «чистки» и новую кампанию ненависти достаточно эффективными. Эффективным он считал только террор. Чтобы избавить «национальные компартии» от всех «национальных» химер и попыток стать самостоятельными, надо было напомнить

им страх тридцатых годов. В 1949 начались процессы, стали вешать венгерское коммунистическое руководство, потом болгарское, румынское, чешское... В Чехословакии были повешены одиннадцать коммунистических лидеров. Во Франции вешать коммунистам не позволяли, разрешалось только доводить до самоубийства слабонервных путем «самокритики» и «чисток».

А потом влияние победоносной французской компартии, набиравшей некогда на выборах до трети голосов, пошло на спад. Если расстрелы бастующих трудящихся в Берлине или Новочеркасске прошли на Западе почти незамеченными, то подавление Будапешта и Праги, судебные процессы и преследование писателей, которые осмеливались не только писать, но и печатать свои произведения (Синявский, Даниэль, Пастернак, Солженицын), произвели тяжелое впечатление на красных и розовых интеллектуалов. К тому же сам главный коммунистический секретарь тов. Хрущев подтвердил под горячую руку, что великий вождь и друг трудящихся был безжалостный палач и параноик. Выходит, правду говорили на парижском процессе 1949 года («Кравченко против «Летр Франзсэз») эти замордованные зеки, украинские крестьяне из лагерей «ди-пи»!

Конечно, прозрение и самокритика приходят не ко всякому. Только мазохистам приятно оплевывать свои былые заблуждения и свою «боевую юность». Эта «боевая юность» шевелится в любом престарелом западном интеллектуале. Что до Франции, то французы вообще относятся к себе с большим пиететом. Оттого книги о подлинной (и унижительной для национального достоинства) истории КПФ здесь решаются читать лишь очень немногие. С историей этой незнакомы даже самые завзятые коммунисты. Их примерно 9-10% среди французских избирателей. Есть также ностальгические «попутчики»... Идея о том, что различие между сталинизмом и нацизмом не так уж существенно, до сих пор кажется здесь богохульной. Да и травить себе душу воспоминаниями никто не хочет. К тому же коммунистом во Франции быть не только спокойно, но и удобно.

Среди коммунистов сохранились солидарность и взаимопомощь, как среди представителей некоторых национальных и сексуальных меньшинств. Так что, даже к самым сенсационным открытиям из истории здешней компартии (почерпнутым к тому же в «подозрительных» и бестактных московских архивах, да еще вдобавок в подозрительную посткоммунистическую эпоху) здесь относятся с недоверием и равнодушием. Одни только упорные историки роют все глубже, с изумлением вчитываясь в архивные бумаги.

Признаться, и мне самому, не французу и не историку, любопытно бывает полистать лето, на берегу Новой Англии выписки из тетрадей профессора Фридриха Фирсова. Поразительные там попадаются истории...

Вот документ номер 27, 495, опись 74, документы 5-7 и 8. «Документ, посланный Димитровым Сталину, Молотову, Ворошилову, Жданову и Ежову, отчет коммуниста-депутата Флоримона Бонта о беседе депутатов с самим Даладьё накануне войны». Даладьё принял делегацию «национального политического движения за мир», а члены делегации расспросили его и про коварного агента фашистской Германии маршала Тухачевского и про состояние французской военной авиации. Даладьё откровенно сообщил: «В случае нападения наша авиация не сможет сопротивляться больше пятнадцати дней. А авиация решает войну...» Депутаты все записали. И вот один из них (коммунист Флоримон Бонт) тут же это вполне интимное сообщение отправил товарищу Торезу. А Торез, доверительно, тов. Димитрову. А Димитров — своим хозяевам. А те товарищу Ежову с сопроводителькой:

«Посылаем Вам полученное нами от тов. Тореза доверительное сообщение о беседе Даладьё с делегацией национального политического движения за мир».

В общем, сообщение попало куда положено — в органы, которые с самого начала были хозяевами Коминтерна и его скромного парижского филиала КПФ. Так что письмо дошло до адресата и еще более окрепли контакты между нашими славными органами и «Домом с привидениями на площади полковника Фабьена».

Папа инспектора Метре

Не завидуйте писателю, который достиг славы при жизни, и стал богат, и все, что хотел, купил, и все уже написал, что мог, так что теперь он не очень и знает, чем бы еще заняться. Отдыхать не хочется, потому что привыкает человек много работать, а работать уже вроде и не нужно — не стоит, лучше не работать.

И вот бывает, что этот благополучный человек начинает сочинять себе биографию и придумывает все, что в голову придет, потому что, во-первых, приобрел за долгую жизнь привычку к сочинительству, а во-вторых, хотя все вокруг его любят и любят его героев, ему хочется, чтоб его любили еще больше. И вот он диктует мемуары и приглашает к себе биографов и журналистов и рассказывает им все, что хотел бы о себе услышать, стараясь угадать, что они хотели бы о нем услышать и что могло бы его сделать еще приятнее — и для журналистов, и для читателей, и для сильных мира сего, и для слабых, и для потомков, прежде всего для потомков...

Впрочем, пора уже перейти к делу и раскрыть, о ком же пойдет речь и какое это все имеет отношение к «русским тайнам». Начну с того, что это старческое недержание речи постигло любимого нашего франко-бельгийского писателя, прославленного мастера детективного жанра, того, что по-французски называют «полицейский роман» или сокращенно «поляр», — Жоржа Сименона.

Среди тех, кто навещал Жоржа Сименона в семидесятые и в начале восьмидесятых годов, были и русские журналисты, и даже одна выездная переводчица по фамилии Шрайбер. В начале «перестройки», идя на встречу всенародной любви к творчеству Сименона, переводчица Э. Шрайбер и доктор наук В. Балахонов составили и выпустили в издательстве «Прогресс» сборник различных текстов Сименона и Балахонова под общим названием «Новые парижские тайны. Художественная публицистика».

Я не собираюсь здесь анализировать достоинства и недостатки этого сборника, хотя соблазн прояснить одну единственную тайну все покоя не дает: отчего тут все так плохо написано? То ли журналисты сами все потом переписывали за Сименона, то ли переводчица Э. Шрайбер все приводила к одному усредненному уровню? А может быть, просто старик Сименон, догадываясь о пожеланиях русских гостей, как гостеприимный хозяин выдавал на гора все, что им хочется, да еще на их же «деревянном» жаргоне, — про американских агрессоров, поджигателя войны Рейгана, про американскую гонку вооружений, кризис и прочее. Да вот послушайте сами:

«Вам ведь известно, что в Америке безработица выше, чем во Франции, Германии или Италии. Взгляните на цифры внешнего долга Америки, который превышает национальный доход. Америка накануне банкротства.

Думаю, что крупные международные корпорации, чтобы предотвратить это банкротство, неизбежно решат развязать войну...»

И рядом со всем этим:

«...именно от СССР исходят наиболее конструктивные и реалистические мирные инициативы, направленные на обеспечение успеха разрядки, прекращение гонки вооружений, восстановление доверия и тесного сотрудничества между народами различных стран».

(Так и слышишь голос покойного Сименона, который доверительно говорит корреспонденту АПН: «Вы уж сами, дружок, придумайте, чтобы все было по-вашему, а я подпишу».) И вот еще:

«Контраст был потрясающим, — настолько заметна была динамика развития, совершенствования. Чувствовался и ощущался в каждом отдельном факте стремительный рывок страны, желание откинуть прошлое, отсталость, выйти на передовые рубежи в экономике, науке, технике...»

Это все о городе Одессе 1965 года, когда хлеба своего уже перестало хватать и покупали в «обнищавшей» Америке.

Кое-какие догадки об истоках этой «художественности» уже были нами высказаны. А вот кое-какие «новые парижские тайны» неожиданно открылись, тайны, кото-

рые кроются за каждой фразой лукавых интервью Сименона, тайны самого Сименона...

В нескольких интервью, записанных русскими журналистами и переводчицей Э. Шрайбер, Сименон упоминает «русских студентов», которые еще в детстве приобщили будущего писателя к русской литературе (Толстому, Горькому, Достоевскому). Они были революционеры, говорит Сименон, так что мы должны понимать, что и малыш Сименон проникся революционными идеями.

У них он увидел впервые чертежи на ватмане, тетради... Они привили ему интерес к медицине. Похоже, что русские студенты и впрямь произвели на маленького Жоржа немалое впечатление. Отблески этого раннего знакомства гуляют по многим романам Сименона, и мы к этому непременно обратимся. Но пока приведем хотя бы одно (из многих) упоминание об этих студентах из книги «Новые парижские тайны» — отрывок из интервью, которое Э. Шрайбер взяла у Сименона в 1971 году и сама перевела на русский:

«В детстве, когда человек наиболее впечатлителен, я провел много лет в Льеже в обществе русских студентов. Моя мать держала пансион, и ежегодно к нам приезжали молодые люди. Почти все они были бедны, даже очень бедны. Почти все в той или иной мере участвовали в революционном движении. Они относились ко мне дружелюбно, и я частенько слушал их беседы, Студентов удивляло, что такой желторотый юнец интересуется литературными и политическими спорами. А когда они узнали, что я умею читать (мне шел десятый год), стали давать мне книги русских писателей. Они рассказывали мне о Пушкине и Тургеневе, но больше всего о Гоголе, Достоевском, Чехове и Горьком. Благодаря этой молодежи я соприкоснулся с тем, что называют «русской душой», вернее, складом ума, потому что когда с утра до вечера находишься в обществе пяти-шести русских, неизбежно приобщаешься к их образу мыслей и жизни.

Много лет спустя я с радостью убедился, насколько полезен был для меня такой контакт».

В общем, борец против американской военщины Жорж Сименон вырос и созрел под влиянием русской революционной молодежи и классической русской литературы («декабристы разбудили Герцена» и т.д. и т.п.).

Эпизод с русскими студентами, рассказанный им в

старости литературной даме из Москвы (а потом и еще многим), на самом деле куда содержательнее, чем может показаться на первый взгляд. Начнем с того, что студенты жили у мадам Генриетты Сименон в 1911 — 1914. На каком языке они вели «литературные и политические споры» в присутствии юного Сименона? Не на французском же. И не на фламандском. И что они могли рассказывать 8-9-летнему Жоржу о Достоевском и Гоголе? И когда успевал мальчик из строгой католической школы Святых Братьев Сент-Андре «с утра до вечера общаться» с трудолюбивыми студентами — это тоже не очень ясно. Но пока запомним — материнский пансион и, вообще, мать. Не надо быть ортодоксальным фрейдистом, чтоб согласиться, что отношения с матерью накладывают неизгладимый отпечаток на целую жизнь и все творчество писателя, человека от природы чувствительного. Так вот, с матерью у Жоржа Сименона отношения были более чем непростые. Она была человек нервный, заносчивый, и сына, похоже, не любила. Имела к нему множество претензий, не верила в него, постоянно унижала его. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитывать его страшноватенькое «Письмо к матери», обращенное 68-летним писателем к покойной Генриетте Сименон через три года после ее смерти:

«Мы никогда не любили друг друга, до самой твоей смерти, ты отлично знала об этом... «Что тебе? Зачем ты пришел, Жорж?» — в этих словах, наверно, объяснение всей моей жизни...»

Взрослый и уже сильно немолодой Жорж не мог забыть и страшную фразу, которую сказала ему мать после смерти его младшего брата Кристиана: «Лучше бы ты умер, чем Кристиан». Кристиан был ее любимцем. Если муж говорил ей — «Твой сын», значит, речь шла о Кристиане. Она говорила мужу «Твой сын», когда речь шла о Жорже.

Застенчивый и слабый Сименон-отец, месье Дезире Сименон, вряд ли был счастлив с женой. Впрочем, наверняка сказать трудно: он был молчалив — как и она. В доме Сименонов вообще не принято было разговаривать. Сын сочувствовал отцу, он его обожал и, вероятно, жалел.

У Дезире Сименона было не так уж много радостей. Иногда он сидел по вечерам в суфлерской будке любительской труппы. Чаще же, после тяжкого и нудного дня в конторе страхового общества, опускался в свое любимое кресло на кухне — и молчал. Они с сыном понимали друг друга без слов. Инспектор Мегре даже на службе, где приходится допрашивать, предпочитает, как вы, возможно, заметили, молчаливый допрос. В нем вообще много от Дезире Сименона (иначе где ж писателю набраться любви к полицейскому комиссару?)

Вернувшись однажды со службы, Дезире Сименон пришел в ужас. На вешалке в передней были чужие куртки, все стулья и его любимое кресло в кухне были заняты: Генриетта пустила на постой жильцов. Других способов заработать деньги в университетском Льеже не было, здесь многие сдавали комнаты студентам.

Отныне первыми на кухне у Сименонов ужинали студенты: они были жильцы. Они платили. Вдобавок они вообще облюбовали кухню. Здесь они беседовали допоздна, здесь же готовили свою странную восточно-европейскую пищу: картошка с селедкой, или с простоквашей, блины, каша, соленые огурцы, борщи... Легко догадаться, как маленький Жорж мог относиться к дурно пахнущим (во всяком случае, непривычно пахнущим) их пищей иноземцам.

Но жильцы давали деньги, и они находились под защитой матери, которая должна была найти приработок, раз муж зарабатывал так ничтожно мало в своей страховой конторе. А может, и еще там что-то было в этой истории, о чем не догадываются биографы. Может, Генриетта выделяла кого-нибудь из этих молодых постояльцев, день и ночь корпящих над чертежами и книгами. Ей ведь и самой было чуть больше тридцати. 31 год. Писал же ей потом какой-то Шалом Шлюгер откуда-то из Палестины, где он стал инженером. Долго-долго, и через полтора десятка лет писал ей этот Шлюгер ностальгические письма. Нуда, еврей, они ведь, наверно, все были евреи, ее постояльцы, кто ж ехал в ту пору учиться в заброшенный Льеж с русских окраин — из Белоруссии, Польши, Литвы, Латвии, Бессарабии? Дома их в университеты брали неохотно (процентная норма!). Да ведь и погромы только что отшумели...

И вот потом еще полвека, все эти Нагеры, Шлюгеры, Дворскины, Блюмштейны, Мейеры, Файнштейны, Леви (одного из них зовут Шалом, но как и прочих, Сименон кличет его попросту «Еврей»), все эти дурно пахнущие, носатые («Бурбоны... Израиля»), все эти умники, грызущие гранит науки (а бедный Жорж и его сын Мегре были самоучки, ненавидели умников, студентов-отличников, адвокатов-законников), — и вот все они гуляли по романам Сименона, совершали уголовные преступления, загрязняли воздух Франции: вчитайтесь в романы «Латыш Петр», «Лили-Улыбка», «Месье-либидо», «Второй отдел», «Старшой Фершо», «Три Рембрандта» и еще и еще. Ибо они ведь были не настоящие французы, все эти «метеки».

Конечно, и Сименоны, точнее даже — Симиноны, тоже не французы, они тоже родом из Бельгии, из Лимбурга, точнее даже, из голландского Лимбурга, что на Маасе, но ведь это был самый что ни на есть пуп Европы. (Признаем, что семье мелкого служащего Дезире Сименона и его жены Генриетты, некогда простой продавщицы из универсама, принадлежавшего еврею, живущим на захудалой окраине трижды захудалого Льежа, было бы и без «русских студентов» постояльцев где набраться ксенофобии и расизма.) Но все же эта ненависть к инородцам, возможно, не была бы у Жоржа такой пронзительной и долговечной, не проживи мальчик четыре года под одной крышей с этими нищими «русскими», «румынами», «чехами», всей этой «миттель-Европой», не грызи его детская обида на мать, не изводи его то, что в среде интеллигенции принято называть «комплексами».

Чтобы проследить их следы, вспомним, что еще и в зеленой юности, на страницах местной газетенки, о которой так трогательно пишет в предисловии к «новым тайнам» Парижа профессор Балахонов, страсти униженного юноши Сименона нашли выход.

Газетка была, как сообщает сам Сименон, ультраправая, со всем набором ультраправых идей (непрененно включающих расизм, ксенофобию, антисемитизм вместе с красно-коричневой ненавистью к демократии, ка-

питалу, масонам, в общем, к «ненашим» людям и «ненашим» деньгам). Вершиной газетной карьеры юного Сименона (завершившего уже к тому времени свое семилетнее образование) была «историческая» серия из 17 статей под названием «Еврейская опасность».

Статьи эти печатались в «Льежской газете» с 19 июня по 13 октября 1921 года. Автор статей, 18-летний «историк» Жорж Сим (Сименон) признавал, что он опирается в своем историческом исследовании главным образом на «документ», озаглавленный «Протоколы сионских мудрецов». Цитируя один за другим пункты знаменитого документа, Жорж Сим объявил себя в этой серии «историком-исследователем роли евреев в современном обществе».

Писать романы во Франции наш автор стал не сразу. По приезде в Париж он еще поработал секретарем у одного ультраправого политика, потом у другого (об этих старых «парижских тайнах» московские издатели «новых тайн» вряд ли слышали), а в начале тридцатых Сименон, став уже к тому времени на удивление плодовитым и известным сочинителем детективных романов, решил выпустить одним залпом несколько «поляров» с инспектором Мегре в качестве главного героя и подписать их, наконец, своим настоящим именем.

Одним из первых, а может, и первым из этих романов новорожденного писателя Сименона был роман «Латыш Петр». В центре его два на четверть русских брата-латыша из Пскова. Они эстонские подданные, выпускники тартуского университета — в общем «миттель-Эуропа». Один из двух более «русский», больше похож на русскую бабушку и в большей степени воплощает «русскую душу», которую, как вы помните, еще ребенком без труда сумел понять Сименон. «Русская душа» проста: пить водку стаканами («он пил с такой алчностью, какую Мегре и вообразить себе не мог»), быть неудачником, убить себя и ее («мне оставалась одна из тех мыслей, которые мой брат называл русскими идеями... Умереть вместе с Бертой, в объятиях друг друга...»).

В этом крошечном романе есть и более подробные описания русского пьянства в грязном портовом бистро (глава называется «Пьяный русский»): один стакан виски, второй, третий, четвертый, маринованная селедка на закуску, стакан об пол — изумление Мегре и вздохи кабатчика: «Ох, уж эти русские!» Видимо, это и есть то самое проникновение в «русские обычаи и душу», которые Сименон вынес из общения с юными русскими студентами. Как и эти студенты, герои романа «Латыш Петр» — непонятных, смешанных кровей: русской, латышской, еще какой-то — в общем, перед нами вся эта жалкая и загадочная «миттель-Эуропа». И конечно, есть в романе неизбежная Еврейка. Ее зовут Анна Горскина, но Сименон чаще зовет ее просто «Еврейка», разве этим не все сказано.

К моменту написания романа Сименон успел подружиться с множеством евреев — коллег, издателей, критиков, журналистов, художников. Если верить Сименону, он подружился в Париже и с Сутиным, и с Эренбургом, и с Шагалом, и с Цадкиным, и даже каким-то образом с умершим еще до его приезда в Париж итальянским евреем Модильяни. Однако образ еврея в его романах не пережил от этого никакой эволюции: это был все тот же допотопный, местечковый, дурно пахнущий (запахи вообще играют большую роль в романах Сименона), чуждый европейской цивилизации персонаж.

В пору сочинения первых романов о Мегре Сименон жил в правобережном парижском квартале Маре, на площади Вогезов, близ небольшого еврейского «гетто». Здесь, на узких улочках, названия которых напоминают еще времена ордена тамплиеров-храмовников, жили в начале века еврейские беженцы из Восточной Европы (теперь их потеснили африканские сефарды), и Сименон часто проходил по этим улицам. Здесь (на улице Короля Сицилии) он и поселил героиню романа, двадцатипятилетнюю Анну Горскину, уроженку Одессы, очередную свою «Еврейку». В первом же ее описании узнаешь ту самую (несколько похожую на розановскую)

любовь-ненависть к «избранному народу», от которой ученик льежской католической школы не смог избавиться до конца своих дней:

«Она казалась старше двадцати пяти лет, на которые указывала запись в журнале регистрации. И это было, без сомнения, признаком ее расы. Как большинство евреек ее возраста, она отяжелела, не утратив, однако своеобразной красоты. Глаза ее, очень темные, с ослепительно белыми, блестящими белками, были просто поразительными.

Однако опущенность и неряшливость во всем портили это впечатление. Ее черные, сальные, не расчесанные волосы толстыми прядями спадали на шею. Одетая она была в поношенный халат, полуткрытый, позволявший видеть тело.

Чулки были скручены над тяжелыми ее коленями...

...Мегре чувствовал, с какого типа женщиной ему придется иметь дело.

Страстная, наглая, бесстыдная, она только и ждала ссоры. При всяком удобном случае она спровоцирует скандал, взбудоражит весь дом пронзительными визгом и криками, будет возводить любую напраслину...»

Эти отвратительные (и видимо соблазнявшие знаменитого автора, которому, по его утверждению, нужны были «три бабы в день») «еврейки» чередой проходят по его романам. Одна из них отдается, наконец, герою его романа («Поезд»), а потом «маленький человек» Сименона оставляет ее нацистам на погибель: он был человек нравственный и больше всего думал о спокойствии семьи...

Самая атмосфера, которую придают «эти люди» французской столице, вызывает у комиссара Мегре и его родителя ужас и омерзение:

«В каждом темном уголке, в малейшем подобии тени, в тупичках, закутках, коридорах угадывалась суэта людского присутствия, некой потаенной и постыдной жизни. Тени, пятнавшие стены. Магазины, торговавшие предметами, самое название которых неведомо было французам.

А в каких-нибудь ста метрах отсюда были рю Риволи и рю Сент Антуан, ярко освещенные, широкие, звенящие трамваями, с их магазинами, с их полицейскими...» («Латыш Петр»)

И даже потом, у себя, в насмерть прокуренном полицейском участка, Мегре не мог отделаться от «их» запахов.

«Может, это запах отеля с улицы Короля Сицилии впитался ему

в поры? Или запах улицы? Он уже ощутил его, когда консьерж в черной ермолке приоткрыл ему окошечко. Запах становился тяжелее по мере того, как он поднимался по лестнице».

И конечно, запах стал невыносимым в комнате Анны Горскиной: этот русский чай, эта жареная рыба (французы рыбу не жарят, а парят), эти кислый соус, колбаса, чеснок, «русские сигареты» (папиросы), влажное белье в комнате, которую не проветривают... В общем, — простодушно объясняет нам гуманист Жорж Сименон, — «у каждой расы свой запах, который другие расы ненавидят».

Конечно, критика замечала непреодолимый расизм этого выходца с задворков провинциального Льежа. Но Сименон невозмутимо оправдывался. Нет, у людей и народов нет никаких запахов, — говорил он. Нет, я не антисемит, у меня есть друг из русских евреев — Пьер Лазарев. (Еще бы ему не дружить с магнатом парижской прессы, всемогущим Пьером Лазаревым, который посылал его в странствия по свету, послал в Африку, поручил ему расследование «дела Ставиского».)

Но остановимся на еще одной тайне Сименона, поскольку он сам ее затронул в своих «русских интервью». На тайне войны и Сопротивления. Это, вообще, вопрос непростой для большинства французов поколения Сименона. Ибо сопротивление фашистам оказали, увы, весьма немногие, недаром же «Странная война» кончилась так быстро, а Сопротивление началось так поздно. И недаром сразу после войны шли такие бессмысленные и жестокие разборки — кто «резистант», а кто «коллаборант», кто больше «коллаборант», а кто меньше. Окончательный приговор, «кто есть кто», выносили тогда во Франции люди, вроде Миттерана, заслужившего высший орден за службу правительству Виши и ставшего сразу после войны министром внутренних дел, а позднее даже подружившегося с главным палачом-коллаборантом Буске и снискавшего много лет спустя высокий титул «резистанта». Вот и робкому Сименону захотелось прослыть худо-бедно хоть полу-«резистантом», оттого он и сообщил незадолго до смерти корреспонденту АПН и читателям «Советской России»:

«Я не считаю себя активным участником Сопротивления, но все же я стремился внести посильный вклад в борьбу его участников с фашистскими оккупантами, обеспечивал укрытие для членов диверсионно-разведывательных отрядов, действовавших против гитлеровцев».

Характерно, что в самой этой фразе раскрыта «новая парижская тайна» Сименона. Ибо сам он о своих подвигах вспомнил не тогда, когда это позарез было ему нужно для оправдания, а лишь через четверть века. И сколько ни искали добросовестные биографы кого ж все-таки прятал Сименон в войну, так и не нашли. Вот насчет автомобиля, про который он часто упоминал, нашли. Участники Сопротивления реквизировали у него (а потом бросили за ненадобностью) маленький «ситроенчик», и Сименон так лихо рассказывал потом в мемуарах про подвиги этой «подаренной им Сопротивлению» боевой машины, как будто это был по меньшей мере броневик или даже бронепоезд.

На самом деле, все эти годы он как человек разумный (и не успевший уехать за границу) прятался в провинции, старался тихо пересидеть смутное время войны и оккупации, ни в чем не нуждаясь. С обострением обстановки он переезжал еще дальше в глубинку. Он действовал мудро, осторожно, и в конце концов, уцелел. Много писал все это время — сценарии, детективные романы (на довоенные и вообще вневременные сюжеты). Печатался, развлекал свой народ, дела шли успешно, он старался заработать побольше денег и, конечно, ни с кем не делился. Так что, всеми этими словами о «борьбе с фашистским оккупантами», о «диверсионно-разведывательных отрядах» (речь здесь снова может идти о реквизированном «ситроенчике») писатель просто хотел сделать приятное московскому гостю. Но вообще-то, нельзя сказать, что Сименон в те годы вовсе чужд был всякому сопротивлению. Сопротивление ему приходилось оказывать. Даже не раз. Строго говоря, три раза. И если в первом случае он не одержал полной победы, то во втором и третьем случае он, на его

счастье, вышел сухим из воды. Расскажем коротко и про эти немудрящие тайны.

В начале войны, находясь в Ларошели, Сименон принял участие в приеме беженцев из Бельгии. Это были по большей части бельгийцы, бежавшие с уже оккупированной нацистами родины, но были там и люди других национальностей: итальянцы, поляки, албанцы и прочие. Сименон заявил во всеуслышание, что итальянцы не итальянцы, поляки — не поляки — акция его гуманитарная, и он всех определит на постой. И вдруг привезли из бельгийского Анвера... евреев. И тут, надо признать, Сименон испытал большое смущение. Хотя им больше, чем кому бы то ни было, угрожал приход нацистов, он почувствовал, что на евреев его гуманитарные чувства распространяться не могут. Он отказался принять беженцев и даже оказал сопротивление указанию сверху. Мотивировал свой отказ тем, что беглые земляки были иностранцы (то есть, евреи) и вообще принадлежали к эксплуататорским классам.

Сопротивление, однако, было недолгим. Позднее Сименон вспоминал, что министр Мандель оказал на него давление, намекая, что этот Мандель тоже был не вполне чистый француз.

Второй и третий эпизоды из тогдашней жизни были куда серьезнее, и он вышел из них победителем.

Первый относится к осени 1942 года. К тому времени Сименон с семейством уже полтора года прожил в мирном вандейском городке Фонтене-ле-Конт, в замке графа и графини дю Фонтениу «Тер-Нев». Жил он на широкую ногу, много писал и печатался. К осени в Фонтене стало беспокойно, и Сименон решил перебраться в «свободную зону» Франции, на островок Поркероль. Тут-то и случилось это невероятное происшествие. В своих «Интимных мемуарах» Сименон вспоминает, что к нему в замок явился вдруг комиссар госбезопасности и предложил ответить на несколько вопросов. Вот их разговор в изложении Сименона.

« — Вы ведь еврей, не так ли?

— Мы христиане — от отца к сыну и уже в нескольких поколениях у нас встречается имя Христиан.
 — Но Сименон идет от имени Симон.
 — Ах так.
 — А Симон — это еврейское имя.
 — Уверю вас...
 — Мне не нужны ваши уверения. Мне нужны доказательства.
 — Я могу вам показать, что я не обрезан.
 — Некоторые из неверующих евреев этого не делают больше... Вы торгуете на черном рынке?.. Вы еврей! Я никогда не ошибаюсь. Я еврея за десять шагов чую... Я даю вам месяц на то, чтоб добыть свидетельства о рождении ваших родителей, их родителей и родителей их родителей... Один месяц. И не пытайтесь бежать. Мы будем за вами следить...»

История была нелепая. Но что мог сделать Сименон? Сказать им, что он антисемит? Что по поводу его нового романа сам Робер Бразийяк (коллаборант, расстрелянный французами после Освобождения) писал, что там показано дно Парижа со всеми этими «бледными, на любое убийство готовыми польскими эмигрантами».

Чем больше думал Сименон о своей неприятности, тем ему становилось страшнее. Он вспомнил, что Шарлю Трене пришлось бегать в бюро «Пропаганда Штаффель» и объяснять, что его фамилия не переделанное Неттер. И еще множество страшных случаев ему вспомнилось. А если б он еще знал, что сам шеф Отдела по еврейским делам при Гестапо Франции приказал директору Института изучения еврейских вопросов разобрататься в его деле, а тот представил секретный доклад... Если б он еще прочитал этот доклад... Там было написано следующее:

«Симон, называющий себя Жоржем Сименоном, автор полицейских романов, еврей, по национальности бельгиец... Не носит желтую звезду. Хорошо говорит по-немецки и сумел вступить в связь с офицерами комендатуры, от которых добивается чего хочет, в частности, пропуска в свободную зону... Много пользуется черным рынком. Похоже, что не принимал участия в войне».

Для Сименона настали тяжкие дни. Конечно, он напи-

сал матери. Но как было добыть все эти метрики до третьего колена? Сименон подумывал обратиться к своему издателю, поставившему фальшивые паспорта для евреев*.

Местный отдел Безопасности (Сюрте) дал Сименону положительную характеристику. Начальник вишистской полиции объявил, что его этот отзыв не убеждает. Он требовал бумаг. В «Интимных мемуарах» Сименон пишет, что он представил бумаги и вопрос был исчерпан. Биографы без труда убедились (роясь в архивах), что всех бумаг о крещении Сименону разыскать не удалось. И тогда он представил другие бумаги, не вполне религиозного характера. Друг Сименона, коллаборационист и личный друг нацистского эмиссара Отто Абецта срочно написал письмо в полицию. Сам Сименон тоже отправился туда с письмом, которое, на его счастье, до сих пор остается неизвестным. Легко представить себе, что он там рассказал о своих отношениях с еврейской расой... Так или иначе, Сименон оказал сопротивление (резистанс), но увы, это еще был не конец.

Уже на исходе войны, то в каком-нибудь подпольном издании французского Сопротивления (например, «Бир-Акем»), то в программах Би-Би-Си стали звучать угрозы резистантов в адрес «прогерманского петениста» Сименона.

В мемуарах Сименон вспоминает, как в конце войны он прятался с семьей в деревне от немцев, приходивших, чтобы его арестовать. Его и впрямь приходили арестовать — только не немцы, а участники Сопротивления. История эта длилась долго. Он жил под надзором. Он оправдывался. В общем, «оказал сопротивление» резистантам.. Его то оправдывали, то обвиняли снова. В чем же его обвиняли? В том, что он дружил с людьми из комендатуры в целях получения пропуска. Что он сотрудничал с киностудией «Континенталь»,

* В то время во Франции, наряду с сотнями тысяч доносчиков, были и храбрецы, прятавшие взрослых и детей, спасавшие человеческие жизни. В Париже отец Дмитрий Клепинин выдавал евреям справки о крещении... Как и поэтесса Елизавета Скобцева, легендарная мать Мария.

которая была в черном списке у Сопротивления. В том, что он печатался в самых гнусных журналах времен оккупации и издавал слишком много книг. Его называли коллаборантом — и его коллеги, и участники Сопротивления.

Знаменитый писатель Луи-Фердинанд Селин, которому пришлось после войны прятаться в Скандинавии, писал в свое оправдание, что он-то никогда столько не сотрудничал с франко-германской и коллаборантской прессой, как его плодовые коллеги. (Среди которых он назвал Сименона.)

Волна обвинений против Сименона то затухала, то вспыхивала вновь. Можно ли его считать коллаборантом? Суждение это будет зависеть от точки зрения. Он был осторожен, в его романах, сценариях и даже газетных статьях не было никакой политики (разве что обычные расистские выпады, которые так понравились Бразильяку). Ну а то, что он так процветал в дни оккупации, так ведь весь Париж танцевал и пел в ту пору. Снимали множество фильмов (среди них были такие, что стали классикой), пели Морис Шевалье и Пиаф, танцевал Лифарь, господа офицеры (те самые, кого Сименон в интервью АПН назвал, как положено, фашистскими оккупантами) дружно аплодировали новой пьесе «резистанта» Сартра.

Париж был городом, где доблестные солдаты и офицеры набирались сил для боев на Восточном фронте. После того, как были расстреляны иностранцы из подпольной антифашистской группы Манушана, расстреляны Борис Вильде и Толя Левицкий, — выстрелы больше не звучали в Париже. Париж был надежным тылом. И чем Сименон был хуже других? Через четверть века он стал даже писать и рассказывать, что он, в сущности, тоже резистант. Кто станет вспоминать, что во времена Освобождения ему пришлось куда хуже, чем в годы немецкой оккупации? Вдобавок именно тогда он узнал, что брат его Кристиан был в Бельгии настоящим коллаборантом, и дал брату совет — сменить имя и укрыться в Иностранном Легионе. В общем, Париж времен Осво-

бождения так досаждал ему, что он на долгие годы уехал в Америку. Ту самую, где судя по его интервью, нет свободы.

Я затронул лишь некоторые из тайн Сименона, скрываемые за его рассказами из московской книги «Новые тайны Парижа». Если тайны эти оказались недостаточно смешными и веселыми, то виноваты в этом журналисты, к нему приезжавшие. Он ведь знал, про что им нужно рассказывать. Вот в интервью с Феллини по поводу фильма «Казанова» Сименон рассказал, что у него было 10000 женщин (из них только 2000 «порядочных женщин», остальные — работницы панели). Правда ли это? И если нет, то зачем он это придумал? Зачем придумал остальные легенды о себе? Вполне уместно и своевременно было бы подумать над этой и другими тайнами. Увы, они выходят за рамки нашей темы. Нам бы справиться с русскими тайнами.

ГРИГОРИЙ МАРК

„Имеющий Быть“

Роспринт, Санкт-Петербург, 1997

Стихи, сценарии, фантасмагории,
рассказы, пьесы.

Цена книги - 8 долларов. Книгу можно
приобрести в книжных магазинах
Москвы, Петербурга, Нью-Йорка и
Бостона

Предисловие к неоконченной книге Л. Белинкова «Россия и Черт»

— Вам предъявляется рукопись на 16 листах, озаглавленная «Россия и Черт». Ознакомьтесь с этой рукописью и скажите, вы ее изготовили? Если вы, то когда и в какой период времени, где?

— Предъявленная мне рукопись, озаглавленная мною «Россия и Черт», написана лично мною, находясь в заключении на участке «Бородиновка» Самарского отделения Карлага. Написал я ее в период с 31 марта по 5 апреля 1950 года, причем я предполагал под этим заголовком написать роман в нескольких книгах, но написал, вернее, успел написать, одну главу.

— С какой целью вы писали рукописи антисоветского содержания?

— Будучи антисоветски настроенным человеком, я, повинуюсь естественным потребностям писателя, написал рукописи антисоветского содержания, озаглавленные мною «Человечье мясо», «Роль труда», «Россия и Черт». Указанные рукописи я каким-либо образом сдать в печать не намеревался, заранее зная, что они напечатанными быть не могут в силу своего антисоветского характера.

— В таком случае для чего и кому вы их писали?

— Написанные мною рукописи не адресовались читателю, а были лишь потребностью выразить свои мысли на бумаге. Хорошо понимая, что существующая в настоящее время в СССР политика является не временным явлением, а постоянным, я не надеялся на публикацию написанных мною рукописей. Повторяю, что написанные мною рукописи являются выражением моих антисоветских убеждений, хотя я не имел надежду на их публикацию.

Непосвященному человеку может поначалу показаться, что это отрывок мирной беседы двух чудаков на литера-

турные и политические темы послевоенных лет. Один из собеседников вроде бы сдержан, но любопытен. А второй... второй готов откровенно рассказывать о своих творческих планах.

Однако, наподобие того самого шила, которое нельзя в мешке утаить, вылезает из приведенного текста специфический язык протокола. Не мирная беседа перед нашими глазами, а выдержка допроса 1951 года. Вопросы задает следователь. Отвечает — Аркадий Белинков.

Это второе следственное дело Белинкова. Оно имело место за полгода до окончания первого срока, отсчет которого начался с января 1944-го года. А. Белинков, с детства страдающий пороком сердца, был приговорен к 8-ми годам исправительно-трудовых работ за антисоветскую деятельность — роман «Черновик чувств»*, попытку создать новую литературную теорию «Необарокко» и литературный кружок того же названия.

По состоянию здоровья Белинкова невозможно было использовать на общих работах. Он выполнял обязанности, считавшиеся легкими: то режиссера в лагерном театре, то помощника лекаря. Иногда ему предоставляли отдельную кабинку. Он пользовался этим, продолжая писать даже в заключении. (Тут надо сказать об одной особенности прозы А. Белинкова: прототипом его ведущего литературного героя был он сам, и имя у обоих было одинаковое — Аркадий. Как это облегчало работу следственных органов!)

Тот, кто будет заниматься творчеством А. Белинкова, обратит внимание на то, как изящный роман о первой любви — я имею в виду «Черновик чувств» — сменила беспощадная саркастическая проза. Автор ее теперь пишет о ненависти режима (и послушной ей, сервильной толпы) к творческой, свободомыслящей личности, о том, что идеологическая политика советской власти приводит к уничтожению национальной культуры.

Задолго до оттепели, гласности и перестройки, оба

* Аркадий Белинков. «Черновик чувств». Изд. Александра Севастьянова. 1996. Москва. Аркадий Белинков. «Черновик чувств». Звезда №8, 1996. Санкт-Петербург.

Аркадия — автор и герой его произведений — восстают против советского Голиафа. Один «изготавливает» анти-советские рукописи на территории ГУЛАГа и закапывает их в земляной пол своей кабинки. Другой в неоконченной книге «Россия и Черт» готов заложить душу Черту ради спасения мировой культуры.

Легко можно представить себе состояние тяжелого сердечника в конце восьмилетнего срока в условиях, хорошо знакомых молодому читателю по литературе, а бывшим в заключении — по собственному опыту. «Доходяга...» — так охарактеризовал один свидетель состояние А. Белинкова как раз накануне второго следствия. В какой-то момент Аркадию стало так худо, что показалось — вот он, порог смерти. Обеспокоенный судьбой рукописей, он рассказал о них собрату по заключению. «А как пишется ваша фамилия, через И или через Е?» — осведомился собрат по фамилии Кермайер.

Донос, обыск, второе следственное дело, Военный трибунал, второй срок. На это раз — 25 лет.

В 1956 г. указом Президиума Верховного Совета СССР были созданы «Специальные комиссии по рассмотрению дел на лиц, отбывающих наказания за политические, должностные и хозяйственные преступления». Одна из таких комиссий пришла к выводу, что А. Белинкова можно «из мест заключения освободить...», учитывая его объяснение и состояние здоровья.

Его освободили, он вернулся в Москву и написал книги, сделавшие его имя известным: «Юрий Тынянов» и «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». Главная тема этих книг — разрушение творческой личности, если она не оказывает сопротивления тиранической власти: «Всегда виноваты вместе — художник и обстоятельства».

Только в 1989 г. Президиум Верховного суда Казахской ССР признал в действиях А. Белинкова «отсутствие состава преступления».

Впрочем, для него самого это уже не имело значения. В 1970-м г. А. Белинков умер в США, через два года после своего побега из ямы, как он назвал свою родину в книге «Россия и Черт».

И «Черновик чувств», и вещи, написанные в лагере, печатаются с опозданием на целое поколение. Им бы быть прочитанными современниками, а не пролежать 50 лет после того, как были написаны, на полках архивов бывшего КГБ.

«Черновик чувств», «Человечье мясо», «Роль труда» и «Россия и Черт» вместе с протоколами допросов А. Белинкова, как по первому, так и по второму делу, разыскал Г. Файман. Материалы следственных дел он опубликовал в «Русской мысли»*. В результате в ФСБ мне выдали оригинал «Черновика чувств», пакеты с вещами, написанными в лагере, и кое-какие документы, связанные как со следственными, так и с судебными процессами. Приведенный выше отрывок из допроса А. Белинкова взят из второй публикации Г. Файмана.

«Черновик чувств» — самодельная книга. А три другие вещи — черновики в подлинном смысле этого слова. Они представляют собой исписанные мелким почерком, хрупкие, пожелтевшие листы. Автор не успел их ни поправить, ни закончить. Можно предположить, что «Россия и Черт» — только первая книга большой эпопеи, названия которой мы не знаем. Она начинается с медленного, размашистого зачина — обзора трагической русской истории, кульминацией которой стал советский строй. Даже Черту, откомандированному для выполнения дьявольских заданий, приходится довольно туго в советской столице. Над приключениями Черта можно от души посмеяться. Но смеяться трудно, если знаешь, при каких обстоятельствах создавалась книга.

Советские дела, может быть, и в самом деле, отошли в прошлое. Дошедшие до нас черновики действительно далеки от завершения. На первый план выходит противостояние мощной карательной системы и лишенного всех прав, но внутренне свободного человека. Как помнят друзья Аркадия Белинкова, он всегда гордо говорил: «Я сидел за дело!»

Н. Белинкова-Яблокова

* «Горе уму», «Русская мысль» №№4095, 4097, 4098, 4099. Париж. 1995 г. «Гибель без сдачи». Там же. №№4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 1996 г.



Аркадий БЕЛИНКОВ

РОССИЯ И ЧЕРТ

Книга 1

Глава I. Скепсис с серьезной мотивировкой*

1

Темная, с красными пятнами держава лежала в яме земного шара. Дымные облака с багровыми брюхами клубились над громадным ее телом.

Из ямы шел запах. Сытый и преисполненный тайны. От него щемило сердца державных монархов и подданных их, плодящихся обильно и шумно.

С Восхода обваливались в яму татары, топтали копытами диких кобыл хлеб и мутили воды медленных рек. С Заката обрушивались звенящие кольчугами и гремушками поляки. Пылью клубились, вертась и кривляясь, на желчных конях желтые печенег. Ухали пушками с севера норманны, трубили в трубы и посыпали древней барабанной дробью хлипкие поля побоищ. И, наученные пожару и драке, подданные державы в яме снаряжали своих государей, благословляя их на великий пожар и драку. Шел по кровавой дороге на Восход царь державы, давя и удушая крамолу, и взял город на великой

реке. По кровавой дороге на Закат шел другой царь, топча и травя измену, и поставил город на топком берегу, на склизкой земле в мутном тумане.

Окрест ямы торговали, строили и воевали, изящными танцами испещряли стены дворцов, сочиняли краски для красоты храмов, и корабельщики привозили из неслыханных царств невиданные дива.

В яме было лучше. Это было ясно каждому верноподданному, и он учил этому своих детенышей. А который из плохих и неверных подданных не знал, что в яме лучше, того по указу соседа учили, начиная с мягких мест спины, приговаривая под свист ученья: «Люби нашу самую лучшую яму, да знай: все прочее — ересь и грех».

И только, когда с Запада попрыгали в яму солдаты многих и разных вер и наречий и когда они полегли на полях и дорогах державы от голода, неверья и ветра и разверстые тела их присыпало снегом, тогда в яме стали громко требовать воли, чистого воздуха и изящного танца.

Главным недостатком ямы была нехватка цивилизаций на душу населения. Так что потребления электричества, авиационных моторов и клозетов-автоматов почти вовсе не было, а все больше преобладало кресало, да топор, да сортир со сквозняками, дующими из дыр. Что же касается горького вина и всякого рода темных вещаний о счастливом будущем, то сего было за милую душу более чем достаточно. [Страница оборвана.]

Под напором вечно немолчного Заката обступившие края ямы народы повалились в яму и стали топтать ее державную власть и подданных и отдавливать мозоли даже ее интеллигенции. И когда стало ясно со всех концов Земли всякому, что пришел яме благословенный, веками жданный конец, капут, финиш, каюк, хана, крышка, — тогда пришла шайка беглых каторжников и атаман шайки заграбастал всю яму с ее живностью, детенышами живности, рыбой, хлебом, зверем в лесах, изящными танцами в музеях, солдатами в окопах, проститутками и интеллигентами в борделях и университетах. Именно с этой точки как раз идет начало гибели мира и последних вздрагиваний околевающего человечества.

В яму, спотыкаясь, спускались солдаты 14 держав, обладавших самыми учеными тезисами, и больше не возвращались на поверхность к уровню моря, убитые каторжниками. А кто возвращался, требовал, наученный каторжниками, у себя дома, чтоб тоже делали такую яму.

Теперь в яме стало еще лучше. Единственным недостатком ямы было то, что убивали всех, кто думал не так, как все, т.е.

* Глава I публикуется с сокращениями.

как вождь и хозяин державы, олицетворивший лучшие стороны народной души, и еще потому, что разница в жизненном уровне убивающих и убивавших была столь кричащей, что этого противоречия не могли замазать даже самые лихие ораторы — и поэтому, соблазненные богатой наживой, бывшие подданные самодержавия толпами лезли в убийцы.

Перепуганные соседи начали заигрывать и торговать с ямой. А из ямы стали привередничая покрикивать: — Подай то, подай это, а не то напушу такого смраду, что произойдет внутренний взрыв и тогда вам капут! — И перепуганные соседи просили не беспокоиться и все делали в самом лучшем виде-с.

А в яме беглые каторжники, проститутки из бардаков и интеллигенция из университетов дружно встали у кормила власти и под ветром, дующим из глубин народных хайл и душ, повели свой корабль в бесклассовое общество.

Дошли с голодухи, от вши, от пожара, недорода и труса, дувших в ветрило нового корабля. Издыхая, хрипели: — За свое лучшее будущее подышаем. Да здравствует бесклассовое общество!

А за океаном в тугом тумане вставало теплое полушарие Новой Земли.

Шло время. Шли люди. Шли ветры. Теплые пространства Планеты тяжело дышали. Вспыхивали в разных концах Мироздания сполохи, выстрелы и салюты. Дымились пожарища тайных войн в империях, стоящих на краю гибели, у края ямы. И все, кто верил в то, что судьбы народов мира исправимы, в то, что судьбы народов счастливы и светлы, смотрели с надеждой на теплое полушарие Новой Земли, наплывающее из тумана.

Но в яме сосредоточенно и сердито строили могучие черные заводы, целили жерла во все пространства Земли. В каменной, тяжелой ее столице завывали могучую славу поэты. Ученые учили ее истории — лучшей во всем Мироздании. А вождь державы со своими историками, поэтами, физиками, разъявшими атом, бактериологами, собравшими в пузырьки чуму, со своими министрами, проститутками и идеологами, доказавшими всем! всем! всем! что лучшего ученья сроду не было во всем мире, ковал лопаты для рытья ям по всем континентам Вселенной.

Бесстыжий флаг бормотал на ветру. В дырах тумана вспыхивал штык. И над камнем и чугуном российской столицы, как пузырь, лопнул выстрел, и в то же мгновение в глубокой луже на заваленном тюками тумана Тверском бульваре что-то забулькало, закашляло, закружилось и вдруг из непомерно раздувшегося пузыря в центре лужи выскочил испуганный скверно складывающейся историей Мироздания среднего роста

Черт. Он недвижно постоял несколько секунд посреди лужи, потом удивленно тряхнул головой, сокрушенно хрюкнул, выскочил из лужи и затрусил по тротуару, придерживаясь густой предрассветной тени домов.

2

Он поспешно шел, опасливо прислушиваясь к прерывистому дыханию предрассветного города. Свистящую апрельскую воду гнал ветер. Черные и блестящие, как кольца, машины бесшумно скользили в тумане. Он остановился перед телефоном-автоматом, оглянулся по сторонам и вошел в будку. Звякнули стекла. Он испуганно вздрогнул. Порывшись в кармане широкого черного пальто, он вытащил тонкую стальную проволоку, просунул ее в отверстие для монеты и подергал. Набирая номер, он поглядывал на улицу и нагнулся так низко к аппарату, что [нрзб.] закрыло диск.

— Я, да, да, я, — кашлянув, тихо сказал он. — Все благополучно. Да. Сверим часы. 4.42. Приземлился в 4.28. Не знаю. Такого задания я не получал. Вот именно. Не знаю. Нет, это не входит в 3% авторских. Пожалуйста. Можете спросить. Сегодня в 5.10. Да. Не знаю. Да. Кто принял телефонограмму? Хорошо. Все.

Он вышел из будки и внимательно осмотрел улицу. Пройдя несколько шагов, он вдруг остановился, пощупал карман, что-то проворчал, потом торопливо вернулся, выдернул из автомата завязшую проволоку и быстро зашагал дальше. На Арбате он свернул направо, пересек перекресток, шарахнулся от вырвавшейся из-за угла машины и засеменил по Поварской.

Подойдя к зданию афганского посольства, он внимательно огляделся по сторонам, посмотрел на часы, постоял с минуту, нетерпеливо и часто затягиваясь, потом бросил окурок и, встав под четвертое справа окно бельэтажа, два раза негромко хрюкнул. Он подождал несколько секунд, сосредоточенно прислушиваясь, хрюкнул третий раз и, не дожидаясь ответа, сейчас же тронулся дальше.

На углу Ножевого переуллка он потоптался перед громадной черной лужей, дернулся в одну сторону, потом в другую, потом выругался, разбежался, прыгнул и очутился в самом центре лужи.

— Бррр, — бормотал он, топя ногами уже на другом берегу, — погодка! Эдак через пять минут схватишь какую-нибудь сволочь вроде геморроя. Ух, до чего холодно, прямо щиплет. Бррр...

Он почавкал мокрыми туфлями по асфальту, потом прижался плечом к углу дома, стащил туфлю, выплеснул из нее воду,

погрел в ладонях ступню и снова обулся. То же самое он проделал с другой ногой.

— Да, — вздохнул он, — эдак и околеть можно. Факт. Паршивый городишко. И жрать до чего хочется. В животе свист со вчерашнего вечера. — Он пошарил в карманах, вывернул один наизнанку и ссыпал в горсть хлебные крошки. Поднес горсть к носу, поковырял длинным ногтем мизинца, сдул пыль и шумно вместе с дождем и соплями втянул в рот. Пожевал. Потом, достав из верхнего кармана пиджака зубочистку, поковырял в зубах, почмокал, сосредоточенно пососал дупло в коренном зубе, слизнул с зубочистки розовый, разбухший клочок позавчерашней котлеты, обтер зубочистку о борт пальто и сунул ее назад в карман.

— Да, да, да, — бубнил он, медленно бредя по предрассветной улице, — да, да, да. А главное, совершенно бесперспективно... Все, так сказать, в прошлом... У других хоть дети, так сказать, украшают их старость. Все в прошлом... Будущее не таит в себе ни надежд, ни иллюзий... Бррр!.. — Он надрывно закашлялся, схватившись руками за грудь, сплюнул и с недобрим предчувствием покачал головой.

Он понуро брел по хмурой предрассветной улице, чавкая мокрыми башмаками и кашляя пронзительно и уныло. Пролетающие вдоль панели ослепительные машины обдавали его ледяными брызгами. Он отряхивался и сморкался.

Безусловно, каждый Homo Sapiens, открывающий какую-либо загадку Мироздания, по величине не превышающую воробья, уверяет всех, что его открытие может объяснить не только воробья, но и трагическую историю Мироздания. Не вызывает никаких сомнений, что если человечество внимательно изучит «Самоучитель шахматной игры» д-ра Эмм. Ласкера и послушается настоятельного совета автора об открытии Академии правильного мышления, в основу программы которой ляжет упомянутый самоучитель, то мир тотчас же избавится от векового хаоса, маразма и социальной несправедливости. Безусловно. В этом нет никакого сомнения. Самоучитель шахматной игры д-ра Ласкера — вещь безусловно добротная. Что же касается простокваши, которую по методу д-ра Мечникова должен поедать натошак всякий житель земного шара, то упомянутая простокваша обладает, как известно из концепции, прямо-таки умопомрачительным свойством делать ее потребителей бессмертными, божественными и заслуживающими парадиза прямо на этом свете.

Черт вне всякого сомнения преувеличивал роль своих тезисов в судьбах истории народов, придавая им значение не меньше, чем д-р Ласкер своему самоучителю и д-р Мечников

своей простокваше. Поэтому его размышления о том, что эта тупая боль под правой лопаткой и покашливание с обильным выделением мокроты в конце концов сделают свое дело еще раньше, чем он сделает свое дело и, главное, каким роковым образом это отразится на грядущих поколениях Земли, был некоторым тщеславным преувеличением своего значения.

Его обеспокоенность вселенной проистекала (и об этом нужно сказать прямо и с самого начала) не из любви к людям и желания им добра, но из эгоизма выскочки, хорошо понимающего (и мы не собираемся этого замазывать), что в наш век демагогического заигрывания с народом на так называемой заботе о «простом человеке» можно нажать себе хорошей политической капитал. И только очутившись ночью, где-то в самом центре чужого враждебного города, он раскрывался самому себе и думал о том, что на такой напряженной, полной ежеминутных опасностей работе, при таких харчах, да с такой обувкой долго не протянешь. Да еще при таком хамском отношении, когда ему даже не захотели выписать командировочных или дать под отчет денег до выполнения первой части задания. И все это весной, в такую сволочную погоду, без калаш.

— Прямо, как в Европе, — бормотал он, — изящно гуляем без калаш. Лондон, можно сказать. Конечно, в Лондоне можно шляться без калаш, — криво усмехнувшись, процедил он, — особенно у кого есть свой паккард. А без паккарда тоже не очень-то разгуляешься, а еще при нынешней безработице. — Мысль о безработице пронзила его сердце острой жалостью к несчастным в трущобах Ист-Энда, неграм, заживо похороненным в своем Гарлеме, к их голодающим семьям, полным рахитичных детей и умирающих от недоедания жен, и вообще ко всем неимущим и нещадно эксплуатируемым классам. — Небось, без калаш или там сапог хорошо шляться тому, за кем сзади свой паккард бегаешь. — Не устали, мол? Ножки не промочили? Может подвезти? S'il vous plait! У-у-у, сволочи, — с классовой ненавистью прорычал Черт и погрозил кулаком куда-то в пространство к Балчугу в сторону Британского посольства и к Охотному ряду, в сторону посольства Соединенных Штатов.

Он едва не проскочил мимо нужного дома. Остановившись уже за подъездом, он плюнул и возвратился назад. Он остановился перед zdоровенной дверью мрачного здания, осторожно оглянулся по сторонам, взглянул на часы, прислушался, натянул на нос шляпу, спрятал подбородок в воротник, толкнул дверь и скрылся в подъезде. Дверь всхлипнула, чавкнула и снова захлопнулась. Послышалось: — У-у, сволочи. Милитари-

сты проклятые. — И все смолкло. На гранитной ступени подъезда медленно растеклись следы острых подошв.

Было бы непростительной ошибкой полагать, что причины острых социальных филиппик Черта лежали в его демократических убеждениях. К сожалению, это было далеко не так. Более того, было бы столь же непростительной, легкомысленной ошибкой верить в шумную декларацию Черта, направленную против империализма, и на этом шатком основании делать скороспелые выводы о его социальном и политическом облике. По всей своей природе он был типичным люмпеном на интеллигентской подкладке, бездейтельным, безвольным, нахватавшимся с десятка сомнительных парадоксов из переводных романов, не приспособленный к систематическому труду и склонный к половым извращениям. Получив воспитание в семье (он был единственным ребенком) с типичным во вкусе II Интернационала либерально-интеллигентским запашком, который его папа и мама едва донесли до второй недели Первой мировой войны, после чего плюнули на «либеральные» мечты своей молодости и великолепно присоединили свой голос к хору тысяч других пап и мам, требовавших увеличения военных кредитов, он, еще будучи в школе, снискал себе сомнительную репутацию штрейкбрехера и ренегата. Однако эти высокие достоинства его не спасли и после грязной истории (он учился тогда в 8-ом классе) с изнасилованием учительницы пения он был с треском вышиблен из школы и едва не попал за решетку. Его выручило только то, что, вступив в одну из оппозиционных профсоюзных организаций, он напечатал серию статей, разоблачающих грязные методы воспитания в государственных гимназиях. Но через некоторое время, подкупленный одним из лидеров профсоюзов, поддерживающих правительство, напечатал другую серию статей, разоблачающих оппозиционные профсоюзы, за что был изгнан из оппозиционной редакции со скандалом, который едва удалось замять, и то с помощью дяди, владеющим контрольным пакетом акций крупной фирмы, поставляющей свечи для небесного престола. В течение нескольких месяцев о нем никто ничего не слышал. Говорили, что он бродит по отдаленным деревням, покупая избирателей перед предстоящими выборами в совет архангелов. Но определенно утверждать, что это именно так, никто не мог. И только когда неожиданно разразился чудовищный скандал в связи с фиктивными поставками шпал для строительства железной дороги Сион — Гроб Господень, он всплыл на поверхность в здании Верховного суда в качестве одного из мелких участников аферы. На процессе в довершение всего выяснилось, что он отнюдь не занимался предвыбор-

ной агитацией в деревнях, а именно в этот важнейший политический момент потихоньку, с целью перепродажи, таскал свечи с Небесного престола. Все это вместе взятое лишило его надежды на милость Господню, и, действительно, он в числе других 8-ми осужденных, как социально опасный элемент, был изгнан из небесных сфер без права покаяния с последующим возвращением в лоно.

Он так озлился, что сам, не дожидаясь, пока приговор будет приведен в исполнении судебными чиновниками, плюнул на божественный престол и пошел в преисподнюю.

Здесь уже знали о скандале, разразившемся у беловонючек (так здесь называли сонм ангелов и их божественного учителя) и со злорадством ждали пополнения своих кадров. Передавали остроуту Люцифера о том, что скоро они перекачают к себе всю компанию. (Имелось в виду то обстоятельство, что в последние десятилетия резко пошла вверх кривая падения нравственности на небе, в то время как в преисподней не было ни одного случая отложения от ада с последующим возвращением на небо.)

При разборе личных дел, поступивших на пересылный пункт преисподней на героя кражи свечей с Небесного престола было обращено внимание. Он был вызван к начальнику пересылки. Ему предложили место секретного сотрудника в Русском отделе Генерального штаба. Он подумал, спросил об условиях и согласился. Ему присвоили кличку, номер, взяли подписку о неразглашении, заполнили анкету, послали на врачебную комиссию (Пустая формальность. Мало-мальски объективная комиссия никогда бы не пропустила его по легким и зрению), взяли на пищевое и вещевое довольствие и велели отдыхать до особого распоряжения, предупредив, чтоб он особенно не шлялся по веселым местам, потому что окрест бродит триппер, и за это дело выгоняют с работы и судят так, что на всю жизнь остается глубокая метка.

На второй же день он настолько раскаялся, что пошел в Русский отдел. Утром старшина треснул его по уху за то, что он засиделся на opravке, заорав: — В каком отделе служишь, жопа! — В обед его треснул по другому уху повар за то, что он дважды пытался получить кашу, и тоже напомнил про Русский отдел. Кроме того, новые товарищи так напугали его рассказами об опасностях, дисциплине, требовательности начальства, что он не мог заснуть всю ночь, вертел побитыми ушами, а утром пошел в канцелярию спросить, нельзя ли перейти в какой-нибудь Аргентинский отдел или в крайнем случае в Японский. Секретарь, засунув оттопыренный большой палец за портупею, с презрением посмотрел на него и, раскачиваясь

на носках, процедил сквозь зубы: — Как стоишь, жопа! Уже скис? Быстро. Ну, брат, из тебя выйдет толк, если только еще раньше не выйдут крошки. Можем перевести в Югославский.

Он посоветовался с одним пареньком, соседом по койке, но тот сказал: — Что Русский, что Югославский, что Польский или там Румынский — все одно. Хрен редьки не слаще. Надо было идти в Голландский или какой-нибудь другой нейтральный. Да туда без знакомств не попадешь. Сиди уж, коль попался. Авось не застучают сразу.

Он так заскучал, что даже не съедал свою пайку. Только через несколько дней он начал приходить в себя и, увлекаемый товарищами, оказавшимися простыми и веселыми, несмотря на свою обреченность, ребятами, пошел в бардак, где сразу же схватил триппер от одной жирной бабы. Товарищи помогли ему сулемой, марганцовкой, раскаленным до бела гвоздем (для будирования) и ценными советами. Таким образом, удовольствии он получил, триппер залечил и под суд не попал. С этого времени он повеселел, старался поменьше думать о предстоящей работе и о переживаниях, сопровождающих естественную потребность помочиться.

Вскоре начались занятия в Академии Генерального штаба, отнимавшие много сил и совершенно не оставлявшие времени для каких-либо посторонних дел и размышлений.

Работа в Русском отделе отложила свой роковой отпечаток на всем его облике. Надо сказать, что у него было то, что у медиков называется диатезом или предрасположением к работе именно в этом отделе. Попав туда в качестве секретного сотрудника, да еще получив серьезную теоретическую подготовку в Академии Генерального штаба под руководством опытных преподавателей, при жизни занимавших видные командные посты в армии и органах государственной безопасности Союза ССР, он приобрел странные сочетания свойств древнерусского характера с абсолютно невыносимым им для кого из окружающих свойствами характера советского, в результате чего получилось затейливое сочетание самоковырнения со злобностью, рефлекторности с садизмом, склонности к самоказнению со склонностью к предательству, легкомыслия со лживостью, самобичевания с воровством, склонности к социализму с людоедскими методами осуществления своих извращенных склонностей, многоженства с онанизмом, праздности с невероятной энергией при писании злобных доносов, славянофильства с патриотизмом. Все эти и им подобные затейливые сочетания подробно разобраны и детально описаны в русской классической (более художественно) и советской (более просто и четко) литературах. Из специальных трудов по

этим вопросам можем указать на «Историю русской интеллигенции» проф. Иванова-Разумника. Изд. Современные проблемы. 1912 г. М.—П. и сборник «Постановления партии и правительства по вопросам идеологии», М. 1948 г. Партиздат.

Может быть, если бы наш герой родился и воспитывался в других условиях, его не вызвал бы начальник пересылки, или даже, если бы и вызвал, то не предложил бы работу в Русском отделе, а предложил бы в каком-нибудь южно-африканском. Но... обстоятельства сложились именно так, а не иначе, и мы не собираемся их фальсифицировать.

Итак, наш герой родился в семье, сочувствующей (скажем мягко) проблемам социализма, воспитанный соответственно воззрениям родителей изнасиловал учительницу пения, за что был вышвырнут из среднего учебного заведения в левые профсоюзные организации и со святых небес в преисподнюю за кражу свечек со святого престола, затем, попав в Русский отдел и кое-как кончив Академию Генерального штаба, получил важное задание от начальника отдела (контрразведка) и был спущен в Москву в туманный предрассветный час мокрой апрельской ночи.

В свете всех этих данных, заимствованных из характеристик, официальных документов, дневниковых записей, а также агентурных сведений, имеющихся в распоряжении архива отдела кадров Генерального штаба, где, между прочим, в одной из характеристик была следующая фраза: «Трудно сказать, не то черт, не то жупел», трескучие фразы об империализме, лондонских безработных и их семьях не следует рассматривать как проявление классовой ненависти или природного демократизма или чего-нибудь еще в этом роде.

Здоровенная дверь мрачного здания с шумом распахнулась и Черт, забыв о курсе конспирации, сданном на «3 с плюсом», выскочил на улицу, громко ругаясь: — Сволочи, — прорычал он, — шляешься под дождем, голодаешь, как сукин сын, а она: «Без справки не могу выдать ни копейки, знаете, какая сейчас финансовая дисциплина...». Плевал я на вашу финансовую дисциплину, — рычал он и действительно плюнул. — Дурак партийный! Надо было лезть без командировочных. Пока получишь несчастные 3% авторских, сдохнешь с голоду. — Он скверно выругался. Несколько успокоившись, он подошел к фонарю и в тусклом его мерцании прочел адрес, написанный мелким почерком на обрывке газеты. — Хрен его знает, где это, — проворчал он, — Покровско-Стрешнево, трамвай 12-й номер. Тьфу!

Мутный, как моча почечного больного, сочился на город рассвет. Где-то вдаль забрякали трамваи, кто-то заорал: — Каррраул! Откуда-то свистнули.

Черт взглянул на часы и заспешил к Кудринке. Проходя мимо особняка Союза Советских писателей, он ехидно улыбнулся, просунул голову между прутьев ограды и заглянул во двор. Длинный дворник ковырял лопатой мокрую землю у длинной скульптуры.

— Эй, Никита, — тонким голосом окликнул его Черт и отскочил от ограды, зацепив ухом за прут.

Черт хотел есть. Он опять стал шарить в карманах, но все крошки были съедены.

— Нечего сказать, хорошая работенка, — скривившись, процедил он, — почти сутки не жравши. Прошли, кажись, наши времена. Еще в 37-ом году кончились. После ежовщины много не заработаешь. Небось, дураков мало осталось идти к нам. — Он тяжело вздохнул и, спохватившись, бросился за трамваем.

Сонная кондукторша стала привязываться насчет билета.

— Служебный, — нахально отрезал Черт и сел сразу на два места, спокон веку во всех московских трамваях на вечное пользование отданные государством женщинам с детьми. Кондукторша начала было привязываться и на этот счет, несмотря на то, что все места в вагоне были пустыми, но, не дотянув до конца нудной фразы, захрапела перед самым словом «штраф», кляя носом пятаки и гривенники в своей сумке. Вожатый завывал широкую русскую песню об одном каторжнике, зарезавшем 6 фраеров и 12 ментов, и что из этого вышло. В наиболее патетические и опасные моменты песни он наваливался всем телом на свою рукоятку, и трамвай, вздрогнув от припущенного в него до самого верха току, срывался, как окаянный, и с визгом, шатаясь во все стороны, несся к чертовой матери. Черт испуганно высывался в окно и ежился от страха.

Постепенно вагон стал наполняться рабочими, колхозниками и прочими строителями коммунизма. Кондукторша считала пятаки и озверело ругалась с бабой, навьюченной бидонами, теребя с каждого бидона по гривеннику.

— Следующая Покровско-Стрешнево, — сипло заорала она, — слазь кому охота. — Черт выскочил, рванул дверь и вылетел на площадку, угодив острым носом прямо в шею водителю. — Куда прешь, — заревел вожатый, бросив песню о каторжнике, зарубившем 6 фраеров и 12 ментов, — лезь в кузов, до полной остановки! — Черт нахмурился и огрызнулся. Трамвай засипел и резко сдал ход. Черт не удержался и влип пятерней в харю водителю. Вожатый помотал мордой и зарычал душераздирающую матню. — Посоли, — презрительно огрызнулся Черт и выскочил из трамвая, не доехав до остановки. — Сейчас штрафану! — орал вожатый. Черт пробежал несколько шагов рядом с трамваем, остановился, показал хаму-водителю одно

из неприличнейших мест своего организма и свернул в переулок.

Он шагал по переулку и, размахивая руками, говорил хаму-водителю все то, что он должен был, но не успел ему сказать. Одно мгновение он готов был броситься догонять трамвай, но мысль о том большом и опасном деле, которое ему предстояло, остановила его.

Несмотря на все это нужно сказать прямо: его почти не интересовало общественное служение. И долг, возложенный на него, был интересен только в связи с абсолютной спешной необходимостью поскорее развязаться с этим делом и получить положенные 3% авторских, существование без которых было совершенно немислимым. Это и только это погнало его ни свет ни заря в холодный и мокрый апрельский рассвет, в чужой, враждебный город, где смертельная опасность стерегла его на каждом шагу, и привело к двери с табличкой, на которой было написано: «Квартира №6. Профессор В.А.С.Х.Н.И.Л. А.В. Чижев».

3

Еще вчера в это время она была спокойна и счастлива.

Она проснулась и, увидев в зеркале улыбающееся личико, не сразу сообразила, чья это улыбка и к кому она относится. Со страшной быстротой, меньше чем за час двадцать минут она проделала трудоемкую и отнимающую массу времени работу по раскрашиванию этого самого улыбающегося личика и, оставив неотделанными только губы, наспех проглотила чашку какао и кусочек французской булки с маслом. Не теряя ни минуты времени, она возобновила прерванную работу над проработкой губ и меньше, чем за 15 минут эта ответственнойшая деталь была готова. Она всего четыре раза переменяла пальто и, решительно остановив свой выбор на белом драповом пальто с серым воротником из шелковистой каракульчи, выскочила на улицу.

Она захлопнула дверь и в мгновение, когда язычок английского замка, щелкнув, ушел в скобку, вспомнила, что ключи остались в зеленой крокодиловой сумке, которую она вчера вечером брала с собой. Она нерешительно дернула дверь и, убедившись в бесполезности попытки, застучала каблучками вниз по лестнице.

Через 2 часа 40 минут, в 11 часов 8 минут по московскому времени она возвратилась домой и, только машинально открыв белую лосевую сумку, вспомнила, что забыла ключ в зеленой крокодиловой. Мгновение она постояла, беспомощно глядя на дверь, потом достала копейку и попробовала с ее

помощью проникнуть в квартиру. Но из этого решительно ничего не вышло. Она уныло смотрела на блестящую клеенку, на кнопку звонка, на табличку с именем владельца квартиры, на холодно полбескивающий диск замка.

Свист и скрежет вывели ее из задумчивости. Она испуганно подняла вверх голову и увидела летящего по перилам с громким криком сына знаменитого академика с крупными ошибками. — Вовка, — позвала она, — иди сюда. — Вовка затормозил свое стремительное движение вниз и, выставив под прямым углом к туловищу ногу в рваном башмаке прямо к ее носу, спросил:

— Чего тебе? Ты останавливаешь мое стремительное движение вперед к коммунизму.

— Ты умеешь открывать замки без ключа? — спросила Симочка Сексуалова. — Я забыла свой ключ в другой сумке.

— А-а, — понимающе, но без тени сочувствия протянул Вовка, — забыла. Гм. Ну и что же?

— Ну, открой, Вовка!

— А чего дашь?

— А чего ты хочешь? — осторожно спросила Симочка.

Вовка задумался. Потом с ног до головы циничным взглядом осмотрел ее и, сплюнув, произнес такие замечательные слова:

— Чего я хочу, ты уже все равно отдала в давние времена. А чего осталось, того я сам не возьму. Ладно, давай пососу титю и на этом покончим, чтобы долго не торговаться.

— Как тебе не стыдно, Вовка! — нахмурившись, заявила Симочка, — ты еще не перешел в 6-ой класс и уже говоришь такие гадости. Стыдно.

Вовка расхохотался. — А ты и вовсе с 4-го класса начала шляться по бардакам. Чья бы уж корова мычала, а твоя бы молчала. Понятно?

— Не твое дело, где я шлялась, — отрезала Симочка.

Вовка презрительно сплюнул и сказал: — Не хочешь, дело твое, — покотил вниз по перилам.

— Постой, Вовка, — закричала Симочка, — ладно, открывай. Я согласна. Только недолго.

— Чего недолго, — осведомился Вовка, — открывать?

— Да нет же, сосать, — вздернув губку, пояснила Симочка.

— А-а, — важно заметил Вовка, — ладно уж, пусть будет по-твоему.

Он подошел к двери, скептически осмотрел замок, ковырнул ногтем, дунул и дверь распахнулась.

— Молодец, — искренне восхитилась Симочка.

— Пригодится на черный день, — деловито сказал Вовка, — ну давай.

— Да ты зайди хоть в переднюю, — с укором сказала Симочка, — нельзя же прямо на лестнице.

— Зайдем, — равнодушно согласился Вовка.

Симочка закрыла за собой дверь, расстегнула пальто, подняла кофточку и, достав грудь, сунула ее в губы Вовке. Вовка скептически осмотрел сосок, промычал: — Почему не красный, — и зачмокал.

— Будет, — сказала через минуту Симочка, — уже хватит.

Вовка нахмурился, посмотрел на нее исподлобья и отрицательно замотал головой.

Через минуту она толкнула его ладонью в нос и спрятала грудь под кофточку.

— Теперь убирайся, — делая вид, что сердится, сказала она, — и помалкивай.

Вовка облизался, промолвил: — Эх, хороша титька, только, пожалуй, маловата, — и пошел в школу, в 5-ый класс, на урок русской истории.

Симочка, сокрушаясь о том, что пропало даром столько времени, не снимая пальто, взволнованными пальцами открыла сумку, достала черный футляр и, зажмурился глаза, застыла.

Через несколько секунд она очнулась и, поднеся футляр близко, близко к глазам, открыла его и восхищенно замерла.

На черном бархате в глубокой лунке мирно покоилась, облитая мягким светом, здоровенная брошка, изображавшая громадную муху.

Симочка, оттопырив мизинец, осторожно взяла муху большим и средними пальцами и поставила на подушку.

— Миленькая мушка, — шептала она и опустила на колени, — какая хорошенькая. И всего 240 рублей. А завтра я тебя надену на танцы. Ах, ты мушка!.. Муха-муха-цокотуха, позолоченное брюхо...

Она вскочила на ноги, захлопала в ладоши и, схватив муху футляр, написала на донышке, послюнив химический карандаш, порядковый номер приобретения.

— Сто двадцать четыре, — с удовлетворением сказала она, — муха номер сто двадцать четыре. Теперь поставим номер этого года. — И она написала в скобках — 11.

Она закружилась по комнате, громко распевая: — Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила... Симочка не допела строчку и, всплеснув руками, бросилась к телефону.

— Чижик, — защебетала она в трубку. — Что? Это не Чижик? А кто это? А? Товарищ пожарник, сейчас же позвоните профессора Чижова. На лекции? Неважно, вызовите с лекции. По срочному делу. Да, да. Из министерства.

Через минуту она, не дождавшись, бросила трубку и полетела к своей мухе. Она схватила ее вместе с подушкой, поцеловала крылышки и, осторожно положив подушку на стол, снова побежала к телефону. Она набрала номер, торопя пальцем диск, слишком медленно возвращающийся назад.

— Почему так долго? — пискнула она. — Что? Пожарник? Позовите сейчас же профессора Чижова. На лекции? Скажите, что из министерства. Что? Ах, это ты, Чижик! Чижик, сейчас же поцелуй меня в ушко! А у меня чего есть! Что? Что кончено? Что все?! Подожди, а как же вечер у Кики? То есть как это не будет?! Осудили?! Я говорила, что ты доиграешься со своей философией! Зачем ты всюду лезешь, болван несчастный? Кто тебя тянул за язык? Почему не мог вчера вечером отказаться от своих глупостей? Что? Дело твоей жизни?! Ну, так будешь ходить в рваных штанах с делом твоей жизни, идиот несчастный! Господи! Зачем я только связалась с таким идиотом?! Что? Можешь не приходиться обедать, дурак! — И она бросила трубку.

Остолбенело стояла она над своей мухой, медленно вникая в сущность разыгравшейся драмы. Очнувшись, она медленно обвела глазами комнату и вдруг в гневе рванула хищными зубами кружево платка, затопала ногами и, обессиленная секундной вспышкой, повалилась в кресло. Горячая, горькая тяжелая слеза упала на серебристое крылышко мухи. Она нагнулась над мухой и горячими, сухими губами впитала горько-соленую влагу.

Она плакала долго и безнадежно. Стемнело. Симочка подошла к окну и посмотрела на улицу. Грязный туман клубился над городом. Дождь трясся над асфальтом. Мокрая сука, опустив хвост, уныло брела по тротуару. Длинный милиционер долго и безрадостно свистел вслед убегающему от штрафа преступнику. Скользкие скамейки голыми худыми ногами стояли в холодных лужах. Симочка зябко поежилась при мысли о том, что теперь ее счастье в уютной теплой квартире с брошками, серьгами, кольцами, кулонами, бусами, браслетами в виде птиц, змей, мух, слонов, черепах и прочего окончено, погублено и в такую мерзкую погоду ей предстоит идти на Тверской бульвар продавать свое милое, теплое, молодое тело...

Кто бы мог подумать, что даже для такого, абсолютно интимного дела, как выбор мужчины, способного прилично оплачивать свое счастье, необходимо кончать философский, или в данном случае лучше биологический факультет Московского Государственного университета?! Удар, постигший ее, заставил задуматься над этим, но, не получив систематического образования в силу того, что жизнь в семье отличалась крайней безалаберностью и неопределенностью (до 1937 г. ее мать

была проституткой, а отец председателем Совнаркома Белорусской ССР, потом, после 1937 года, наоборот, мать стала председателем Совнаркома, а отец проституткой), она, разумеется, не смогла точно ориентироваться в данной обстановке и прийти к наиболее удовлетворительному решению. И поэтому ее сила была, конечно, не в мастерстве строить стройные конструкции абстракций, но в слепом и верном инстинкте, толкавшем ее всегда именно к такому мужчине, который мог прилично оплачивать свое счастье. Принадлежа к той категории Homo Sapiens, которая объясняет ошибки человеческой истории умозаключениями величиной с воробья, она была убеждена в том, что ее трагедия является не следствием ошибки, сделанной при выборе мужчины, который должен был бы думать не только о своем, но также и об ее счастье, а не о безалаберном и неопределенном устройстве Мироздания. Именно поэтому напряженную идеологическую борьбу на биологическом фронте, завершившуюся сегодня утром в заключительном слове по докладу академика Т.Д. Лысенко, одобренному ЦК ВКП(б), в результате которой мужчина, до сих пор прилично оплачивающий свое счастье, оказался в паршивом положении разоблаченного генетика, она переживала не как огромную победу прогрессивного, мичуринского мировоззрения, но как незаслуженную обиду, нанесенную лично ей. Что же касается выводов, которые она сделала в связи с историческими разоблачениями вейсманистов-морганистов, то они носили слабо выраженный общественный характер и сводились главным образом к трем следующим пунктам: 1. Ей всегда не везет в жизни, потому что она слепо доверяет людям и, несмотря на огромное количество обид и разочарований, пережитых из-за этой глупой доверчивости, она до сих пор не научилась рвать зубами от крахи счастья. 2. Ей всегда не везет в жизни, потому что она, вместо того, чтобы заботиться о самой себе, уступила Шуре за какую-то грошовую цепочку одного, до сих пор нигде не разоблаченного художественного руководителя эстрадного оркестра (бывший джаз) и Шура до сих пор блестяще преуспевает, несмотря на то, что она не обладает никакими преимуществами по сравнению с ней, и даже, наоборот, имеет на самом носу сивую родинку. 3. Муха, приобретенная с таким вдохновением, не сможет быть надета на танцы у Кики и будет мучить ее, как неудовлетворенная жажда материнства.

Три стройных вывода, сделанных ею на основании поражения реакционного мировоззрения вейсманистов-менделистов, дают все основания объяснить страсть к брошкам, серьгам, кольцам, кулонам, бусам и браслетам в виде птиц, змей, мух, слонов, черепах и прочих родов биологического царства, не

только унаследованной генетическим способом от предков-дикарей приверженностью к тотему, но глубокой обеспокоенностью судьбами Мироздания.

Она не хотела идти в такую мерзкую погоду на Тверской бульвар продавать свое милое, теплое, молодое тело. Обуреваемая ненавистью ко всем реакционным идеологиям, она подскочила к книжному шкафу и цапнула зубами корешок объемистого тома профессора Чижова, где убедительно доказывались преимущества его мировоззрения в сравнении с другими мировоззрениями. Мотая головой с зажатым в зубах томом профессора Чижова, Симочка металась по кабинету, давая каблуками бабочек, птиц, сусликов и клопов, живущих на казенных харчах в кабинете, а из тома профессора Чижова летели, обреченно покачиваясь, страницы преступных заблуждений, а может быть и сознательных научных диверсий.

Грязный вечер залез в окно. Симочка устало повалилась на диван и горько заплакала. Вдруг за дверью послышалось нерешительное топтанье, потом пыхтенье, потом тяжелый вздох. Коротко брызнул звонок. Она вскочила с дивана и замерла. Несколько минут длилось тоскливое молчанье. Тогда она на цыпочках подошла к двери, вложила крючок цепочки в петлю и осторожно повернула головку замка. Услышав возню, обрадованный Чижик толкнул дверь и увидел сквозь щель, как мелькнули и скрылись каблукы, стройные и высокие, как церковные колоколенки. Чижик обрадованно заулыбался и, согнувшись, глядел в щель в надежде на появление обладательницы каблуков.

— Самочка, — тихонько позвал он, — здесь цепочка...

У Симочки, стоявшей вне поля чижикова зрения, бешено забило сердце. Она глотнула слюну, сделала шаг к двери, попал в обозреваемый Чижиком узкий треугольник, и ледяным голосом отрезала: — Во-первых, я вам не Самочка и прошу вас оставить меня в покое.

Поганый генетик, выведенный научной общественностью на свежую воду, придержал у скулы большим и указательным пальцем сползающую улыбку и тяжело вздохнул.

Симочка с достоинством повернулась и отошла. Сделавшись невидимой, она тотчас же полезла за вешалку и, встав на корточки, одним глазом стала внимательно наблюдать за пустыми и малоопасными попытками мерзавца. Профессор Чижов потоптался перед дверью, потом просунул палец в щель (Симочка обомлела, испугавшись, что Чижик ее перехитрит и снимет цепочку), зацепил какой-то листок и потащил к себе. Симочка едва сдержала острое желание выскочить из-за ве-

шалки и наступить ногой на похищаемый листок. Чижик поднял листок, уселся на ступеньку и принялся читать. Это был листок из его труда, являющегося краеугольным камнем концепции. Он читал сосредоточенно и долго, но плохо понимая про что именно написано в краеугольном камне, бросил и снова подошел к щели. Симочка, заскучавшая за вешалкой, тоже было подошла к двери, но, столкнувшись с Чижиком, ловко и незаметно скрылась.

— Самочка, — начал Чижик, но осекся, покашлял и начал снова, — Симочка, ты знаешь, я бы не прочь пообедать. Правда.

Симочка, не выходя из своего угла, разразилась сардоническим смехом.

— Ну, хорошо, — сказал, вздохнув, Чижик, — я пойду что-нибудь куплю.

Симочка подскочила к двери и увидела спускающуюся по лестнице фигуру профессора с понуро опущенной головой.

Пока голодный Чижик бродил под дождем в поисках продовольствия, она, презрительно улыбаясь, поужинала и даже успела завести патефон и послушать вчера приобретенный быстрый танец (бывший фокстрот).

При исполнении последних тактов вновь появился унылый Чижик и что-то простонал в щель. Симочка испуганно отпрянула, задев мембрану. Патефон забормотал нечто невнятное, булькнул и смолк. Наступила торжественная тишина. Вдруг Чижик сел прямо на площадку перед дверью, достал из кармана круг краковской колбасы, отколупал ногтем пленку и стал жрать, громко и с удовольствием чавкая. Симочку передернуло от ненависти.

Поев, Чижик вытер шляпой губы, отряхнул крошки с полпальто и, не вставая, попросил:

— Симочка, пусти меня. Ну, пожалуйста...

— Во-первых, я тебе не ты, — вспыхнула Симочка, — можешь тыкать свою жену, а мне не о чем с тобой разговаривать.

Чижик шмыгнул мясистым носом, колупнул клеенку, которой была обита дверь, тяжело вздохнул, встал на ноги, обтер о пальто ладони и отошел от двери.

Симочка, услышавшая его удаляющиеся шаги, испугалась, что на этом может закончиться такая замечательно-увлекательная сцена, сорвалась со своего места и подлетела к щели.

— Во-первых, — завизжала она, — не надейся, пожалуйста, что я, как какая-нибудь дура, прошу тебе все, что ты сделал со мной. Можешь уходить! Я не желаю с тобой разговаривать!

Бедный Чижик помотал головой, засунул оттопыренный большой палец за воротничок и жалобно простонал:

— Самочка, честное слово, я не виноват. Уверю тебя. Я хотел, чтобы все было хорошо. Ты посмотри на мои последние опыты. Честное слово...

— Ах так! — взвилась Симочка. — Выходит, что это я во всем виновата. Очень хорошо. Можете идти. Пожалуйста.

— Да нет же, не ты, — Чижик уныло почесал за ухом и переступил с ноги на ногу, — вовсе не ты, а этот выскочка Лысенко. Ей Богу, Симочка, он такой же ученый, как бык, который удобряет почву.

— Можешь быть поделикатнее, — с презрением сказала Симочка, — и не употреблять при мне таких выражений. Впрочем, что можно еще ждать от тебя.

— Виноват, — смущенно сказал Чижик и поковырял в носу. — Видишь ли, я думал, что проблема внутривидовой борьбы имеет значение не только как биологическое понятие... — начал было бедный генетик, но Симочка, остервенясь, не дала ему договорить.

— Что ты кричишь на меня?! Очень мне нужна твоя борьба! Можешь оставить ее себе! Ты бы лучше подумал хоть раз в жизни, что я буду делать, когда у нас не будет денег! Об этом ты подумал?! Ах, нет?! Ну тогда можешь убираться к черту вместе со своей борьбой!

— Самочка, — взмолился несчастный генетик, — ради Бога, не мучай меня. Если бы ты знала, как мне тяжело. Ты знаешь, мои опыты с мухой-дрозофилой...

— Ах, я тебя мучаю! — она истерически расхохоталась, — я его мучаю... Нет, вы только посмотрите на эту жирную морду и сразу увидите, как я его мучаю! Сколько ты сегодня съел колбасы? А, бедный, несчастный Чижик! Его совсем замучили!.. Ха-ха-ха!.. — Она бросилась с хохотом на диван.

Замученный и заплеванная генетик зашевелил толстыми обиженными губами, поднял, потом быстро опустил очки и тихо сказал:

— Бедная моя девочка...

— Я его мучаю! — взвизгнула Симочка. — Я ненавижу вас! Больше мы не можем жить вместе! Кто-нибудь из нас должен уйти. Сейчас же уходите отсюда!

Бедный, затюканный генетик грустно посмотрел на нее и вздохнул. Потом полез за бумажником, вытащил пачку денег, отложил себе три рубля и, просунув в щель руку, положил деньги на пол.

— Хорошо, Симочка, — прошептал он и медленно побрел вниз по лестнице.

Симочка подобрала деньги, дважды пересчитала их и спрятала. Она порыдала с четверть часа, потом вытерла носик о

подушку, проглотила наспех чашку какао и кусочек французской булки с маслом, слегка покрасилась и легла спать.

Ей снились страшные сны: хищные птицы, ползучие гады, слоны и носороги, волоча за собой иголки и защипы, которыми они крепились к кофточкам, шляпам и платьям, обступили ее со всех сторон, норовя укусить, ужалить, тяпнуть, боднуть, погубить ее милое, теплое, молодое тело. А накануне приобретенная с таким вдохновением за 240 рублей здоровенная муха все время лезла ей в глаза и топала ногами и голова ее была похожа на голову Чижика.

Утром она встала с тяжелой головной болью. Из зеркала на нее глядела ощеренная зубастая харя. Она не сразу догадалась, кому принадлежит и кому адресован этот звериный оскал. Она терла по харе всякими щетками и вмазывала вониючие ваксы. Потом она нажралась квасу и хлеба с салом. Зашпиливая кофту своей новой мухой, она уронила ее на крылья, сонно выругалась и облизала мухины крылья языком. Выходя из клозета, она заметила сквозь щель до сих пор незакрытой двери что-то черное и блестящее. Подойдя поближе, она увидела одинокую калошу Чижика. (Бедный Чижик ушел, с горя надев одну калошу, да и ту на другую ногу.) Она подобрала калошу. Потом помыкалась по комнатам и остановилась у окна. По небу волочили толстые, полные дождя тучи. Дождь не шел, а прямо-таки топал по мостовой. Ветер сморкался, плевал и кашлял. Полными слез глазами смотрела она на полную воды улицу и ей вдруг стала ослепительно ясна страшная драма, обрушившаяся на милое, теплое, молодое тело.

— За что?.. — прошептала она, — за что?.. — И, не найдя ответа, упала грудью на подоконник и зарыдала беспомощно и громко.

Но в это мгновение раздался звонок, длинный, настойчивый и тревожный.

4

Она испуганно подняла голову, поспешно отерла заплаканные глазки и заспешила в переднюю.

Симочка отворила дверь и, посматривая то на посетителя, то на свою милую мушку, прелестно улыбаясь, попросила незнакомца войти.

— Очень рад, — сказал, ухмыляясь и покачивая бедрами, Черт, — очень рад. Тронут. Такая очаровательная мадемуазель. — Он шаркнул ножкой по коврику прихожей, наклонился вперед, отставив тощий зад, и протянул Симочке согнутую в локте руку со сложенными дощечкой четырьмя пальцами и оттопыренным вверх большим пальцем.

— Сэм Чайковский, специальный корреспондент журнала «Огонек», — отрекомендовался Черт и даже сам удивился, как это здорово выходит.

— Проходите, пожалуйста, — обворожительно пролепетала Симочка, — пожалуйста. Просто чудно!

Черт зачарованно поглядел на муху, потом на обладательницу, закатил глаза и — ничего не сказал.

— Пожалуйста, — пискнула Симочка, — просто чудно!

— Благодарю, — томно промолвил Черт, повесил пальто и шляпу и следом за хозяйкой прошел в бывший кабинет Чижики.

Симочка придвинула кресло и Черт развалился в нем, закинув голову с острым носом на спинку. Он не спускал косых глаз с Симочки.

— Мне кажется, — после минутного молчания сказала Симочка, — что мы с вами уже где-то встречались.

— Встреча с вами — незабываемое событие, — произнес Черт, — я не забыл бы его всю жизнь, — и добавил с некоторым беспокойством: — А где?

— На вечере, посвященном Международному женскому дню 8-го марта, в Метрополе, — неуверенно сказала Симочка.

— Международный женский день 8-го марта? — Черт поерзал в кресле. — Нет, этот замечательный праздник я встречал не здесь. Я, видите ли, только сегодня спустился, то есть, я хотел сказать — прибыл. Только сегодня. Ночью.

— А-а-а! — удовлетворенно кивнула головой Симочка и, промолчав, спросила: — А откуда вы прибыли?

Черт поерзал в кресле и, хотя он вполне мог ожидать подобных вопросов или даже еще худшего! — «Зачем пришел?», например, все же сейчас этот вопрос показался ему абсолютно неуместным. — Откуда? — нахмурившись, спросил он и брякнул: — Из высших сфер, — но тут же, спохватившись, поправился: — то есть, собственно, как раз наоборот, из низших сфер, — и, обомлев, понял, что сказал нечто поистине душераздирающее. Он пробормотал, густо покраснев: — То есть прибыл из своего родного дома, — и, часто заморгав, тяжело вздохнул.

— Ах, как интересно! А где ваш дом? — не унималась Симочка, — наверное, очень далеко, да?

Черт про себя площадно обругал ее, а вслух произнес: — Нет, что вы, [пропуск в тексте] редакция журнала «Огонек», такой большой серый дом, знаете?

Симочка, внимательно наблюдавшая за темными эволюциями гостя, совершенно бесповоротно и совершенно правильно решила, что незнакомец, заинтересовывающий женщин с первого взгляда, прибыл или из Америки или из тюрьмы. Несмот-

ря на то, что она прекрасно понимала, что между этими двумя предметами нет абсолютно никакой разницы, первый предмет (с которым она тайком познакомилась на страницах некоего оскорбительного для хорошего вкуса и еще более для прогрессивного мировоззрения журнала) жег ее сладострастными искушениями, главным образом насчет цветных резиновых плащей, нейлоновых чулок и опять же — брошек и бус. Именно в связи с этим и для того, чтобы окончательно убедиться в правильности своего заключения, она, ничего кроме индифферентности не подчеркивая в своем вопросе, спросила:

— Вы знаете, я в последнее время очень интересуюсь неграми и как их мучают в Соединенных Штатах, а также брошками и бусами.

— Да? — с неискренней заинтересованностью заметил Черт, — это, наверное, очень увлекательно. И вы преуспеваете на этом поприще?

— Как вам сказать... — лукавила очаровательная молодая женщина, приобретшая за время, посвященное отысканию лучших путей составить наиболее полное счастье Чижики, 96 (см. Порядковый номер по номенклатурному списку — из них 8 отчетного года) прозрачных резиновых плащей и 124 (11) брошек, бус и прочего инвентаря. — Как вам сказать, — лукавила она, — и да, и нет. Все это довольно сложно. Хотя это такая ужасная дрянь, эти плащи, как все в Америке, так что, конечно, в этом нет, нет никакого костьмополитизма, — поспешно добавила Симочка, делая акцент на оценке качества американской продукции.

— Да, представьте себе, — почти не скрывая равнодушия к рождению ядовитого цветка неофашизма в Америке, неграм, цветным плащам, а также брошкам и бусам, сказал Черт, успевший снова обрести едва не утраченное от тупейших вопросов самообладание.

Видя, что с Америкой дело идет туго, Симочка решила поверить, не выйдет ли чего насчет тюрьмы.

— Вы знаете, — заметила Симочка тоном, приспосаблившимся к такому равнодушию, такой индифферентности, что можно было подумать: сейчас она спросит, любит ли гость щелкать семечки, — вы знаете, — слегка зевнув, заметила она, — говорят, что в тюрьме очень избивают железными палками. Вы не знаете?

— Нет, не знаю, — промямлил несколько помрачневший Черт, с детства приученный трепетать перед такими заведениями, и особенно набравшийся страху с начала работы в Русском отделе Генерального штаба. — Да, конечно, Вы обратили внимание, какая в этом году скверная весна? Правда?

У Симочки екнуло сердце. Такой ответ сразу рассеял сомнения, волновавшие ее. Не рассчитывая на наживу или на возможность приобрести по дешевке какой-нибудь браслет или заколки, а просто повинувшись чистому инстинкту глубокой заинтересованности к побывавшему в тюрьме, и что всего удивительнее, выскочившему оттуда с руками и ногами, инстинкту, свойственному каждому русскому человеку, она собиралась забросать своего нового знакомого целой анкетой вопросов, но Черт, предпочитающий не касаться этой щепетильной темы, перевел разговор на другой предмет.

— Ваш муж... — начал Черт, — после вчерашнего совещания...

— Ничего подобного, — категорически отрезала Симочка, у которой неисповедимым путем ассоциаций соображение о тюрьме тотчас же соприкоснулось с мыслью о разоблаченном Чижике.

— Ах, так!.. — с ехидцей промолвил Черт, — да, да, конечно. — И его тон, осложнившись новым намерением, стал более решительным и верным. — Хорошо, — сказал он и встал.

Симочка с тайной тревогой посматривала на него. Черт медленно прошелся по кабинету, поглаживая костистый подбородок и устремив взгляд себе под ноги.

— Зачем он пришел? — подумала со страхом Симочка, — лучше бы он не приходил. — И она решила хоть немного смягчить страшного посетителя.

— Вы, наверное, очень устали с дороги, — с легкой дрожью в голосе сказала она, — выпейте чашку кофе, — и не дожидаясь ответа, быстро выскочила в столовую и медленно возвратилась с подносом, заставленным многими соблазнами.

— Не откажусь, не откажусь, — ухмыляясь, промолвил Черт и, потирая руки, сел за стол. — Ах, какой паштет! Прямо глотать жалко!

Симочка захихикала от удовольствия.

Завтрак был так хорош, а главное, так необходим, что Черт готов был пренебречь не только служебными обязанностями и долгом, но даже своими кровными 3% авторских, на которые он, конечно, никогда не мог бы позволить себе таких роскошных завтраков. — Богато живут сволочи, — с завистью подумал он, и, заподозрив нечистое, решил обязательно проверить. Но работа есть работа и [шикарные] завтраки не должны ей мешать! Особенно такой работе. И он, прошедший хорошую школу у профессора академии Генерального штаба тов. Щ.Ч. Сыкова (бывшего заместителя тов. Н.И. Ежова), несмотря на тройку, полученную при сдаче курса самоотверженности (самый трудный во всей программе), дожевывая последний бисквит, возвратился к главному предмету своего посещения.

— Видите ли, — начал он, — вы даже не в состоянии себе представить, какое горячее сочувствие вызывает во мне ваше (не стану скрывать) бедственное положение. — Черт завораживающе посмотрел на Симочку и пустил несколько колечек дыма. (— Интересно, — соображала Симочка, — конечно, если у него есть квартира и машина, безусловно, имеет смысл.) — Такая очаровательная молодая особа, — продолжал Черт (— Конечно, корреспондент — это не так выгодно, — прикидывала Симочка, — как, например, генерал-майор интендантской службы, но что делать!), — с таким чудным вкусом, понимающая, что такое настоящая жизнь, избалованная заслуженным вниманием, привыкшая кружить головы, — Черт лукаво посмотрел на порозовевшую от удовольствия Симочку, подсчитывающую, сколько неприятностей и какие убытки безусловно принесла ей злополучная история с этим паршивым Чижиком, — и такая женщина... — Черт наклонился вперед, сделал страстную паузу и воскликнул: — вдруг оказывается в стесненном материальном положении, должна отказывать себе в самом необходимом, не может проявлять своего лучшего призвания — покупать и носить самые изящные брошки — (— Конечно, это лучший, если не единственный выход, — решила Симочка, — только не нужно соглашаться слишком быстро.) и буквально стоит перед неизбежной необходимостью идти сегодня же вечером, в такую отвратительную погоду на Тверской бульвар продавать свое пухленькое, тепленькое, розовенькое тело!.. Ужасно... Вы даже не можете себе представить, какая жалость горит в моем сердце! — Черт волновался и брызгал слюной. — Я спустился, то есть я пришел специально для того, чтобы спасти вас. Можете быть уверены, что во мне вы найдете самого надежного и бескорыстного друга.

Симочка горько заплакала. Перспектива шлаться по Тверскому бульвару в такую поганую погоду, не говоря уже о том, как вообще противно, хотя, конечно, более надежно, за наличный расчет торговать своим пухленьким, розовеньким телом, показала ей омерзительной.

— Помогите мне, — прошептала она, — я отблагодарю вас... — и она взглянула на Черта такими глазами, что даже Черту из Русского отдела стало не по себе.

— Да, да, конечно, — подхватил Черт, — какой может быть разговор!

— И главное, что это так незаслуженно, — всхлипывала Симочка, — вы же понимаете, какое я имею отношение к генетике. Это совершенно не моя специальность.

— Ну, конечно! А какая у вас специальность? — поинтересовался Черт.

— Специальность? — Симочка заморгала и посмотрела на

Черта заплаканными глазами, заляпанными сине-фиолетовыми кляксами от размокших ресниц. — У меня совершенно другая специальность, — прошептала она, — я умею покупать самые лучшие в мире брошки, завиваться, ходить по ресторанам и обниматься. И вообще — аналогичные специальности. Но теперь... — она всхлипнула и захлопала веками по грязи, получившейся от размытой слезами краски.

— Да, конечно, теперь... — тяжело вздохнул Черт, — да... Ничего, мужайтесь. Я помогу вам!

Он решительно встал, подошел к двери, выглянул в переднюю и плотно затворил дверь. Потом подошел к широкому венецианскому окну, внимательно осмотрел улицу и быстрым шагом возвратился к Симочке.

— Слушайте, что я скажу вам, — зашептал он с замораживающей сердце таинственностью, — слушайте.

Симочка испуганно вскинула на него заклёканные глаза и инстинктивно отодвинулась в угол дивана.

— Итак, — начал Черт, — вы стоите на краю гибели. И ничто не может спасти вас и никто не может спасти вас. Только я могу спасти вас. Я могу вернуть вам спокойствие, радость и уверенность в завтрашнем дне. Я могу, не шевельнув пальцем, бросить к вашим ногам невиданные в мире брошки, неслыханные заколки, немислимые серьги и невообразимые бусы! — Красные пятна пылали на Симочкиных щеках. Черт искушал: — Я могу, не выходя из этой комнаты, бросить к вашим ногам власть и аплодисменты, победы, триумф и венец. Я могу в мгновение ока обеспечить вашу будущность и избавить вас от тяжелой необходимости идти сегодня вечером в такую отвратительную погоду на Тверской бульвар продавать свое пухленькое, розовое тело!

— Но... — дрожащими губами прошептала Симочка и почувствовала, как чья-то могучая рука толкает ее в мягкое место. Она вскочила и, упираясь коленками в подушку, подалась всем телом вперед, к Черту, к новой жизни.

— Что вы хотите, что я должна сделать?! — вскричала она.

— Ничего! — громко сказал Черт.

Ледяная тишина разлилась в воздухе. И вдруг над городом, полным ненависти, борьбы, злобного тщеславия, обиды и мук, над городом, который, кривляясь, показывал всему миру только подведенные глаза и подкрашенные губы, пронесся тяжелый вздох.

Черт сорвался со своего места, подбежал к Симочке и, касаясь ее горящего лица своим дыханием, прошептал:

— Почти ничего. Слушайте и не пугайтесь. После своей смерти, сразу же, пока еще не остыло тело, вы позвоните мне по телефону — вот номер, — Черт сунул ей в ладонь бумажку,

— я приду и возьму вашу душу. И — все. Не бойтесь. Вы останетесь в том же положении, в каком были. Я только возьму вашу душу.

— Ду-душу? ... — обомлело прошептала Симочка.

— Ну да, душу, — сказал Черт, — именно душу, а не, так сказать, метафору. Абсолютно так, как это делалось раньше, например, в эпоху 3-го крестового похода. И таким же самым методом, можно сказать, почти без всякой модернизации или рационализаторских предложений. Разве что только телефон. Но сущность совершенно не в нем. Просто ваша душа перейдет в мое ведение, так же, как это было раньше, в эпоху борьбы гвельфов и гибеллинов. Уверю вас, что с тех пор ничего существенного не изменилось. Особенно в нашем ремесле. Да и в вашем, знаете, тоже. Вообще, на свете, уважаемая, ничего не меняется. Можете в свободное время просмотреть лозунги Катона перед 3-й Пунической войной и сравнить их с рядом других лозунгов, которые произносили во время Второй мировой войны и вы убедитесь, что ничего не изменилось. Если не посмотреть на год издания, то вообще можно спутать. Нет, милочка, на свете ничего не меняется. Особенно категории. Например, человеческая пошлость. Вот вам, к примеру, почему-то так же жалко отдавать свою душу, хотя бы и после смерти, как во времена войн гвельфов с гибеллинами. А? Разве не так? В сущности, изменилось только то, что вы имеете возможность сообщить по телефону, вместо того, чтобы бегать самой, о том, что душа готова, можете получить. Но, в сущности, милочка, не в этом сущность. А что касается прочего, то прочее останется в прежнем виде: я приду или приеду, или, наконец, прилечу и возьму вашу душу. Именно душу, вещь, может быть, и очень старомодную в наш век, но все-таки возьму душу, а не пузырек самого модного стрептомицина.

— Зачем! — прошептала Симочка, стуча зубами.

— Что, зачем? — не понял Черт.

— Ду-душу, — подавившись, произнесла Симочка.

— Ну, это уж вам совершенно необязательно знать, — недовольно проворчал Черт и закурил папиросу, — зачем, зачем, стало быть нужно. Ну что, может быть, вас не устраивает? Ну, что вы молчите?

— Я боюсь, — прохныкала Симочка, — как же я буду без души? Это очень плохо. Вот Кики тоже бездушная.

— Ну что же, — ухватился Черт, — разве ей плохо живется?

— Вот именно, что плохо, — воскликнула Симочка, — от нее все мужья сбегают. Они говорят, что с ней просто нет никаких сил жить.

— Это ничего не значит, — авторитетно заявил Черт, —

зато она никогда не окажется в таком тяжелом положении, как вы.

— Это, конечно, — вздохнув, согласилась Симочка, — конечно, бездушным в этом отношении легче живется.

— Ну, вот видите, конечно же лучше, чем у кого душа, — подхватил Черт, — знаете, с душой, как с больными зубами, и чисть, и ухаживай, и подмазывай. И чего-чего только не приходится с ними делать. Правда?

— Нет, знаете, может быть все это и так, — упрямылась Симочка, — только я не хочу без души. Пусть уж останется пока, как есть. А дальше будет видно.

— Да нет же, вы меня не поняли, — объяснял Черт, — это же будет после вашей смерти, тогда вам ничего уже не понадобится, в том числе и душа.

— После моей смерти? — всхлинула Симочка. — Я не хочу умирать.

— Ну, знаете, уж это извините, от вас не зависит, — презрительно заметил Черт и повернулся на каблуках, — закон природы, так сказать, и у меня, к сожалению, нет полномочий его отменять.

— Я боюсь, — канючила Симочка, — боюсь умирать.

— Да нет же, — уговаривал Черт, — ведь это же не сейчас. Вы умрете, когда вам придет срок, так же, как вы бы умерли и без нашего договора, даже и не подзревая, что можно сделать такую выгодную сделку. Понимаете?

— Понимаю, — скулила Симочка, — а когда?

— Что — когда? — не понял Черт.

— Когда я умру? — боязливо спросила Симочка.

— Ах, это... Ну это я не могу вам сказать, — начиная терять терпение, сказал Черт. — Просто не поинтересовался. Думаю, что лет через 50. Куда вам спешить? Тем более, что все эти годы вы проживете в полном достатке у нас на довольствии, сможете сколько угодно лечиться, отдыхать или там обниматься. Все будет зависеть только от вас. Ну, идет? Да? Подписывайте, — он протянул ей текст, напечатанный на плотной бумаге с водяными знаками.

— Что это? — со страхом спросила Симочка.

— Это? Договор, — пояснил Черт.

— Какой договор? — удивилась она.

— Ну, какой, какой, — улыбаясь, проговорил Черт, — ну, договор, по которому вы отдаете нам свою душу. После смерти, конечно, — поспешно добавил он.

— Ай! — взвизгнула Симочка. — Не хочу! Не хочу! Уберите сейчас же! Я боюсь! Уходите! Уходите!

— Дура! — в сердцах заорал Черт. — Чего ты орешь?! Ей предлагают богатую жизнь за какое-то дерьмо, за душу. Ну что

представляет твоя душа. Порцию испорченного воздуха и больше ничего! Ей, дура, предлагают за этакую дрянь настоящую жизнь с брошками и заколками, квартиру с газом и ванной, птичье молоко от бешеной телки, а она начинает тут разводить фигли-мигли — не буду, да боюсь, да не хочу! Подумаешь, какая цаца! Небось, когда целку тебе проламывали, тоже пищала: пустите, да я боюсь, да не хочу? А потом понравилось? Еще бы! Небось, сама просила. Подписывай, сука!

— Не буду, — огрызнулась Симочка, — сама подписывай. Лучше я буду ходить совсем без брошек или бус, а подписывать не буду.

— Почему?! — заревел Черт, — почему ты не хочешь подписывать, дура несчастная?!

— Не буду, — упрямо буркнула Симочка, — и не приставай.

— Ну, почему же? Объясни, почему ты не хочешь подписывать, — кипятился Черт, — ты понимаешь, как это для тебя выгодно?!

— Все равно не буду, — упрямо твердила Симочка, — не приставай.

— Ах, так, — остервенело заорал Черт, — и хорошо. Не надо, можешь не подписывать. Посмотрим, как ты будешь выглядеть завтра, когда тебя потащат на Большую Лубянку.

— Куда? — спросила Симочка с испугом.

— Куда? — ухмыльнулся Черт, — на Большую Лубянку, вот куда. Есть там такой домик зеленого цвета. Там тебе покажут кузькину мать.

— Ничего мне не покажут, — с деланным спокойствием сказала Симочка, — за что это мне покажут, разрешите узнать?

— За что? — злобно процедил Черт, — за генетику эту самую, вот за что?

— Это не я! — завопила Симочка, — это все Чижик! Пусть он сам и отвечает!

— Ха-ха-ха!.. — громко и нахально расхохотался Черт, — Чижик! А тебя, как жену! Не знаешь, что ли?

— Не ври, пожалуйста, — орала Симочка, — я никогда не была его женой! Докажи, что я была его женой! А? Съел?

— Вот дура! — искренне удивился Черт, — а чего там доказывать? Кто там будет спрашивать у тебя доказательства? Просто пошлют на 10 лет колупать уголь на Воркуте и дело с концом! Доказательства! Вот дура! А жаловаться станешь, еще 10 лет добавят, когда разберутся, чтобы не жаловалась. Что ты совсем спятила? Это же Лубянка, дура несчастная, а не Дом Пионеров!

— Ничего ты не знаешь, — изо всей мочи закричала Симочка, стараясь взять на испуг собственное тошнотворное сердцебиение. — Наш советский суд знает, где правда, а где неправда!

Услышав такие замечательные, прямо-таки поразительные речи, Черт так искренне удивился, что даже не нашел, что ответить. Он засунул в рот все пять пальцев, что-то забулькал, потом подошел совсем вплотную к Симочке и, хлопая глазами, уставился на нее.

— Да, да, там сразу узнают, кто из нас настоящий советский человек я или ты! — истошно орала Симочка. — И тогда тебе покажут! Тогда ты узнаешь!

— Не ори, падаль, — ахнул Черт и крутанул Симочкину руку пониже локтя. — Убью!

— Ай! — взвизгнула Симочка и скривилась. — Ах, вот ты какой! Теперь я все понимаю. Ты мешаешь нам идти к коммунизму! Вот ты, оказывается, кто! Аха-ха! Так вот кто мешает нашему победному стремлению вперед, к новым победам! И ты хочешь, чтобы я, советская патриотка, имела с тобой дело? Чтобы я отдалась тебе?! Отдала тебе всю свою душу?! Чтобы я сожительствовала с врагом нашей прекрасной советской жизни?! Ни за что! Товарищ милиционер! — завопила она, бросившись к окну, — товарищ милиционер! Сюда! Сюда! Здесь он! Держите его! — вопила Симочка, высунув в форточку голову с волосами, закрученными, как червяки.

Черт рванулся, опрокинул стол, и схватил ее за ноги.

— Спасите! — надрылась Симочка, зацепившаяся ухом за крючок форточки, — убивают за коммунизм!

— Убью!! — проревел Черт. Он швырнул ее в угол и, схватив за бороду каменного академика Павлова, двинулся к Симочке.

Но в это мгновение с улицы раздались пронзительные свистки, топот и крики. Черт вздрогнул, выпрямился, уронил академика Павлова и, пнув ногой в Симочкин живот, бросился, оставив пальто и шляпу, через кухню, черным ходом на чердак, с чердака по пожарной лестнице во двор, перемахнул через забор, перебежал переулок, шмыгнул в подворотню и растворился в тумане.

5.4.50.

Рукопись, озаглавленная «Россия и Черт», написана мною и изъята у меня при обыске.

Аркадий Белинков.

ЧИТАТЕЛЬ
ПРОДОЛЖАЕТ
РАЗГОВОР

Профессор Арон ЧЕРНЯК

ВОКРУГ ДИСПУТА: АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН - ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

В номере 135 журнала «Время и мы» опубликована беседа его главного редактора Виктора Перельмана с видным экономистом, профессором Уортон бизнес скул Пенсильванского университета Ароном Каценелинбойгеном. Это интервью носит вызывающее (хотя и вопросительное) название: «Капитализм: угроза для современного общества?» Скажу сразу и решительно: за несколько лет моего знакомства с журналом «Время и мы» мне ничего более интересного в нем читать не приходилось. Речь идет о глобальном, всеобщем сюжете, который имеет многочисленные актуальные выходы — экономические, социальные, политические, нравственные, демографические, военные — et cetera, et cetera...

Все эти проблемы изложены в виде полемики сторон, которая требует оценки высказываемых позиций. Так вот, моя точка зрения вполне категорична: я на стороне Виктора Перельмана. Очевидно, подобная оценка может вызвать серьезные сомнения, возможно, даже неприятие. Статусы участников диспута кажутся неравновеликими — в пользу профессора. Перед нами матч, участники которого выступают в различных

весовых категориях, — некоторым может показаться, почти Давид и Голиаф. То, что стоит за А. Каценелинбойгеном, достаточно весомо. Доктор экономических наук, профессор, б. работник Центрального экономико-математического института в СССР, ученый весьма широкого профиля, с выходом на проблемы эволюционной биологии, концепцию рака и т.д. А что же за В. Перельманом? Оказывается, не так уж мало. Явный здравый смысл, интерес к теме, известная убежденность в своей позиции, способность отличать главное от второстепенного. И к тому же, еще и умение задавать вопросы. Тот, кто задает вопросы, владеет ходом диспута, придает остроту. В этом преимущество В. Перельмана. Разница между оппонентами и в характере их «полемического поведения». А. Каценелинбойген преимущественно представляет материал в виде РАССУЖДЕНИЙ, В. Перельман — в виде НАБЛЮДЕНИЙ. Это в значительной мере состязательный процесс между теорией и практикой. Практика вопрошает, а теория отвечает. Мое впечатление при чтении: практика побеждает... Однако В. Перельман не ограничивается ролью вопрошающего, а выдвигает и свои положения. И здесь у него еще одно преимущество: он неспециалист — недостаток, который иногда оборачивается достоинством. История науки и техники полна примерами, когда некоторые открытия и изобретения делались неспециалистами. Г. Бессемер, изобретатель нового способа выплавки стали, не обладал существенными познаниями в области металлургии. «Но для меня, — говорил он, — это обстоятельство даже принесло пользу. Мне ничего не надо было переучивать. Мой ум был открыт и восприимчив ко всяким новым представлениям. Не надо было вести борьбу с предрассудками, которые неизбежно вырабатывались в большей или меньшей степени от многолетней рутинной работы». Или вот совершенно другая область — выход США из кризиса при президенте Рейгане. Последний не обладал широкими познаниями, но, благодаря воле к преобразованиям, здравому взгляду на вещи, созданию первоклассной команды, Рейган добился перелома и нового экономического подъема.

Перейдем, однако, к сущности спора. Центральный пункт полемики — ВОПРОС О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ. Известный миллиардер Д. Сорос в своей широко нашумевшей статье подверг резкой критике современный капитализм с его доктриной бесконтрольного развития рынка. Он призвал к решительному увеличению роли государства в экономической жизни общества. В. Перельман в целом поддерживает эту позицию, его оппонент — против, основываясь на монетарной теории М. Фридмана и др. Эта теория, в основе которой лежит отрицание активной роли государства

в экономической жизни, получила широкое распространение. Последнее относится не только к мощным странам развитого капитализма, но и к странам с переходной экономикой, в частности, к России. И это при том, что в этих странах монетарная теория не дала ожидаемых результатов, напротив, привела к крайне негативным последствиям. Чем объяснить распространение монетарной теории? В России — в значительной мере это реакция на тоталитарный режим, который привел к восприятию государства как силы классовой, партийной, направленной против общества, особенно отдельного человека. В теоретическом плане это следствие марксистско-ленинского определения сущности государства, выполняющего определенные классовые функции. А чем же оно является на самом деле? На самом деле государство служит общенациональным инструментом гражданского общества, призванным развивать и укреплять его. Один из важнейших интересов общества — его экономическое развитие — и государство не может и не должно стоять в стороне. Его призвание — решать наиболее общие вопросы развития экономики страны, естественно, на макроуровне, осуществлять на этом уровне функции контроля и арбитража, защиты интересов населения страны, обеспечения подходящего места в рамках мировой экономики и т.п.

Другими словами, насуточно необходимым выглядит вмешательство государства в хозяйственную, научно-техническую, культурную жизнь общества. Кстати, существует версия о том, что хозяйственная и политическая централизация государства в древнем Египте во многом была связана с необходимостью строительства и поддержания в порядке крупных оросительных систем: искусственных каналов, плотин, шадуфов и иных водных сооружений.

Но почему же тогда ряд крупных ученых-экономистов отрицают созидательную роль государства? Мы и по сей день довольно часто слышим: экономическая жизнь страны страдает от вмешательства государства. Что же, подобные обвинения имеют под собой почву.

Не секрет, что Советское государство превратилось в жупел, демон экономического процесса. Но что интересно — в настоящее время наблюдается обратная картина: экономика страдает от невмешательства или от недостаточного вмешательства государства. И примером тут служит не только современная Россия. Скажем, в Израиле в одних областях экономическая жизнь страдает и от вмешательства государства, а в других от явной практики недостаточного вмешательства государства, то есть, нарушены рациональные пропорции между этими двумя подходами. Так или иначе, проблема государственного вмешательства в

экономические процессы — предмет горячих обсуждений на протяжении довольно длительного времени. Вот интересный и малоизвестный пример. Летом 1919 года Всероссийская чрезвычайная комиссия раскрыла подпольную организацию — «Национальный центр». В числе захваченных документов оказалась и экономическая программа Центра, составленная крупными учеными-экономистами Б. Бруцкусом, Я. Букшпаном и Л. Кафенгаузом. Это была своеобразная программа перехода от социализма к капитализму. Ее составители подчеркивали: «Общее направление, общий дух той экономической политики, которая намечена в настоящем докладе и которая отвечает реальным нуждам России, должны остаться непоколебимы: ЭТО ДУХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНДИВИДУАЛИЗМА, ОГРАНИЧЕННОГО ИНТЕРЕСАМИ ГОСУДАРСТВА»./Черняк А. Борис Бруцкус, Яков Букшпан, Лев Кафенгауз: «Социализм и как от него перейти к капитализму»./ «Пятница», 1997, 26 февр., стр. 11//

Перед нами весьма мудрая, логически обоснованная формула, можно сказать, точная лексическая находка. В перестроенной России, в обстановке запойной эйфории, от «единственной панацеи» — всеспасительной рыночной экономики, эта формула была нарушена, точнее, разрушена грубейшим образом. Хотя предупреждения о негативных последствиях такого курса раздавались как в России, так и за рубежом. Так бывший член Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлев указывал: «Если применять теорию М. Фридмана, не приспособив ее к реальности России, то это западня — большевизм». Еще в 1985 году М. Фридман, говоря о переходе России к рыночной экономике, заявлял: «Да не будет никаких пертурбаций, будет один преимущества, поскольку советская экономика так неэффективна, что стоит вам ввести рыночную систему, как буквально через месяц практически все будет лучше, не считая номенклатуры» /«Время и мы», №109, с. 119/. Сегодня его слова звучат как своеобразный рекорд иронии. Оказался не на высоте и другой лауреат Нобелевской премии по экономике В.В. Леонтьев, который приезжал в эти годы в Россию. Как известно, безудержный отпуск цен, который рассматривался в качестве важнейшего фактора перехода к рыночной экономике, сыграл крайне тяжелую отрицательную роль. А между тем, не было недостатка в мрачных оценках этого явления. Еще в самом начале 1992 года известный советский экономист Г. Лисичкин отмечал: «Либерализация цен без производственной стратегии лишена смысла. Необходим по крайней мере «план ГОЭЛРО» в нынешних условиях, который смог бы сосредоточить все производственные силы на главных пунктах» /«Литературная газета, 1992, 15 янв./ А вот что писал В. Перельман в 116 номере «Время и мы»: «...новые цены «не сеют» и «не жнут» и не плавают

сталь и не добывают уголь. Игра ценами имеет смысл лишь тогда, когда работает экономика. Но в нынешней России из всех производств успешно действует лишь типография «Гознак» — печатный станок, выпускающий гигантские массы «деревянных» рублей. В этих условиях приводить цены в равновесие с товарами (о чем не устает говорить Гайдар), значит приводить их в равновесие с охватившей народ нищетой». В октябре 1997 года в «Литературной газете» опубликована статья доктора экономических наук А. Дерябина «Российская Атлантида». Автор считает, что ныне в России нет государственной стратегии и национальной идеологии. Красная нить выступления выражена в словах: «Претерпеть можно все на свете, если знаешь, для чего». А. Дерябин уверенно поддерживает необходимость активного вмешательства государства в экономические процессы, считает доказанным, что «централизованная экономика эффективнее, чем «спонтанная». Он ссылается на опыт Франции, где, по его словам, существует Госплан, на Японию, где существует специальный комитет, наделенный особыми полномочиями, который определяет пути национальной экономики. Он за так называемое индикативное (а не директивное) управление экономикой со стороны государства. Имеются в виду такие государственные методы, как политика дотаций, субсидий, налоговых льгот и, наоборот, повышенных налогов и т.п. Конечный его вывод звучит следующим образом: «Без прогнозов и управления на государственном уровне развиваться невозможно».

Недавно в Израиле прошло ежегодное собрание Международного союза экономистов (МСЭ), неправительственной организации, объединяющей специалистов из 42-х стран. Президент МСЭ — известный российский экономист Гавриил Попов; в состав Союза вошли крупные западные специалисты. На собрании МСЭ был зачитан доклад Г. Попова, который посвящен тенденциям развития в начале третьего тысячелетия. Касаясь глобальных причин перестройки в Советском Союзе, он, прежде всего, указал на несоответствие строя государственного социализма фундаментальным тенденциям развития цивилизации во второй половине XX века. Причина же кризиса перестроечных процессов — отсутствие хотя бы общего плана перестройки, что было связано со слабым анализом тенденций мирового развития. Совершенно очевидно, что этот важнейший процесс — результат пассивной роли государства в определении направления и основных параметров экономического процесса.

В самое последнее время в рассматриваемую проблему вносит свой вклад академик Никита Моисеев, крупный специалист в области общей механики и прикладной математики,

автор трудов по численным методам теории оптимального управления. К последним относится и его статья «Говорить ли о России в будущем времени?» Это в значительной мере ответ на статью итальянского ученого Джульетто Кьеза под грустным наименованием «Прощай, Россия». Автор этой работы приходит к выводу о том, что наступает конец судьбы России как самостоятельного фактора планетарной истории. Н. Моисеев отвергает подобную позицию, но не самую возможность ее перспективы — если сохранится «тот режим, который естественно называть компрадорским». Он считает, что страна стоит на развилке, перед лицом исторического выбора. Ученый приводит в пример Японию, которая совершила поворот на путь развития национальной экономики, что потребовало «качественного усиления роли государства в управлении экономической деятельностью». Джульетто Кьеза призывает к сохранению и усилению интеллекта нации, повышению производственной квалификации и образованности людей, к ориентации на высшие технологии. На повестку дня ставится требование: «Необходима ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА, управляемая государством, — условно (при всей непопулярности такого рода ассоциаций) ГОЭРЛО-2». Автор полностью отрицает возможность «автоматического» перехода на национальный путь развития лишь при посредстве неконтролируемого рынка. «Рынок необходим, — утверждает он, — но на него должны быть надеты крепкие «наручники».

НИКИФОР ЗАЯЦ ОБУСТРАИВАЕТ РОССИЮ

К сожалению, мы не в состоянии познакомить читателей с личностью художника, которому посвящается предлагаемый вернисаж. Не знаем о нем ровным счетом ничего — ни биографии, ни эстетики, ни системы его взглядов, которые, быть может, вызовут наибольший интерес у читателей. Но кто же все-таки автор прилагаемых работ, о ком лишь известно, что его имя и фамилия Никифор Заяц? И чем он так замечателен, что мы решили посвятить ему вернисаж «Время и мы»? Известно немногое: что прислал он откуда-то из Сибири, в издательство «Молодая гвардия» 62-страничный альбом собственных рисунков, написав их во все стороны бесчисленными собственноручными объяснениями (о стиле и грамотности которых мы предоставляем судить читателю).

Что это за подписи — ниже, а пока о том, что они представляют собой некое единство с авторскими рисунками. Такое — не разлей вода — «единство», что никак не догадаться, где кончается художник и где начинается создатель текстов, хотя то и дело закрадывается сомнение: а в себе ли автор, пустившийся в столь странное и многотрудное предприятие? Но, как говорится, что Богом послано, тем и довольствуемся.

Итак, страница за страницей проходит перед нами галерея типажей, которую создал Никифор Заяц, прислав ее в «Молодую гвардию», по-видимому, с целью продвижения по инстанциям. (Впрочем, по ходу дела узнаем, что, ощущая себя человеком искусства, Никифор Заяц время от времени выступает под литературно-художественным псевдонимом... «Березкин».)

Поскольку — адресат «Молодая гвардия», то, понятно, что в центре авторского внимания юная поросль нашей бывшей родины — такие родные, рождественские лики молодогвардейцев: «Муся», «Соня», «Инна», «Петя», «Ваня»... конечно, ни характеров, ни образов, ни намек на мысли: в общем, этакая помесь журнала «Молодая гвардия» с самодеятельным «Журналом мод», сотворенным местными активистами из какого-то там Екатеринбург или Перми. Впрочем, рядом с «молодогвардейцами»

(«Муся», «Ваня», «Соня» и пр.) находим произведение, явно претендующее на подлинное искусство, — любовно выписанный карандашный портрет некой престарелой сестры милосердия с крестом на белом платке — то ли персонаж из времен Первой мировой войны, то ли (судя по сходству с Надеждой Константиновной Крупской) состарившаяся комсомолка 20-х годов, которую автор сопровождает следующей лаконичной и прелестной в своей познавательной ценности подписью: «При раскопках в 14 веке на берегах Иртыша обнаружен образ девушки. Антрополог Березкин». Итак, девушки с лицом Надежды Константиновны Крупской!

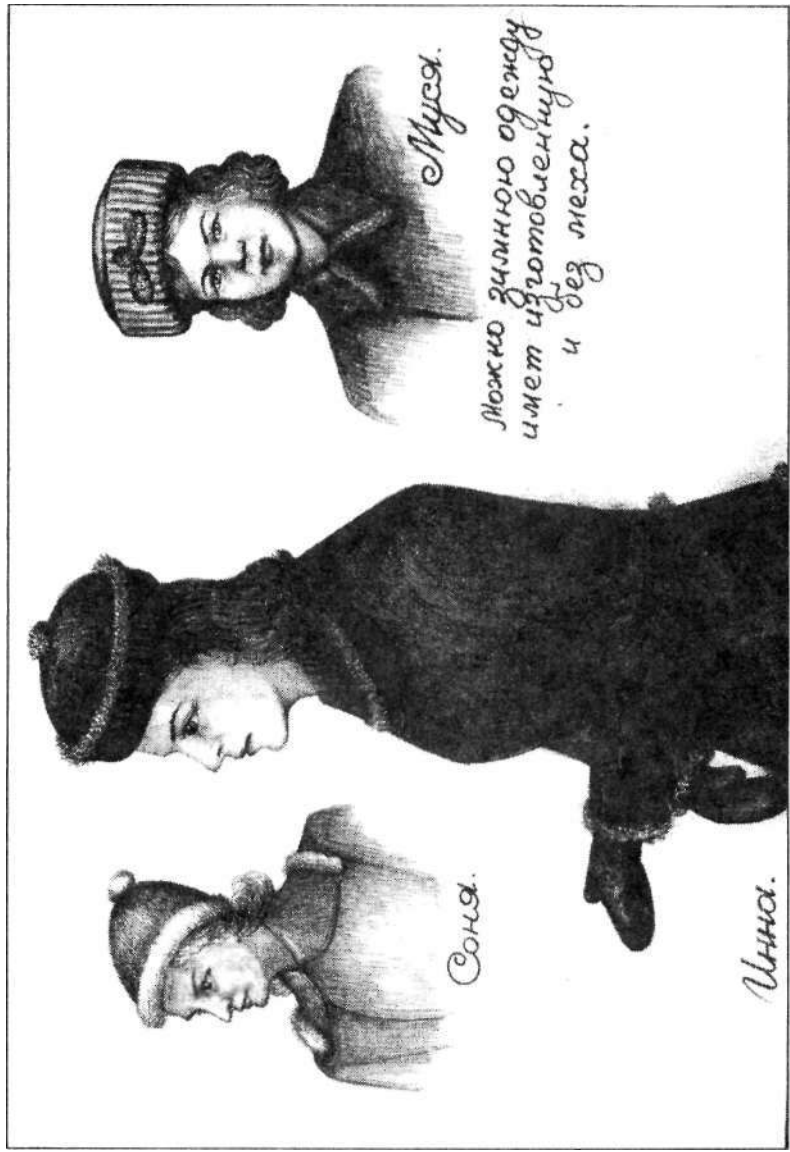
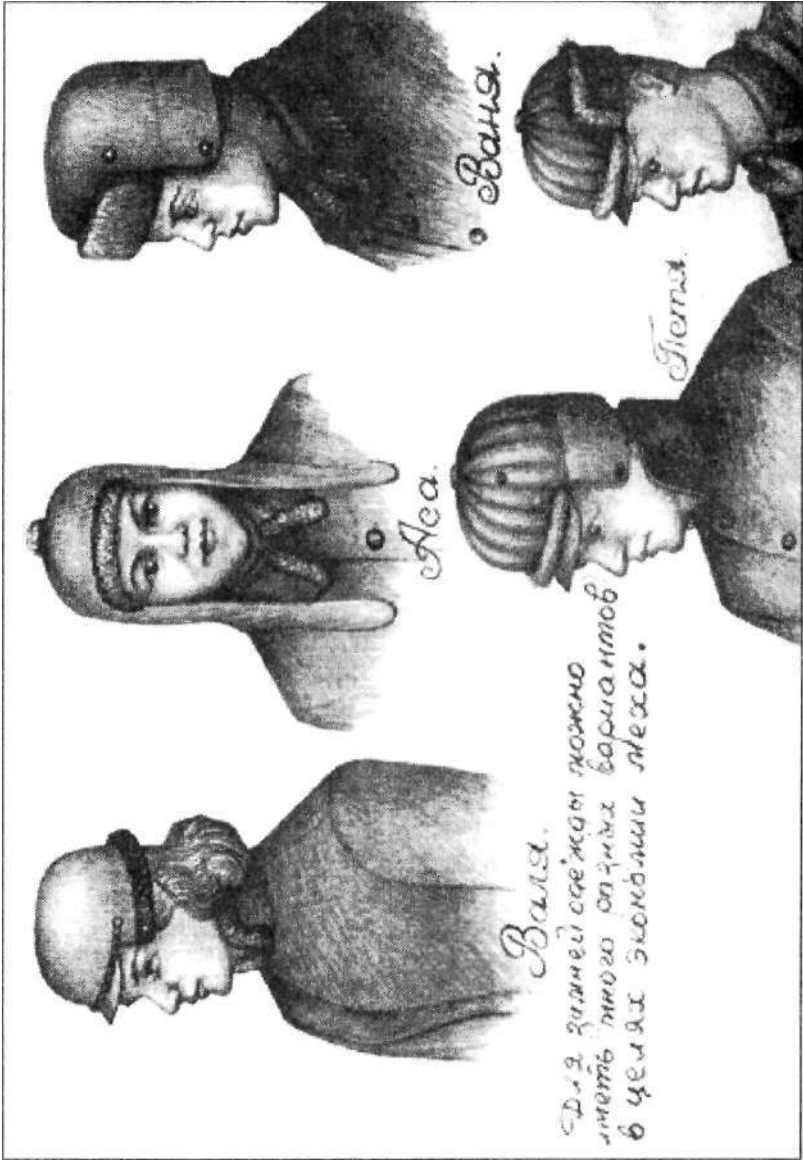
В таком же рождественском стиле — два молодых музыканта — скрипач (который почему-то напомнил мне лицо юного Ельцина, которого я, впрочем, никогда не видел, но подозреваю, что на заводских фотографиях он был именно таким). Итак, будущий президент со скрипкой в паре с интеллигенткой-флейтисткой, у которой в отличие от юного Ельцина мрачное и озлобленное лицо старой девы. Под музыкальной парочкой почему-то слившиеся в долгом поцелуе два свинообразных старца, а еще ниже подпись: «Искусство принадлежит народу?» (вопросительный знак, по-видимому, призван свидетельствовать о насмешливо-сардоническом отношении автора к данному утверждению). И тут же сидящая на лавочке о чем-то призадумавшаяся представительница российской интеллигенции с экзотическим пером и фонариком на шляпе. Здесь же шагает «учительница, обладательница нескольких дипломов»: в одной руке портфель, в другой ведет за руку своего юного отпрыска. И всюду неизменно реформаторский пафос — все сущее нуждается в ломке, переделке, переустройстве — не потому ли рукописные подписи художника нет, нет да и выливаются в страстные, идущие из глубины озабоченной души автора проповеди.

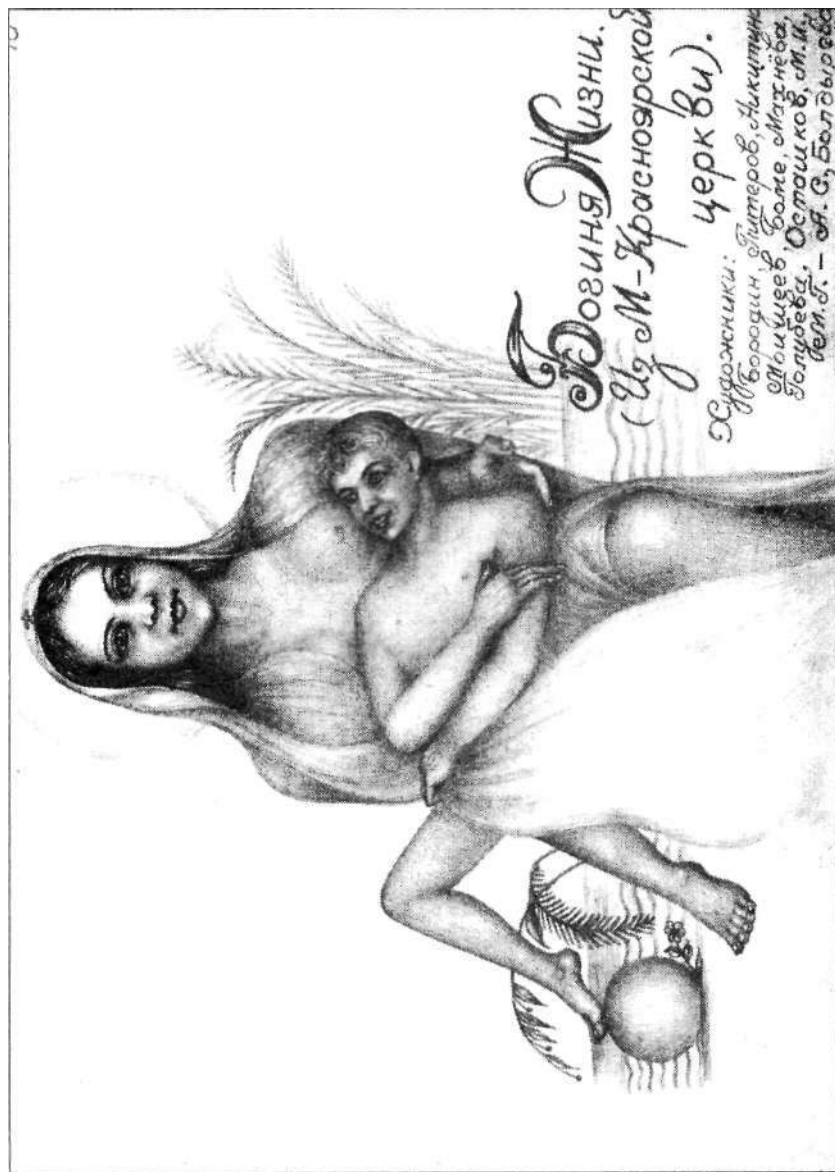
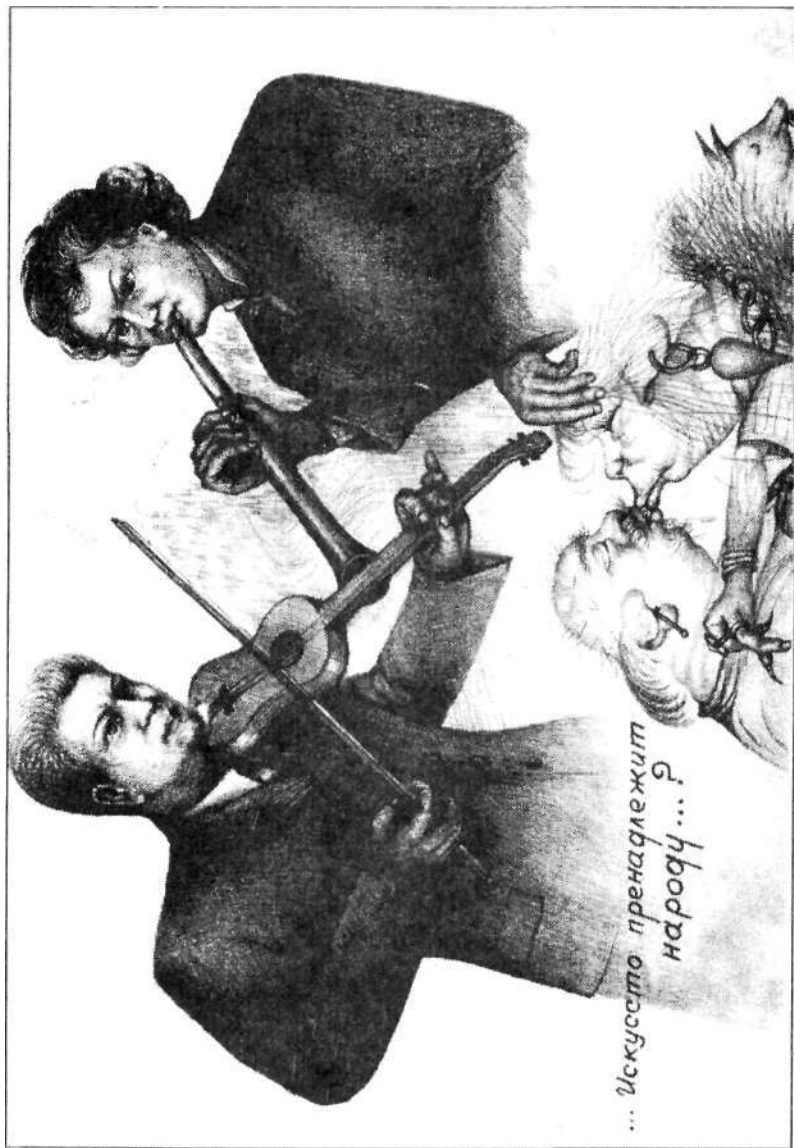
Рядом с призадумавшейся на лавочке интеллигенткой с экзотическим пером и фонариком для чтения следует обширный текст «Интеллигенция поимела очень много ума пишут и стрекочут просто как лягушки у заброшенного пруда. Весь лес истребили на пишую бумагу для линии юнцу и ребенок как зверюшка дичится сам себя и тянется к теплу». Ну, просто обвинительный акт образованщине — задолго до бросившего ей вызов Александра Исаевича Солженицына! И в адрес упомянутой выше учительницы, ведущей за руку своего маленького отрока, исполненное еще большего гнева обвинение: «Полюбуйтесь на учительницу эту, которая несколько дипломов состряпала от излишества ума. Наверно весь мир смотрит с удивлением с какого зверя она шакуру содрала. В природе зверей не столько а учительница попрежнему тянет все, что можно на себя...» При надобности автор не гнушается обрушиться на нарушителей порядка и в

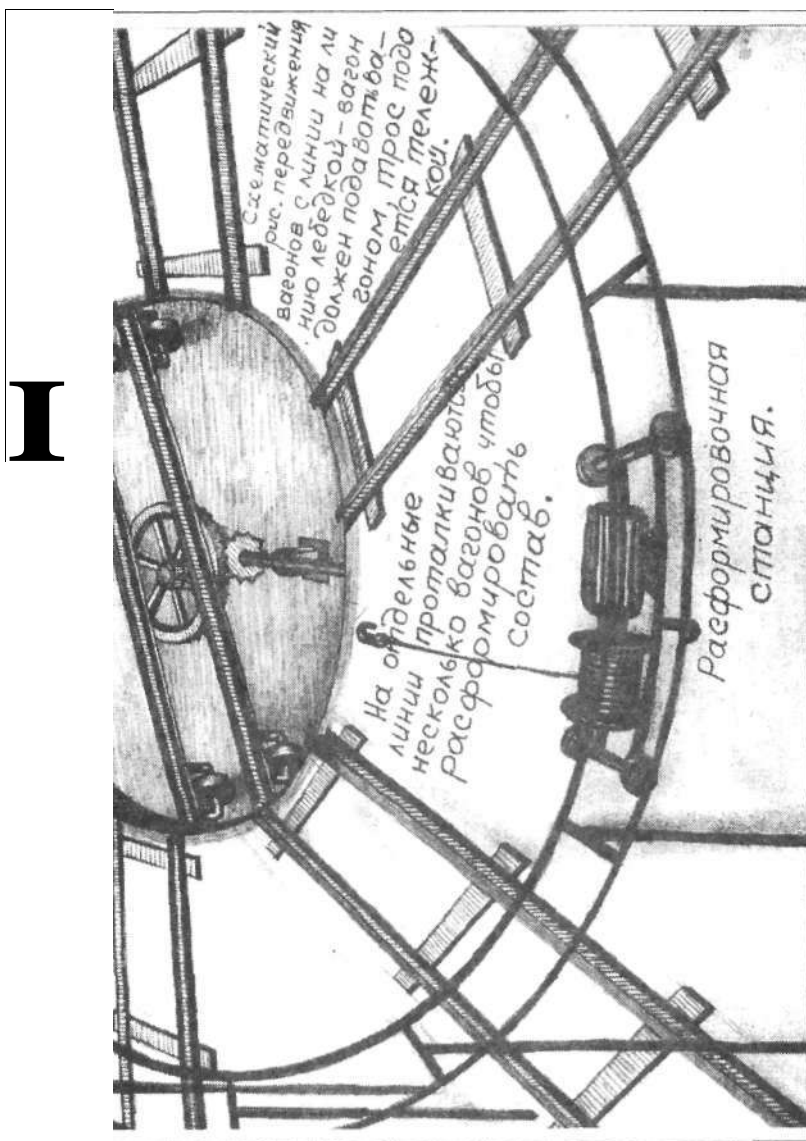
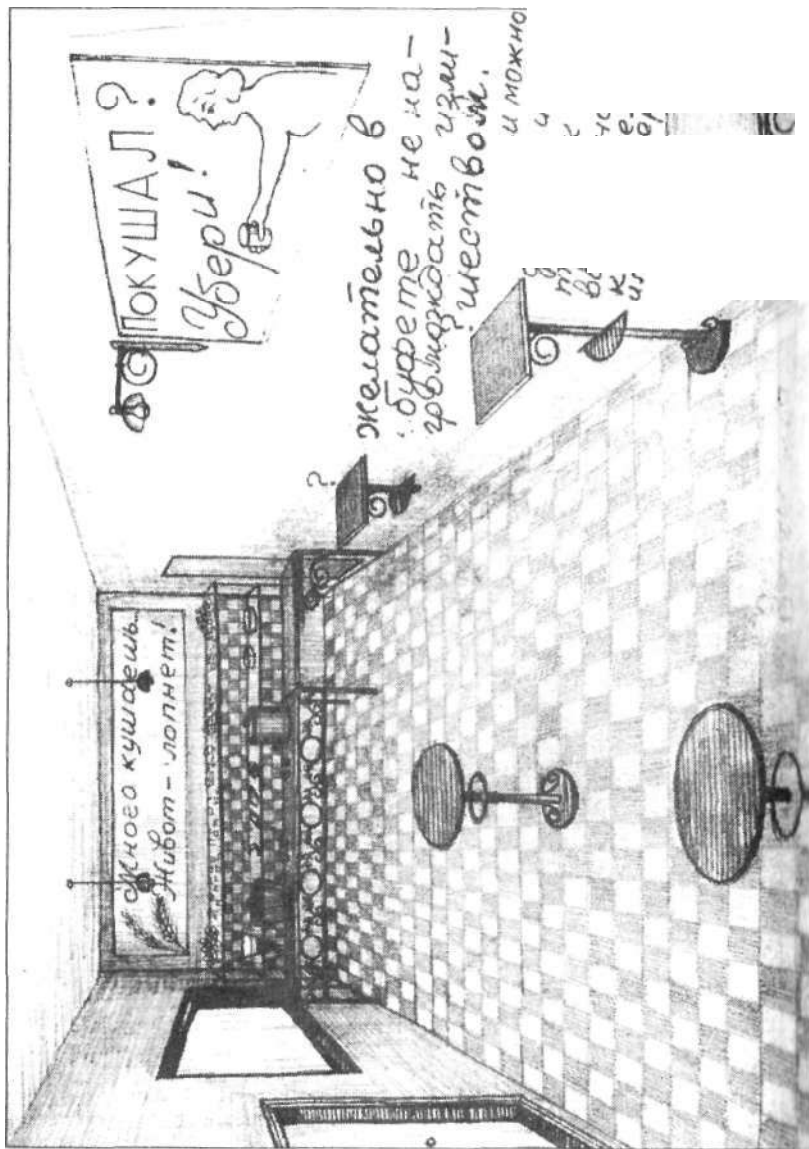
других областях, ну скажем, в учреждениях общественного питания. В его буфете на стене висит страстный призыв: «Покушал — убери!» И рядом поучающий авторский текст: «Желательно в буфете не нагромождать излишеством. Столики можно делать из трубочек и проволочек на плоскость железки или фанерки».

Ох уж эта тяга русской души к реформаторству! — будь хоть семи пядей во лбу знаменитый писатель, или самый что ни на есть обыкновенный винтик из трудящейся массы. Да будь наш этот «винтик» хоть трижды «с приветом», хоть трижды «тронувшись», а все равно тянет поучить соотечественников уму-разуму, всех без изъятия, даже генералов общевойсковой связи, на которых, по мнению нашего автора «всегда есть охотник», даже российских модниц: «Прошу вашего внимания к женскому полу. Многие выглядят не совсем прилично. Все знают конституцию человека но дело в том не всякая коротенькая юбка подходит — зачастую приходится видеть с тонкой икрой и толстыми ляжками и вообще кривыми ногами...» Даже под благородно рождественским личиком девушки — молодоговардейки «Вали» — и там хозяйственное соображение автора. «Для зимней одежды можно иметь много разных вариантов в целях экономии меха». Все доскональнее знает философ и художник Никифор Заяц! Воистину: что у великого писателя на уме, то у Зайца на языке. Всюду требуется реформа — и в больших российских делах и в малой нашей жизни. Будь наш автор пограмотнее, да пообразованнее, да без привета, который явно портит ему всю музыку, можно было бы даже присвоить ему некий общественный титул — всероссийского борца и реформатора, и труд его внести в копилку всенародного опыта, призванного ответить на давно наболевший, актуальнейший вопрос: «Как нам, в конце концов, обустроить нашу многострадальную Россию?»

В. ПЕТРОВСКИЙ











КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

БОРИС ХАЗАНОВ (Геннадий Файбусович). Родился в 1928. После войны, будучи студентом МГУ, был арестован и провел восемь лет в сталинских лагерях. Писательская известность пришла к Борису Хазанову в середине семидесятых годов, когда в журнале «Время и мы» была опубликована его повесть «Час короля», присланная автором из Москвы. В 1982 году Борис Хазанов покинул Москву и поселился в Мюнхене, где в течение нескольких лет редактировал журнал «Страна и мир». Борис Хазанов автор ряда книг, в том числе «Я Воскресение и Жизнь», «Запах звезд», «Миф-Россия» и др. В настоящее время постоянно выступает с художественной прозой и публицистикой, является автором «Литературной газеты» и других периодических изданий.

ВИКТОРИЯ ПЛатОВА (БЕЛОМЛИНСКАЯ). Родилась и жила в Ленинграде. Работала на студии научно-популярных фильмов. Печатала очерки в ленинградских журналах. Прозу пишет с 70-х годов, но в бывшем Союзе смогла опубликовать только два рассказа. В 1989 году повесть «Неяркая жизнь Сани Корнилова» была напечатана в «Континенте». В 89 году эмигрировала с семьей в США. В издательстве «Эрмитаж» вышли книги В. Платовой «Неяркая жизнь Сани Корнилова» и «Роальд и Флора». Последняя была названа в числе финалистов на Буккеровскую премию 1994 года. В 132 номере «Время и мы» была опубликована повесть «Вольтфас», а в 134 номере — «Де факто»,

ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ. Один из основателей советской социологии в 60-е годы в России. Стал известным в стране своими национальными опросами общественного мнения в 60-70-е годы. В эти годы он опубликовал около 10 книг и множество статей, в частности, в «Литературной газете». В 1972 году эмигрировал в США, где стал одним из ведущих экспертов по России. В частности, на протяжении многих лет он консультировал американское правительство по проблемам России. Работая по вопросам социологии в Мичиганском государственном университете, он опубликовал за время деятельности в Америке 12 книг и десятки статей. Его статьи печатались в New York Times, Washington Post и других ведущих американских газетах.

ИЛЬЯ СТАВИНСКИЙ. см. Вступление к публикации

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Родился в Москве в 1967 году. Обозреватель еженедельника «Собеседник» и журнала «Огонек». Поэт, автор двух сборников стихов «Декларация независимости» и «Послание к юноше». Печатался в «Литературной газете», «Искусстве кино», «Огоньке», в журнале «Экран и сцена», «Синтаксисе», автор многих публикаций в журнале «Время и мы».

ИОСИФ КОСИНСКИЙ. Родился в 1929 году в Ленинграде, в семье морского офицера. В 1948 году окончил среднюю школу и поступил в университет. В апреле 1951 года арестован МГБ, приговорен к 10 годам концлагеря. Заключение отбывал на стройке Волго-Балтийского канала в Вологодской области и на строительстве нефтекомбината в Башкирии. Освобожден по амнистии в период хрущевской «оттепели» (июль 1955). Эмигрировал в конце 1981; работал редактором в газете «Новое русское слово», перевел с английского ряд книг по заказам издательства «Время и мы», «Либерти», «Славик Госпел Пресс». Опубликовал более 400 статей, преимущественно в «Новом русском слове», а также в еженедельнике «Русская мысль» (Париж), журналах «Континент», «Грани».

СЕРГЕЙ ШАБАЛИН. Родился в 1961 году, в Москве. Окончил Нью-йоркскую художественную школу. В 1995 году вышла первая книга стихов «Прогулки по облакам». В настоящее время работает над второй книгой стихов, прозы и литературоведческих статей. Дважды публиковал стихи на страницах журнала «Время и мы».

КАТЯ КАПОВИЧ. Родилась в 1960 году, в Кишиневе. Окончила филфак. В 1990 году уехала в Израиль. В 1991 году Кате Капович присуждается премия литературного фонда «Апотропос», в 1992 году вышла ее книга «День ангела и ночь», вскоре после этого она стала членом международного Союза журналистов. В 1995 году, окончив аспирантуру в Бостон-Колледже, защитила с отличием диссертацию на тему «Изображение безумия в творчестве Гоголя и Булгакова». Подборки ее стихов публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «22», «Новый журнал», «Алеф», «Стрелец» и мн. других.

БОРИС НОСИК. Родился в 1931 году, в Москве. После окончания МГУ, Института иностранных языков и службы в армии работал на радио, плавал матросом, занимался синхронным переводом в кино, много путешествовал по России. Напечатал полтора десятка собственных книг и около двадцати переводных.

Наибольшей популярностью пользовались биография Альберта Швейцера и биография Владимира Набокова. С 1982 года значительную часть времени проводит во Франции, печатается в московских и зарубежных журналах. Журнал «Время и мы» первым начал печатать самиздатскую прозу Б. Носика («Турпоход», «Остров», «Большие птицы») и до сих пор в значительной части еще не изданную. В последнее время «Время и мы» широко публикует документальную прозу Б. Носика «Анна и Амадео», «Русские тайны Парижа» и др.

АРКАДИЙ БЕЛИНКОВ. Родился в Москве, в 1921 году. Окончил Литературный институт имени Горького. Во время защиты дипломной работы был арестован и провел в сталинских лагерях и тюрьмах в общей сложности 13 лет. Из них 72 суток в ожидании исполнения смертного приговора. В СССР получил широкую известность благодаря книге «Юрий Тынянов» и распространявшейся в самиздате рукописи «Сдача и гибель советского интеллигента, Юрий Олеша». В 1968 году, рискуя быть схваченным, бежал из СССР. Два года, проведенные на свободе, работал лектором Йельского университета и профессором Индианского университета. В 1982 году в Альманахе «Новый колокол», созданном Аркадием Белинковым, была опубликована вызвавшая широкий резонанс его статья «Страна рабов, страна господ». Умер Аркадий Белинков в 1970 году. В последние годы многие произведения А. Белинкова, подготовленные к печати Наталией Белинковой-Яблоковой, широко публикуются в России и на Западе. Большую известность приобрела его проза, написанная в ГУЛАГе («Черновик чувств», «Человечье мясо» и др.). На страницах «Время и мы» Аркадий Белинков широко публиковался в течение всех 22 лет существования журнала.

АНДРЕЙ ГРИЦМАН

«НИЧЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ»

Поэтический сборник

Первая книга автора. Сборник составляют выбранные стихи, в основном, написанные в Америке за последние 5-6 лет. В сборнике три части: стихи, связанные с Москвой, «личные» стихи и нью-йоркский цикл. Основная энергия стихов этого периода — жизнь между двумя мирами. Включено также несколько свободных переводов из современной американской поэзии. Автор — поэт и эссеист, занимается американской поэзией. Многие стихи, вошедшие в этот сборник, были опубликованы в русскоязычных изданиях в США, а также в России.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕТРОПОЛЬ»,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, 45 СТР.

Книгу можно заказать в США по адресу:
1218 Emerson Ave., Teaneck, NJ 07666,
или в России в издательстве «Петрополь»,
Санкт-Петербург, 189620,
Г.Пушкин, 2, ул. Ломоносова, 30.

Цена книги в США \$4.

НОВАЯ КНИГА СТИХОВ

КРИНЫ МАШИНСКОЙ
ПОСЛЕ ЭПИГРАФА

"...Музыка "после музыки" — после звука и после тишины. Не "лучшие ноты на лучших местах", не "лучшие слова на лучших нотах"— музыка неровного дыхания, на которую и зазвучит отголосок у читателя стихов, т.е. по определению не спортсмена и не любителя бега трусцой, а человека тоже с неровным дыханием..."
"...Это как подслушанные трамвайно-вагонные разговоры: без начала, без конца, а уж как интересно!.. "

Наталья Горбаневская

Заказы можно направлять по адресу:

"Слово — Word"
139 E.33rd Street #9 M
New York, NY 10016
tel. (212) 684-2356
тел. в Москве 705 — 38 — 06
в С.Петербурге 235-47-98
цена \$10

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. Пикассо в окрестности. — 12 долларов.
М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
К. ВАГИНОВ. Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.
Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.
А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири. — 10 долларов.
П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.
В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.
Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Соборная. — 5 долларов.
А.РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.
И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. — 20 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. — 10 долларов.
Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей. — 9 долларов.

Готовится к печати:

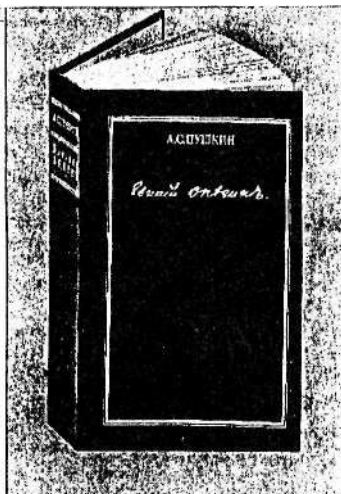
В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477. USA.



Издательство „АТРИУМ“

предлагает

вниманию коллекционеров
и любителей книжных редкостей
издание романа А.С. ПУШКИНА
„ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН“

Текст романа сопровождается
серией новых иллюстраций художника А.КОСТИНА;
впервые публикуемое
цветное факсимильное воспроизведение
рукописи „осьмой главы“;
фундаментальный комментарий
известного семиотика Ю.М.ЛОТМАНА.

Общий объем - 752 стр.

Тираж книги - 5000 экз.

999 экземпляров номерные

Контактный тел. (095) 258-1992

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» - 1998

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 63 долларов, с целью экономической поддержки редакции, — 69 долларов; для библиотек — 94 доллара

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, чеки высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA

TEL: (201) 592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу выслать оформить подписку на журнал «ВРЕМЯ И МЫ» на год. Высылать с номера Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605, USA

(201) 592-6155

OCR и вычитка - Давид Титиевский, сентябрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На первой странице обложки:
коллаж Вагрича Бахчаняна

На четвертой странице обложки:
Работа из цикла «Никифор Заяц обустроивает Россию».

Иллюстрации вернисажа взяты из архива Вагрича Бахчаняна.

е давно, не в наше время, Русалка задумалась что одеть и как быть?

Русскую природу
Видет в природе
всё так красиво,
птички скромно под
ду летают и друг
я понимают, звё
зды тоже - даже
звёзды меняют
читывая жизнь
нет, особенно
герика решила
имитировать
их ума.

В уютную
ду шила
шкки на
оев, в жар-
из дерева
ти одела
вокруг пое-
трела из коры
ску сделала
а, на краснах
кала полотно
Увидела разные
ы на окнах
на природе,
да узор соткала
появилось тогда
ское чудо, не
ько, это и
еховская шкка
не сводила мир
а, а восхищала
поколения
сердца.

Она порешила
взглянуть.

2.



Ей самой
понравилась
одежда:
скромна,
чиста
как птица
не отде
ла от пр
роды она

В одно
польто зима
и летом, то
ко под польто
шерстенная
кофточка оде
ей удобно, лег
всегда провор
всегда в
одном польто
когда дует
ветер или
снегопад, под
денет шарики
подымет ворс
как и никаки
стужка не м
розит её ду
потому что
она умна.

Сочетание цвета: чулки, рукавицы, шарф
польто к шапочке.
отделка к сапогам.

Рисунок выполнен без спектора.